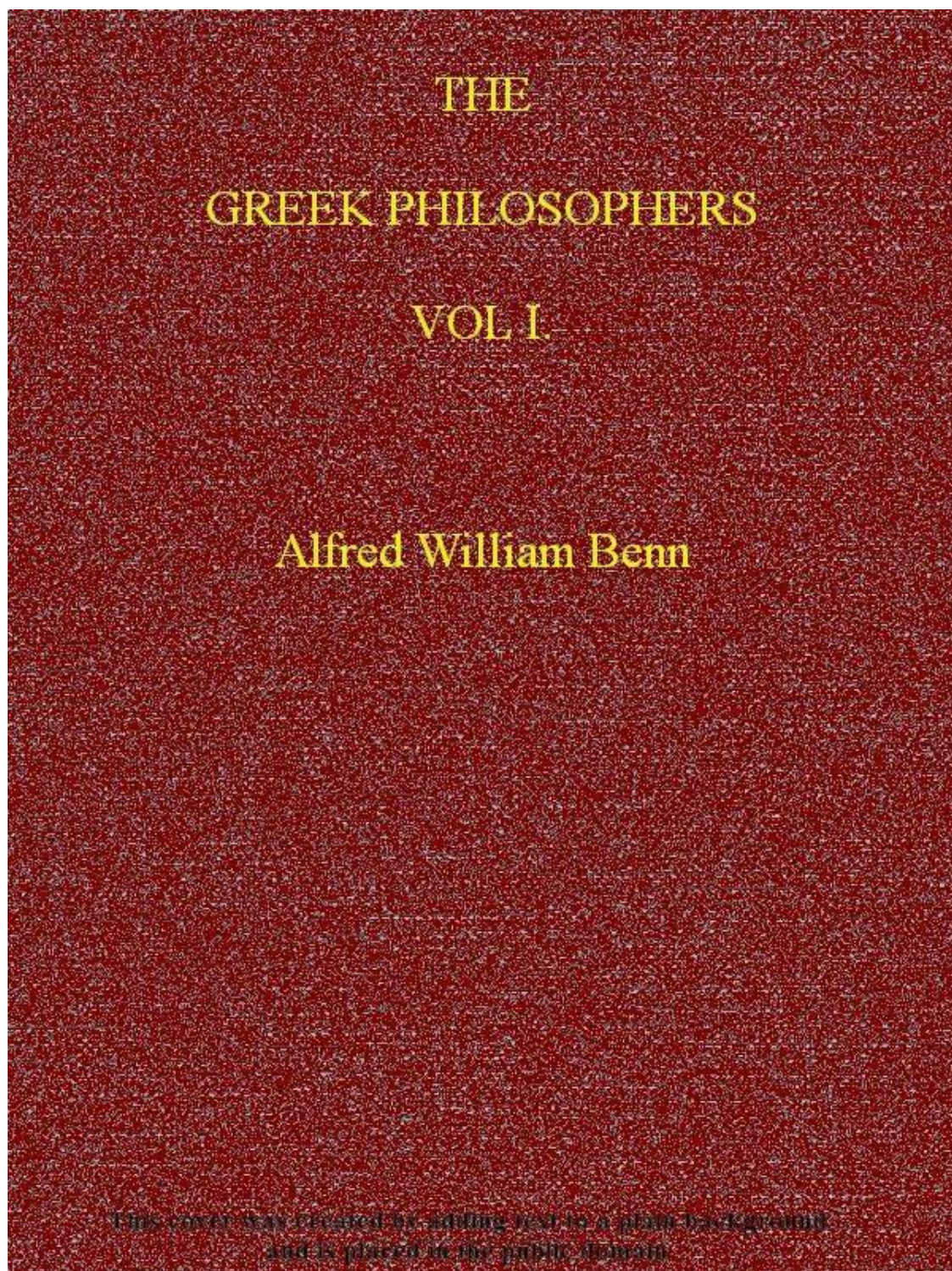


Греческие философы, том 1 (из 2)

Альфред Уильям Бенн



The Project Gutenberg eBook of The Greek Philosophers, Vol. 1 (of 2).

Эта электронная книга может быть использована любым человеком в Соединенных Штатах и большинстве других стран мира бесплатно и почти без ограничений. Вы можете копировать, дарить или повторно использовать ее на условиях Лицензии проекта "Гутенберг", прилагаемой к этой электронной книге или размещенной на сайте www.gutenberg.org. Если вы находитесь не в Соединенных Штатах, то перед использованием этой электронной книги вам придется ознакомиться с законами страны, в которой вы находитесь.

Название: The Greek Philosophers, Vol. 1 (of 2)

Автор: Альфред Уильям Бенн

Дата выхода: 10 мая 2018 [eBook #57126].

Последнее обновление: 2 ноября 2018 г.

Язык: Английский

Кредиты: Электронный текст подготовлен Тургутот Динчером, Лесом Галлоуэем и командой Online Distributed Proofreading Team (<http://www.pgdp.net>) на основе изображений страниц, щедро предоставленных Internet Archive (<https://archive.org>).

*** НАЧАЛО ПРОЕКТА GUTENBERG EBOOK THE GREEK PHILOSOPHERS, VOL. 1 (OF 2) ***

Электронный текст подготовлен Тургутот Динчером, Лесом Галлоуэем и группой онлайн-распределенной корректуры (<http://www.pgdp.net>) на основе изображений страниц, щедро предоставленных Internet Archive (<https://archive.org>)

Примечание:

Изображения оригинальных страниц доступны через Internet Archive. [См. <https://archive.org/details/greekphilosoph01ben>](https://archive.org/details/greekphilosoph01ben)

У проекта "Гутенберг" есть второй том этой работы.

Том II: см.

<http://www.gutenberg.org/files/58224/58224-h/58224-h.htm>

ГРЕЧЕСКИЕ ФИЛОСОФЫ

АЛЬФРЕД УИЛЬЯМ БЕНН

Εὐρηκέναι μὲν οὖν τινὰς τῶν ἀρχαίων καὶ μακαρίων φιλοσόφων τὸ ἀληθὲς δεῖ νομίζειν- τίνες δὲ οἱ
τυχόντες μάλιστα καὶ πῶς ἂν καὶ ἡμῖν σύνεσις περὶ τούτων γένοιτο ἐπισκέψασθαι προσήκει

Плотин

Quamquam ab his philosophiam et omnes ingenuas disciplinas habemus: sed tamen est aliquid
quod nobis non liceat, liceat illis

Цицерон

В ДВУХ ТОМАХ

VOL. I.

LONDON

KEGAN PAUL, TRENCH, & CO., 1 PATERNOSTER SQUARE
1882

С ЛЮБОВЬЮ ПОСВЯЩАЕТСЯ ДЖ. Б. Б.

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Значительная часть настоящего труда, включающая весь первый том и первые две главы второго, перепечатана с исправлениями и дополнениями из "Вестминстерского обозрения". Последняя глава второго тома уже выходила под несколько иным названием в "Mind" за январь и апрель 1882 года. Главы, озаглавленные "Скептики и эклектики", "Религиозное возрождение" и "Спиритуализм Плотина", публикуются впервые.

Тема греческой философии настолько обширна, что, по крайней мере в Англии, стало принято рассматривать ее отдельными частями, а не как единое целое. У этого метода есть свои преимущества, но есть и недостатки. Критик, выделяющий какого-то одного мыслителя для специального изучения, склонен преувеличивать значение своего героя и приписывать ему зарождение принципов, которые на самом деле были заимствованы у его предшественников. Более того, появление новой идеи можно понять, лишь проследив предшествующие тенденции, которые она либо продолжает, либо объединяет, либо противоречит. Одним словом, история философии есть сама философия, которая требует, чтобы мы вышли за рамки отдельных явлений и рассматривали их как различные взаимосвязанные части единой системы.

История греческой философии, будь то в этом всеобъемлющем смысле или как эрудированное исследование деталей, - это область, которую немцы сделали своей собственной; и среди немецких ученых доктор Целлер является тем, кто обрабатывал ее с

наибольшим успехом. Мои обязательства перед его великим трудом в достаточной степени подтверждаются многочисленными ссылками на него, которые встречаются на всех последующих страницах. Именно в тех случаях - а их, к сожалению, очень много - когда наши знания о конкретных философах и их мнениях опираются на отрывочные или вторичные сведения, я нашел его помощь наиболее ценной. Особенно это касается досократовских школ, мелких преемников Сократа, ранних стоиков, скептиков и поздних пифагорейцев. Я должен, однако, остерегаться предположения, что моя работа в каком-либо отношении является популяризацией или сокращением работы Целлера. Популяризировать Целлера было бы, действительно, дерзостью, поскольку ничто не может быть более ярким и интересным, чем его стиль и общий способ изложения. Я также не играю роль искателя для большого телескопа; ведь моя точка зрения ни в коей мере не совпадает с точкой зрения ученого немецкого историка. Таким образом, хотя мои ограничения вынуждают меня довольствоваться очень кратким изложением многих тем, которые он подробно рассмотрел, есть и другие, и те, которые, на мой взгляд, не менее важны, которым он уделил меньше места, чем можно найти здесь. По некоторым вопросам я также осмелился опровергнуть его мнение, в частности, в отношении софистов, Сократа, Аристотеля и Платона. Мой общий взгляд на греков и их философию также отличается от его. Причины, побудившие меня следовать независимому курсу в этом отношении, представляют такой интерес и важность, что я позволю себе изложить их несколько подробнее.

Если говорить кратко, то теория античной мысли Целлера заключается в том, что греки изначально жили в гармонии с природой; что эта связь была разорвана философией и особенно философией Сократа; что разлад, несовершенно преодоленный Платоном и Аристотелем, вновь проявился в непримиримой, сконцентрированной на себе субъективности поздних школ; что это безнадежное отчуждение, достигнув своего апогея в мистицизме неоплатоников, привело к полному краху независимой спекуляции; и что создание нового сознания благодаря приходу христианства и германских рас было необходимо для успешного возобновления научного поиска. Целлер в прошлом был гегельянцем, и мне кажется, что в своих исторических построениях он по-прежнему сохраняет слишком много гегелевского формализма. Хорошо отработанная антитеза между объектом и субъектом, даже после пересмотра в позитивистском смысле, совершенно неадекватна бремени, возложенному на нее этой теорией; и если мы хотим действительно понять причины, которые сначала затруднили, затем задержали и, наконец, парализовали греческую философию, мы должны искать их в более конкретном порядке рассуждений. Целлер с совершенной справедливостью приписывает неудачу Платона и Аристотеля их несовершенному наблюдению за природой и привычке рассматривать логические комбинации идей, вытекающие из обычного употребления слов, как адекватного представителя отношений, существующих между вещами самими по себе. Но кажется крайне натянутым и искусственным объяснением утверждение, что их недостатки в этом отношении были вызваны путаницей объективного и субъективного в результате несовершенного отделения греческого ума от природы - путаницей, добавляет, которую смогло преодолеть только появление новой религии и новой расы.¹ Несправедливо возлагать на эллинизм в целом ответственность за заблуждения, которые можно легко найти в работах современных метафизиков; и эта несправедливость станет еще более очевидной, если мы вспомним, что, наслаждаясь благами христианства и германизма в течение тысячи лет, современный мир все еще должен был взять свои первые уроки терпения наблюдения, точности рассуждений и трезвости выражения у таких людей, как Фукидид и Гиппократ, Полибий, Архимед и Гиппарх. Даже если бы греки как нация были менее остры на различие между иллюзией и реальностью, чем их преемники вплоть до XVI века - предположение, как известно, обратное истине, - все равно пришлось бы объяснить, почему Платон и

Аристотель, обладая огромным интеллектом, заблудились в изучении природы гораздо дальше, чем их предшественники. А этого метод Целлера совершенно не объясняет.

Опять же, я думаю, что Целлер совершенно неправильно понимает связь между греческой философией и греческой жизнью, когда приписывает интеллектуальный упадок послеаристотелевского периода, по крайней мере, частично, одновременному разрушению общественного духа и политической независимости. Возможно, таким образом можно объяснить вырождение поэзии и искусства, красноречия и истории, но не ослабление философской активности. Напротив, исчезновение политических интересов было из всех условий наиболее благоприятным для спекуляций, о чем свидетельствуют ионийцы, Демокрит и Аристотель. Если бы независимость и власть великих городов-республик продлилась еще дольше, то, вероятно, как показывает пример софистов и Сократа, философия стала бы еще более поглощенной моралью и практикой, чем она стала в действительности в стоической, эпикурейской и скептической школах. И теоретические исследования действительно получили большой импульс от македонского завоевания, большой фонд интеллектуальной энергии был отвлечен от государственных дел на поиски знаний, только они приняли направление позитивной науки, а не общей спекуляции.²

Причиной, которая сначала задержала, а затем окончательно уничтожила свободное движение греческой мысли, была не какая-то внутренняя ограниченность или испорченность греческого гения, а постоянно растущее преобладание двух интересов, оба из которых были склонны, хотя и разными путями и в разной степени, укреплять принцип авторитета и ослаблять принцип разума. Одним из них был теологический интерес, другим - схоластический. Первый был более заметным и более злонамеренным из двух. От преследования Анаксагора до запрета Юстинианом философских учений мы можем проследить, как нарастает и распространяется реакция на суеверия, то наступая, то отступая, но в целом набирая силу из века в век, пока от полуденного великолепия Перикла мы не перейдем к той долгой ночи, которая тянется в почти непроницаемой тьме до красного и бурного рассвета крестовых походов. И это была реакция, охватившая все классы, включая самих философов. Мне кажется, что если афинская школа, начиная с Сократа, не дотягивает до своих предшественников, а в некоторых вопросах это несомненно так, то ее неполноценность в значительной степени объясняется этой причиной. Ее влияние весьма ощутимо в ослаблении спекулятивной энергии тех, кто стоит на наибольшем расстоянии от народных верований. Именно потому, что неприязнь к теологии занимала столь большое место в мыслях Эпикура и его учеников, они ценили науку только как опровержение ее учения, вместо того чтобы рассматривать ее просто как препятствие, которое нужно устранить с пути исследования. Более того, они заразились духом того, против чего боролись, и их абсолютное безразличие к истине стало тенью, которую она отбрасывала на их умы.

Теологический интерес и схоластический интерес, хотя и не обязательно связанные между собой, имеют, как уже отмечалось, точку соприкосновения в их общем возвышении авторитета. Таким образом, для нашей цели они могут быть классифицированы под более общим понятием традиционализма. Под этим термином я понимаю склонность принимать за истину мнения, полученные либо от массы людей, либо от лучших аккредитованных учителей, и облекать эти мнения в форму, приспособленную для легкой передачи другим. В этом смысле традиционализм - это "лицо Януса", обращенное с одной стороны в прошлое, а с другой - в будущее. Теперь философия могла получить всеобщее признание, только став традицией. Долгое время греческие мыслители занимались почти исключительно открытием истины, оставаясь сравнительно равнодушными к ее распространению. Как говорит Платон,

они шли своим путем, не заботясь о том, берут ли они нас с собой или нет.³ И именно в этот период впервые зародились самые ценные спекулятивные идеи. В конце концов среди высших классов возникло сильное желание извлечь выгоду из результатов нового обучения, и появился класс людей, чья профессия заключалась в удовлетворении этого желания. Но софисты, как их называли, вскоре обнаружили, что уроки искусства жизни ценятся более высоко и вознаграждаются более щедро, чем уроки строения природы. Поэтому с легкомысленной изобретательностью греков они принялись за работу, доказывая сначала, что природу нельзя познать, а в конце концов, что природы вообще не существует. Настоящие философы были вынуждены защищать свое положение, меняя прикрытие. Они сами становились учителями, маскируя свои уроки, однако, под форму поиска истины, осуществляемого совместно с друзьями, которые, разумеется, не должны были платить за привилегию оказывать свою помощь, да еще и с такой восхитительной целью. В этой системе сотрудничества человек, который вел беседу, особенно старался показать, что его выводы вытекают непосредственно из признаний собеседников, так сказать, латентно присутствуют в их сознании и нуждаются лишь в небольшой акушерской помощи с его стороны, чтобы вывести их на свет. И чтобы лучше приковать их внимание, он выбирал для обсуждения вопросы, представляющие человеческий интерес, или же, когда разговор переходил к физическим явлениям, подводил к телеологическому или эстетическому толкованию их смысла.

Таким образом, там, где Целлер говорит, что греческие философы путали объективное с субъективным, потому что были еще несовершенно отделены от природы, мы, кажется, пришли к менее амбициозному, но более внятному объяснению фактов, которое можно изложить с такой же общностью, как и его. Не только у греков, но и везде культура в большей или меньшей степени противостоит оригинальности, а распространение - расширению знаний. Мысль подобна воде; распространяясь по широкой поверхности, она становится застойной и мелкой. Когда идеи могли жить только при условии донесения до большого круга слушателей, они обязательно приспосабливались к вкусу и опускались до понимания относительно вульгарных умов. И не только это, но и привычка брать свои мнения и предрассудки в качестве отправной точки любого исследования часто приводила к тому, что эти мнения и предрассудки облекались в формальную санкцию философской демонстрации. Считалось, что образование состоит не столько в приобретении новой истины, сколько в поднятии к более ясному сознанию истин, которые все это время были смутно различимы.

К критике и систематизации обыденного языка и обыденного мнения добавилась более трудоемкая критика и систематизация философских теорий. Для обработки материалов, накопленных греческой мыслью в период ее творческой оригинальности, и приспособления их к народным представлениям потребовалось такое огромное количество труда, что мало что можно было сделать для пополнения их объема. Но и это было не все. Среди наиболее ценных идей ранних мыслителей были и те, которые наиболее ярко противоречили данным органов чувств. Как таковые они были исключены из системы, целью которой была реорганизация философии на основе всеобщего согласия. Таким образом, мысль не только стала неподвижной, но даже утратила часть завоеванных ранее позиций.

Не то чтобы жизненная сила эллинского разума уступала одновременно в каждом пункте. Тот же независимый дух, та же сила воображения, которые привели физическую спекуляцию к таким великолепным завоеваниям в течение первых двух веков ее существования, проявились с тем же эффектом, когда энергия, ранее посвященная природе в целом, сосредоточилась изучении поведения и веры. Именно таким образом Сократ смог притязать на научное рассмотрение всей сферы человеческой жизни и создать метод, с помощью

которого она с тех пор изучается наиболее успешно. Именно поэтому Платон смог проанализировать и идеально реконструировать все практики, институты и верования. Таким образом, Аристотель, хотя и приостановил прогресс исследований, все же смог завершить метод и создать язык, с помощью которого результаты новых исследований были установлены, признаны и переданы с тех пор. Таким образом, стоики шли от парадокса к парадоксу, пока им не удалось согласовать мораль на все времена с помощью трех фундаментальных идей - личной совести, индивидуального обязательства и универсальной человечности. И не только диалектика и этика поначалу были одушевлены тем же предприимчивым духом, что и спекулятивная физика, но само их существование как признанных исследований должно быть приписано ее упадку, той революции, в результате которой философия из чисто теоретической стала социальной и дидактической. В то время как в некоторых направлениях мысль становилась неподвижной и даже регрессивной в силу самого процесса ее распространения, в других направлениях это распространение было причиной ее более полного развития. Наконец, этика и логика были сведены к схоластической рутине, и прогресс продолжался только в позитивных науках, пока и здесь он не был остановлен торжеством суеверия и варварства вместе взятых.

Если прекращение спекулятивной деятельности у греков должно быть объяснено чем-то более определенным, чем фразы об объективном и субъективном, то и ее возобновление у народов современной Европы также требует объяснения. Это можно объяснить двумя различными обстоятельствами - устранением препятствий, которые долгое время мешали свободному применению разума, и стимулом, который дала исследованиям астрономия Коперника. Распространившись по всему бассейну Средиземноморья, эллинская культура должна была затем исправить разрушения, причиненные варварами, и, главным образом в форме христианства, сделать себя принятой новыми народностями, которые поднялись на руинах Римской империи. Столь трудной задачи хватило, чтобы в течение многих веков поглотить всю интеллектуальную энергию Западной Европы. Наконец крайние пределы распространения были условно достигнуты, и мысль вновь стала доступна для открытия новой истины. Одновременно с этим великая сверхъестественная реакция, также достигшая своих крайних пределов, настолько утихла, что природу снова можно было изучать на научных принципах, правда, с меньшей свободой, чем в старой Ионии, но все же с достаточной безопасностью от мести заинтересованных или фанатичных противников. И в тот же момент накопленные за многие века наблюдения показали, что концепция Вселенной, на которой покоилась общепринятая философия, должна быть заменена прямо противоположной. Должен признаться, что в этой огромной революции отношение между объективным и субъективным, воссозданное христианством и германским гением, не кажется мне играющим очень заметную роль.

Если полугегельянская теория истории Целлера не дает должного представления о разнообразии и сложности причин, определяющих эволюцию философии, то она также отвлекает внимание от конечных элементов, материи, в аристотелевском смысле, из которых состоит эта эволюция. Под этим я подразумеваю развитие конкретных идей в отличие от систем, в которые они входят как составные части. Часто формирование системы зависит от случайного стечения обстоятельств и поэтому не может быть подведено под какой-либо определенный закон прогресса, в то время как идеи, из которых она построена, демонстрируют совершенно закономерный прогресс по сравнению с той формой, в которой они появились в последний раз. Другие же характеризуются удивительной неизменностью, которая позволяет им сохраняться неизменными в самых разнообразных комбинациях и в течение самых длительных промежутков времени. Но когда каждая система рассматривается, так сказать, как органический индивид, полное и гармоничное выражение

какой-то одной фазы мысли, а весь ряд систем - как сменяющие друг друга в строгом логическом порядке в соответствии с каким-то простым законом эволюции, возникает определенная тенденция рассматривать конкретные элементы каждой из них как определяемые характером целого, к которому они принадлежат, а не их внутренней природой и предшествующей историей. И я думаю, что именно из-за этой ограниченности взглядов Целлер не проиллюстрировал так полно, как хотелось бы, более тонкие связи, посредством которых различные философские школы связаны друг с другом, а также с литературой своего и других времен.

Интересным примером процесса, которого я только что коснулся, является повторное появление и дальнейшее развитие некоторых важнейших греческих идей в современной философии. В заключительной главе этой работы я попытался указать основные направления, по которым можно проследить такую передачу. Этой теме до сих пор уделялось неоправданно мало внимания. Ни один критик не сможет описать спекулятивное движение XIX века без постоянной ссылки на метафизиков и моралистов двух предшествующих столетий. И все же зависимость этих мыслителей от античных школ вряд ли менее тесная, чем наша зависимость от Спинозы и Юма. Тем не менее, ни в одной известной мне работе это обстоятельство не использовалось для разъяснения хода современной мысли; более того, я могу сказать, что устойчивость эллинских идей вплоть до самых последних времен не была полностью признана ни одним ученым, кроме профессора Тейхмюллера, который посвятил свое внимание истории концепций в отличие от истории систем.

Введение имени Тейхмюллера дает мне возможность отметить, что мое внимание не было обращено на его блестящие исследования различных вопросов, связанных с греческой философией, и в особенности с системами Платона и Аристотеля, пока не стало слишком поздно, чтобы я мог воспользоваться ими в настоящей работе. В частности, я ссылаюсь на его "Studien zur Geschichte der Begriffe" (Берлин, 1874) и на недавно опубликованную "Literarische Fehden im vierten Jahrhundert vor Chr." (Бреслау, 1881). Главные положения первой работы заключаются в том, что Платон действительно был пантеистом или монистом, а не дуалистом, как принято считать и как я сам считаю само собой разумеющимся; что вследствие подавления индивидуальности, характерного для его системы, он на самом деле не принимал и не преподавал доктрину личного бессмертия, хотя и желал, чтобы масса людей верила в нее; что Платон не больше приписывал трансцендентное существование своим идеям, чем Аристотель своим материальным формам; и что, давая противоположное толкование теории своего старого учителя, Аристотель виновен в грубом искажении. Наиболее важным моментом "Литературных фей" является то, что Аристотель опубликовал свою "Этику", когда Платон был еще жив и занимался сочинением своих "Законов", и что некоторые отрывки в последней работе, один из которых касается свободы воли, а другой - единства добродетели (861, А и далее и 962 и далее), были задуманы как ответ на известную критику Аристотелем платоновской теории этики.

В своем изложении тезисов Тейхмюллера я по необходимости был краток; судить о них в отрыве от фактов и аргументов, которыми они подкреплены в двух вышеупомянутых очень интересных томах, было бы в высшей степени несправедливо. Однако я считаю своим долгом назвать основные причины, которые заставляют меня колебаться в пользу его выводов. Мне кажется, что, хотя Платон и двигался в направлении пантеизма - как я сам указывал в более чем одном отрывке этой работы, - он так и не достиг его. Ибо (i.) он не пытается, подобно Плотину, вывести материальное из идеального принципа, а лишь смешивает, не согласовывая их в мире чувственного опыта. (ii.) Противопоставляя тленную

природу индивидуального (или, скорее, конкретного) вечной природе всеобщего, он исходит из фактов опыта, а не из какой-либо необходимой оппозиции между ними, и из опыта материальных или разумных объектов, а не нематериальных душ; в то время как даже в отношении материальных объектов небесные тела, которым он приписывает вечную продолжительность, представляют собой столь обширное исключение из его правила, что полностью уничтожают его применимость. (iii.) Многочисленные и тщательно продуманные аргументы Платона в пользу бессмертия души были бы излишними, если бы его единственной целью было доказать, что душа, как и все остальное, содержит вечный элемент. (iv.) Пифагорейская теория о том, что душа - это гармония, которую Платон отвергает, была бы вполне совместима с идеальным и безличным бессмертием, которому, по мнению Тейхмюллера, он учил; ведь в то время как конкретная гармония погибает, общие законы гармонии остаются. (v.) Тейхмюллер неудовлетворительно разбирает коронный аргумент Платона о том, что идея жизни так же неотделима от души, как тепло от огня или холод от снега. Он говорит (op. cit., p. 134), что, исходя из этого принципа, индивидуальная душа все же может погибнуть, подобно тому как гаснут отдельные части огня и тают отдельные части снега. Да, но части огня не становятся холодными, а части снега - горячими, что и только это могло бы дать аналогию с угасанием души.

Я согласен, однако, с Тейхмюллером, что доктрины реминисценции и метемпсихоза имеют чисто мифическое значение, и я должен был бы выразить свои взгляды по этому вопросу с большей определенностью и решительностью, если бы знал, что его авторитет может быть процитирован в их поддержку. Я думаю, что Платон находился в переходном состоянии от восточной к той, что впоследствии стала христианской теорией воздаяния. В первой он нашел аллегорическую иллюстрацию своей метафизики, в другой - очень серьезную санкцию для своей этики. Он чувствовал их несовместимость, но не был готов предпринять такую полную реконструкцию своей системы, которая потребовалась бы при полном отрицании предсуществования души. Поздние диалоги Платона, как мне кажется, дают достаточно доказательств такого колебания. Например, материя Тимаха, по-видимому, является пересмотренной версией Другого или принципа разделения и изменения, который уже фигурировал как чистая идея, и в этом качестве он обязательно должен быть противопоставлен материи. В то же время я должен заметить, что, с моей точки зрения, достаточно того, что Платон прививал доктрину будущей жизни как важный элемент своей религиозной системы. И то, что он действительно прививал ее, Тайхмюллер полностью признает⁴.

Что касается "Никомаховой этики", то, на мой взгляд, Тайхмюллер доказал, что она была написана до того, как Аристотель прочитал "Законы" или узнал о ее существовании. Но это не доказывает, что он написал ее при жизни Платона, поскольку "Законы" были опубликованы только после смерти Платона, а возможно, и через несколько лет после нее. И, опубликованные или нет, Аристотель вполне мог не знать о ее существовании до своего возвращения в Афины, которое, согласно традиции, состоялось около 336 г. до н. э. Тейхмюллер, правда, предполагает, что Аристотель провел некоторое время в Афинах между бегством из Митилены и назначением воспитателем Александра ("Literarische Fehden", p. 261). Но эта теория, помимо чисто умозрительного характера, все равно допускает возможность того, что Аристотель оставался незнаком с Законами до сорокалетнего возраста. И очевидно, что отрывки, которые Тейхмюллер интерпретирует как ответы на критику Аристотеля, допускают более чем одно альтернативное объяснение. Они могли возникнуть из сомнений и трудностей, которые спонтанно возникли у Платона в ходе его самостоятельных размышлений; или, если допустить, что здесь присутствует полемическая ссылка, она могла быть спровоцирована каким-то другим критиком или устной критикой

самого Аристотеля. Ибо предположение, что Аристотель написал свою "Этику" в раннем возрасте тридцати двух или тридцати трех лет, кажется мне настолько невероятным, что мы не должны принимать его иначе, как под давлением самых веских доказательств. То, что произведение столь зрелых мыслей и наблюдений было создано столь молодым человеком, - это, насколько мне известно, явление, не имеющее аналогов в истории литературы. К этому следует добавить и то обстоятельство, что греческий ум не отличался особой прозорливостью ни в одной области, кроме войны и государственного управления. Мы действительно находим случаи сравнительно юного авторства, но, как мне кажется, нет ни одного греческого писателя, будь то поэт, историк или философ, который достиг бы полной зрелости своих способностей до наступления значительно более зрелого периода среднего возраста. То, что "Этика" очень несовершенна, я полностью признаю и недвусмысленно возражаю ее многочисленным поклонникам в ходе этой работы. Но, хотя она и несовершенна, ее нельзя назвать грубой. Она содержит настолько хорошее обсуждение взятого предмета, насколько Аристотель когда-либо был способен дать, и ее ограничения - это не ограничения незрелого интеллекта, а интеллекта, во все времена сравнительно неприспособленного для решения практических проблем и еще более суженного требованиями разработанной спекулятивной системы. Разработка этой системы должна была потребовать гораздо больше труда и самостоятельного мышления, чем можно предположить, что даже Аристотель нашел бы время для этого до тридцати трех лет; а жизненный опыт, представленный в "Этике", таков, что учеба, не обеспечивая его, наоборот, задерживала бы. Более того, "Риторика", которая, по общему признанию, была написана до "Этики", демонстрирует те же качества примерно в той же степени и, следовательно, по теории Тейхмюллера, свидетельствует о еще более необычайной скороспелости. И еще одно обстоятельство: хотя известно, что Аристотель начал свою общественную карьеру в качестве учителя риторики, его ранние произведения, по-видимому, носили довольно рассеянный и декламационный характер, совершенно противоположный суровой лаконичности, которая отличает стиль как "Риторики", так и "Этики". В дополнение к этим общим соображениям можно отметить, что в хорошо известном отрывке "Этики", касающемся вопроса логического метода (I., iv.), Платон говорит о себе в несовершенном времени, что, по-видимому, подразумевает, что он уже не жил, когда это было написано. Говоря по памяти, я даже склонен сомневаться в том, что упоминание живого писателя по имени вообще соответствует нормам литературного этикета, принятым у Аристотеля.

Это трудности, которые Тейхмюллер, несомненно, полностью взвесил и отбросил как недостаточно весомые для того, чтобы сделать свои выводы недействительными. Я изложил их, чтобы показать, что в пользу старой точки зрения можно привести достаточно аргументов, чтобы оправдать переиздание написанного, исходя из предположения о ее неоспоримой истинности. Более того, исследования, проведенные с таким мастерством и ученостью, как у Тейхмюллера, требуют публичного признания в работе, подобной настоящей, даже если результаты таковы, что автор не видит возможности принять их как удовлетворительно сделанные. Есть много английских ученых, более компетентных, чем я, чтобы обсудить весь этот вопрос. Возможно, эти строки побудят некоторых из них уделить ему внимание, которого он заслуживает, но которого, по крайней мере в Англии, он, похоже, еще не получил.

Мои обязательства перед другими авторами признаются на протяжении всей работы, насколько я их осознаю и насколько они могут быть определены путем ссылки на конкретные моменты. Я пользуюсь настоящей возможностью, чтобы упомянуть в более общей форме о ценной помощи, которую я получил от "Истории греческой философии" Швеглера, "Истории материализма" Ланге и "Истории философии" Дюринга. Параллель между Сократом,

Джордано Бруно и Спинозой, вероятно, была предложена мне Дюрингом, как и некоторые моменты в моей характеристике Аристотеля. Поскольку мой взгляд на положение, занимаемое Лукрецием в отношении религии и философии, во многих важных пунктах отличается от взгляда профессора Селлара, тем более я обязан заявить, что, если бы я не ознакомился с красноречивыми и сочувственными главами профессора Селлара о великом эпикурейском поэте, моя собственная оценка его гения, конечно, не была бы написана в ее нынешнем виде и, возможно, не была бы написана вообще.

В целом, боюсь, что мое знакомство с современной литературой на эту тему покажется весьма ограниченным для такого начинания, как настоящее. Но я не думаю, что более широкое чтение в этом направлении могло бы значительно продвинуть цель, которую я преследовал. Эта цель заключалась в том, чтобы представить основные идеи греческой философии в максимально тесной связи с характерами их авторов, друг с другом, с их развитием в современных спекуляциях, с параллельными тенденциями литературы и искусства, с историей религии, физической науки и цивилизации в целом. Интерпретировать все вещи с помощью системы универсальных ссылок - это метод философии; в применении к ряду событий этот метод - философия истории; когда событиями являются идеи, это философия самой философии.

СОДЕРЖАНИЕ ПЕРВОГО ТОМА.

ГЛАВА I.

Древнегреческая мысль Страницы 1-52

I. Сила и универсальность греческого интеллекта, *1-Специализация* индивидуального гения, *2-Всепроникающее* чувство гармонии и единства, *3-Обстоятельства*, определившие интеллектуальный характер греков, *3-Философия* - естественный продукт греческого ума, *4-Спецификация* сначала ограничивалась внешним миром, *4-Важные* результаты, достигнутые ранними греческими мыслителями, *5-Их* концепция космоса впервые сделала возможной науку, *6-Опровержение* предполагаемого влияния восточных идей, *6.*

II. Фалес был первым, кто предложил чисто физическое объяснение мира, *7-Почему* он указал на воду как на первооснову всех вещей, *8-Большой* прогресс, достигнутый Анаксимандром, *9-Своя* концепция Бесконечного, *9-Анаксимен* выступает посредником между теориями двух своих предшественников, *10-Пифагорейцы*: их любовь к антитезам и значение, придаваемое числу в их системе, *11-Связь* между их этическим учением и общим религиозным движением века, *13-Аналогия* со средневековым духом, *13.*

III. Ксенофан: Его нападки на народную религию, *14-Присутствие* нетерпимости среди греков, *15-Первичный* характер монотеизма, которому учил Ксенофан, *16-Устранение* религиозного элемента из философии Парменидом, *16-Спекулятивные* нововведения, *17-Он* открывает неразрушимость материи, *17-но* путает материю с существованием вообще, *18-и* в особенности с протяжением, *19-В* каком смысле его можно назвать материалистом, *19-Новые* аргументы, выдвинутые Зеноном в защиту элеатской системы, *20-Аналитический* или посреднический момент греческой мысли, *21-Влияние* Парменида на последующие системы философии, *22-Диаметрально* противоположный метод Гераклита, *22-Презрение* к массе человечества, *22-Доктрина* всеобщей относительности, *23-Огонь* как первоэлемент, *24-Идея* закона, впервые введенная Гераклитом, *25-Экстремумы*, до которых впоследствии были доведены его принципы, *25-Поляризация* греческой мысли, *26.*

IV. Исторический порядок систем, сменивших Парменида и Гераклита, *26-Эмпедокл*: поэтический и религиозный характер его философии, *27-его* неполноценность по сравнению с предыдущими мыслителями, *28-эkleктическая* тенденция его системы, *29-в* каких отношениях она представляет собой прогресс по сравнению с Парменидом, *29-его* предполагаемое предвосхищение дарвиновской теории, 30-фиксированность видов - доктрина, которой придерживались все древние философы, кроме Анаксимандра, 31-теория познания, выдвинутая Эмпедоклом: ее объективный и материалистический характер, *32 - как* она повлияла на атомную теорию, *33 -* возможность вакуума, отрицаемая Парменидом и утверждаемая Лейциппом, *34 -* атомная теория, разработанная и примененная Демокритом: энциклопедический диапазон его исследований, *35 - его* полное отрицание сверхъестественного, *36*.

V. Анаксагор в Афинах, *36 - его* обвиняют в нечестии и заставляют бежать, *37 - анализ* его системы, *38 - ее* механистическая и материалистическая тенденция, *39 - отделение* Нуса от остальной природы, *40 -* отрицая божественность небесных тел, Анаксагор противопоставил себя универсальной вере античности, *40 -* исключительная нетерпимость афинян и ее объяснение, *42 - переход* от физической к диалектической и этической философии, *43*.

VI. Ранняя греческая мысль в литературе и искусстве, 45-Генеалогический метод Гесиода и Геродота, 47-Поиск первых причин у Пиндара и Эсхила, *48-Аналогичные* тенденции в скульптуре и архитектуре, *49-Сочетание* географических и генеалогических исследований, 50-Эволюция порядка из хаоса, предложенная отрицательным или антитетическим моментом греческой мысли, *50-Прочный* и плодотворный характер ранней греческой мысли, *52*.

ГЛАВА II.

ГРЕЧЕСКИЕ ГУМАНИСТЫ: ПРИРОДА И ЗАКОН стр. 53-107

I. Реакция умозрения на жизнь, *53-Моральное* превосходство греков над евреями и римлянами, *54-Иллюстрации* человечности у греческих поэтов, *55-Временное* разложение моральных чувств и его объяснение, *56-Последующая* реформация, осуществленная философией, 57-Греческое поклонение красоте, несовместимое с высоким моральным стандартом, *58-Предпочтение* твердых добродетелей к показным, продемонстрированное общественным мнением Греции, *59-Оппозиция* Платона, *60*.

II. Добродетели, привитые в афоризмах семи мудрецов, *62-Софросинка* как сочетание умеренности и самопознания, *62-Иллюстрации* из Гомера, *62-Переход* от добродетели, заботящейся о себе, к добродетели, заботящейся о других, *63-Как* мораль приобрела религиозную санкцию (i.) с помощью клятв, 64-(ii.) приписыванием закону божественного происхождения, 65-(iii.) практикой обращения к оракулам по вопросам добра и зла, *65-различие* между олимпийской и хтонической религиями, *66-* последняя была тесно связана с идеями закона и воздаяния после смерти, *67- благодетельные* результаты взаимодействия двух религий, *68*.

III. Религиозная точка зрения Эсхила, *69-начальное* отделение религии от морали у Софокла, 70-полное *их* отделение у Еврипида, *71-контраст* между Этеоклом Эсхила и Этеоклом Еврипида, *72-аналогичное* различие между Геродотом и Фукидидом, *73-доказательства* моральной деградации, представленные Аристофаном и Платоном, *74-вероятность* связи между интеллектуальным ростом и моральным упадком, *75*.

IV. Софисты, *76 - Продик* и Гиппий, *77 - их* теория природы как морального руководства, *79 - иллюстрация* из Еврипида, *80 - вероятная* связь кинической школы с Продиком, *81 - антитеза* между природой и законом, *81 - оппозиция* рабству, *82 -* разносторонность Гиппия, связанная с его защитой природы, *83 -* право более сильного как закон природы, *84*.

V. Возникновение идеализма и сопутствующая ему тенденция ставить условности выше природы, *85 - Агностицизм* Протагора, *87 - В* каком смысле он сделал человека мерой всех вещей, *88 - Его* защита цивилизации, *89 - Подобные* взгляды высказывает Фукидид, *90 - Контраст* между натурализмом Эсхила и гуманизмом Софокла, *91 -* Гибкий характер Номоса, благоприятствующий образованию, *92 - Греческая* молодежь и современные женщины, *93 -* Обучение риторике, *93 -* Впоследствии это перерастает в эристицизм, *94*.

VI. Нигилизм Горгия, *95 - его* аргументы действительно направлены против поклонения природе, *96 -* сила риторики в древних Афинах и современной Англии, *97 -* доктрины Протагора, развитые киренейской школой, *99 - и* мегарской школой, *100 - последующая* история антитезы между природой и законом, *100*.

VII. Разнообразие тенденций, представленных софистами, *102 - их* положение в греческом обществе, *103 -* различные взгляды на их профессию в древние и современные времена, *104 - их* место в развитии греческой философии, *107*.

ГЛАВА III.

МЕСТО СОФРАТА В ГРЕЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ стр. 108-170

I. Всеобщая известность Сократа, *108 - Наше* глубокое знание его внешности и характера, *109 - Противоречивые* взгляды на его философию, *110 - Недостоверность* платоновской Апологии, *111 -* Рассказ *Платона*, опровергнутый Ксенофонтом, *113 - Соответствие* Апологии общей точке зрения диалогов Платона, *114 -* Платоновская идея науки, *115 -* Как Платон может помочь нам понять Сократа, *116*.

II. Теория Целлера о сократической философии, *117 - Сократ* не предложил никакого определения знания, *119 -* Он *не* исправил недостатки греческой физической спекуляции, *120 - Его* отношение к физике напоминало отношение Протагора, *121 - Позитивные* теории морали и религии, которые он поддерживал, *123*.

III. Истинное значение и оригинальность сократовского учения, *125 - Обстоятельства*, при которых сформировался афинский характер, *126 - Его* прозаические, рационалистические и утилитарные тенденции, *127 - Эффект*, произведенный обладанием империей, *128 -* Изучение разума в искусстве и философии, *128 - Как* афинский характер был представлен Сократом, *129 - Его* симпатии к практической и религиозной стороне, *130 - Его* отношение к гуманистам, *131 - Его* отождествление добродетели со знанием, *132 -* Поиск объединяющего принципа в этике, *133 - Важность* знания как фактора поведения и цивилизации, *133 - Фундаментальная* идентичность всех умственных процессов, *136*.

IV. Гармония теории и практики в жизни Сократа, *137 - Разум* как принцип (i.) самоконтроля, (ii.) сотрудничества и (iii.) спонтанной энергии, *137-Деривация* и функция перекрестного эленхуса, *138-Как* он иллюстрирует негативный момент греческой мысли, *139-Разговоры* с Глауко и Эвтидемом, *139-Эротический* метод как помощь самодисциплине, *141-Сохранение* противоречивых дебатов в речах Фукидида, *142*.

V. Почему Сократ настаивал на необходимости определения абстрактных терминов, *142- Последующее* влияние его метода на развитие римского права, *144-Замена* расположения

по сходству и различию расположением по смежности, 145-Один во многих, и многие в одном: беседа с Хармидом, 146-*Иллюстрация* идей их противоречивыми противоположностями, 147-Сократовская индукция, (i.) толкование неизвестного известным, 148 - *неправильное применение* этого метода в теории конечных причин, 149 - (ii.) процесс сравнения и абстрагирования, 150 - *пригодность* этого метода для изучения психических явлений, 151 - *почему* он неприменим в физических науках, 151 - *широкий* круг исследований, включенных в полную философию разума, 151 - диалектическое устранение несоответствий, 152.

VI. Последовательность - великий принцип, представленный Сократом, 152 - *Параллелизм* этики и логики, 154 - Этическая диалектика Сократа и Гомера, 154 - *Личные* и исторические подтверждения сократического метода, 155 - *Его* влияние на развитие искусства и литературы, 156 - *И* на отношения между мужчинами и женщинами, 158 - *Смысл* демониума, 160.

VII. Обвинение и суд над Сократом, 161 - *обоснованность* выдвинутых против него обвинений, 162 - *заблуждения* современных критиков, 164 - *его* защита и осуждение, 165 - *бесполезность* апологии Гроте в отношении Дикастерия, 166 - *отказ* Сократа спастись бегством, 168 - *сравнение* с Джордано Бруно и Спинозой, 169 - памятники, воздвигнутые Сократу Платоном и Ксенофонтом, 169.

ГЛАВА IV.

ПЛАТОН, ЕГО УЧИТЕЛИ И ЕГО ВРЕМЯ стр. 171-213

I. Новое значение, придаваемое системам философии методом эволюции, 171 - *Экстравагантность*, из которой, по-видимому, состоит философия Платона, 172 - Высокая репутация, которой она, тем не менее, продолжает пользоваться, 174 - *Различие* между умозрительными тенденциями и систематической формой, в которой они передаются, 174 - *Гениальность* платоновских диалогов, 175 - *Их* хронологический порядок, 177 - *Они* воплощают в себе суть философского учения Платона, 177.

II. Более широкое применение диалектического метода Платоном, 179 - *Он* возвращается к первоначальным сомнениям Сократа, 180 - *В* какой степени он разделял религиозную реакцию своего времени, 181 - *Он* ставит демонстративные рассуждения выше божественного вдохновения, 182 - *Его* критика сократовской этики, 183 - *Исключительный* характер "Крито", 184 - *Следы* софистического влияния, 185 - *Общее* отношение Платона к софистам, 186 - *Эгоистический* гедонизм "Протагора", 188.

III. Платон как личность: его высокое происхождение, личная красота и художественная одаренность, 189 - *его* стиль не поэзия, не красноречие и не беседа, а выражение спонтанной мысли, 190 - платоновский Сократ, 191 - *Платон* переносит дух афинской аристократии в философию, 192 - *серьезность*, с которой великие реформаторы обычно смотрят на свою эпоху, 192 - презрительное мнение *Платона* о многих, 194 - потеря веры в свой собственный порядок, 195 - *ужас* перед деспотизмом, внушенный ему общением с Дионисием, 195 - недовольство конституцией Спарты, 196 - теория политического вырождения, подтвержденная историей Римской республики, 196 - исключительно эллинские и аристократические симпатии, 197 - *инвективы* против развращающего влияния толпы и ее льстецов, 198 - *осуждение* народных судов, 199 - характер успешного адвоката, 200 - *значение*, которое он приобрел во времена Платона, 200 - профессиональный учитель риторики, 201.

IV. Значение и полнота философии Платона, [202-Сочетание](#) сицилийского и итальянского с аттическим образом мыслей, [203-Переход](#) от Протагора к Теэтету, 205-"Человек есть мера всех вещей": мнение и ощущение, [206-распространение](#) диалектического метода на все сущее, 207-гераклитовская система, истинная для явлений, [208-Гераклит](#) и Парменид в "Кратиле", [209-тенденция](#) к фиксации на тождестве и различии как конечных элементах знания, [210-сочетание](#) математического метода с диалектикой Сократа, 210-доктрина *априорного* познания, 211-идея единства, выведенная из интроспекции, [212-тенденция](#) к монизму, [213](#).

ГЛАВА V.

ПЛАТО КАК РЕФОРМЕР стр. 214-274

I. Повторное изложение, 214-Отождествление *Платоном* человеческого с божественным, 215-Афанасийское кредо философии, [216-Попытки](#) посредничества между видимостью и реальностью, [216-Мечение](#) платоновской любви, 217-Последующее развитие в философии Аристотеля, 218-Поэзия Данте, [219-Связь](#) между религиозным мистицизмом и любовной страстью, [219-Сукцессивные](#) стадии греческой мысли, представленные в Симпозиуме, [220-Анализ](#) диалектического метода Платона, [221-Преувеличенное](#) значение, приписываемое классификации, 222-Влияние *Платона* на современную философию, [223](#).

II. Посреднический характер психологии Платона, [223-Эмпирическое](#) знание как связь между демонстрацией и чувственным восприятием, [224-Гордость](#) как связь между разумом и аппетитом, [224-Переход](#) от метафизики к этике: знание и удовольствие, [225-Антигедонистические](#) аргументы Филеба, [226-Попытка](#) основать этику на различии между душой и телом, [227-Что](#) подразумевается под идеей добра? 228-Вероятно, это абстрактное понятие тождества, [229](#).

III. Чем практическое учение Платона отличалось от учения Сократа: [229 - отождествление](#) справедливости с корыстью, [230 - смешение](#) общественного и индивидуального счастья, [231 - превращение](#) души во множество противоречивых побуждений, [232 - невозможность](#) убедить людей в благости, [233](#).

IV. Союз религии с моралью, [234 - Осторожное](#) обращение с народной теологией, [234 - Бессмертие](#) души, [235 - Пифагорейская](#) реформация, задержанная прогрессом физической философии, [237 - Бессмертие](#), отрицаемое некоторыми из пифагорейцев, [237 - Скептицизм](#) как переход от материализма к спиритизму, [238 - Аргументы](#) Платона, [239 - Пантеизм](#) как естественный результат его системы, [240](#).

V. Осуждение Платоном искусства, [241-Исключение](#) в пользу религиозных гимнов и назидательной художественной литературы, [241-Математика](#) должна стать основой образования, [242-Применение](#) науки к улучшению расы, [242-Несовпадение](#) веры Платона в наследственность с учением о метемпсихозе, [243-Схема](#) реорганизации общества, [244-Практическая](#) диалектика Республики, [245](#).

VI. Гегелевская теория республики, [246 - Несколько](#) различных тенденций, объединенных под именем субъективности, [247 - Греческая](#) философия не является элементом политической дезинтеграции, [250 - Платон](#) заимствовал больше у Египта, чем у Спарты, [253](#).

VII. Последствия радикальной революции, [254-Платон](#) построил свою новую республику из элементарных и подчиненных форм социального союза, [254-Непоследовательность](#), к которой его привел этот метод, 254-Положение, которое он отводит женщинам, 256-Платоновое государство наполовину школьная доска и наполовину брачная доска, [258-](#)

Частичная реализация политики Платона в средние века, *259-Контраст* между Платоном и современными коммунистами, *259-Его* реальное сходство с Комтом и Гербертом Спенсером, *261*.

VIII. Реакция социальных исследований Платона на его метафизику, *262-Идеи*, разрешенные в различные аспекты отношения между душой и телом, *263-Диалектическое* растворение четырех фундаментальных противоположностей между реальностью и видимостью, *263-Муд* как посредник между Идеями и внешним миром, *265-Космогония* "Тимея", *265-Философия* и теология, *267*.

IX. Надежды Платона на благотворительный деспотизм, *268* - "Законы", *269* - уступки существующим формам мышления, *270* - религиозная нетерпимость, *271* - переоценка достижений Платона, *272* - плодотворность его метода, *273*.

ГЛАВА VI.

ХАРАКТЕРИСТИКА АРИСТОТЕЛЯ стр. 275-329

I. Новейшая аристотелевская литература, *275* - Реакция в пользу философии Аристотеля, *277* - и сопутствующее ей неверное истолкование ее смысла, *278* - Пристрастие *Целлера* к Аристотелю, *280*.

II. Жизнь Аристотеля, *280* - его отношение к Платону, *281* - Аристотель и Гермей; *284* - *Аристотель* и Александр, *285* - пребывание *Аристотеля* в Афинах, бегство и смерть, *288* - выбор преемника, *288* - положения его завещания, *289* - внешний вид, *289* - анекдоты, иллюстрирующие его характер, *290* - стремление к самостоятельности и оригинальности, *291*.

III. Распространенное заблуждение о разнице между Аристотелем и Платоном, *291* - Платон был практиком, Аристотель - теоретическим гением, *293* - контраст, предлагаемый их взглядами на теологию, этику и политику, *294* - идеал государства *Аристотеля*, *296* - его недостаток политической проницательности и предвидения, *297* - бесполезность его теорий в наши дни, *298*.

IV. Сила и слабость риторики Аристотеля, *299* - ошибочная теория эстетического наслаждения, выдвинутая в "Поэтике", *300* - истинная природа трагических эмоций, *303* - важность женских персонажей в трагедии, *303* - необходимость поэтической несправедливости, *305* - теория катарсиса, *306* - правила рассуждения *Аристотеля*, заимствованные у Платона, *307* - "Органон" на Цейлоне, *307*.

V. Непревзойденный интеллектуальный энтузиазм Аристотеля, *308* - Иллюстрации из его трудов, *309* - Его полный провал во всех физических науках, кроме зоологии и анатомии, *311* - Его неоднократный отказ от справедливых взглядов, выдвинутых другими философами, *312* - Полная противоположность между его теорией природы и нашей, *316*.

VI. Высшее мастерство, проявленное Аристотелем в обращении с поверхностью вещей, *318* - его неспособность опуститься ниже поверхности, *319* - в чем он уступал своим предшественникам, *320* - его точка зрения неизбежно определялась развитием греческой мысли, *321* - аналогичное развитие аттической драмы, *323*.

VII. Периодическое возвращение к аристотелевскому методу, *325* Систематизирующая сила Аристотеля, проявляющаяся во всех его трудах, *326* но главным образом в тех, которые

относятся к описательным наукам, [327 Его](#) биологические обобщения, [328 Как](#) они объясняются и исправляются теорией эволюции, [329](#).

ГЛАВА VII.

СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ АРИСТОТЕЛЯ стр. 330-402

I. Однородность трудов Аристотеля, [330](#) - Метафизика, [331](#) - *Каковы* причины и принципы вещей? [331](#) - *Возражения* против ионийского материализма, [332](#) - Телеология *Аристотеля* - исследование функций, [332](#) - *Неправомерное* обобщение на неорганический мир, [333](#) - Четыре причины *Аристотеля*, [334](#) - *Выведение* субстанциальных форм из платоновских идей, [335](#) - Критика теории идеалов, [336](#) - *Ее* применимость к любому виду трансцендентального реализма, [338](#) - *Сохранение* платоновской теории в системе Аристотеля, [338](#).

II. Конкретные формы, принятые фундаментальным дуализмом греческой мысли, [339](#) - *Акцент*, сделанный Аристотелем на антитезе между бытием и небытием, [339](#) - *Ее* формулировка в высших законах логики, [340](#) - *Промежуточный* характер, приписываемый случайностям, [340](#) - *Различие* между истиной и реальным существованием, [341](#) - Категории: их значение и происхождение, [341](#)-*Анализ* идеи субстанции, [343](#)-*Анализ* индивидуальности, [345](#)-*Замена* возможности и действительности материей и формой, [346](#)-*Чисто* словесное значение этой доктрины, [347](#)-*Движение* как превращение силы в действие, [347](#).

III. Теология Аристотеля, основанная на динамическом заблуждении, [348](#)-*Необходимость* перводвигателя, [349](#)-*Аристотель* не пантеист, а теист, [350](#)-*Ошибочная* интерпретация сэра А. Гранта, [351](#) *Несоответствие* метафизики Аристотеля католической теологии, [352](#) и современным аргументам в пользу существования Бога, [353](#) - а также выводам современной науки, [353](#) - *Самопротиворечивый* характер его системы, [354](#) - *Мотивы*, которыми она может быть объяснена, [354](#) - Греческое поклонение звездам и христианское небо, [356](#) - *Более высокое* положение, которое Коперник придал Земле, [356](#) - Прославление небес *Аристотелем*, [357](#) - *Как* его астрономия иллюстрирует греческие идеи обхода и посредничества, [358](#).

IV. Общий принцип систематизации Аристотеля, [359](#) - *Дедукция* четырех элементов, [360](#) - *Связь* перипатетической физики с астрологией и алхимией, [361](#) - *Революция*, совершенная современной наукой, [361](#) - *Систематизация* биологии, [362](#) - *Аристотель* о роде животных, [363](#) - *Его* успехи в сравнительной анатомии, [364](#).

V. Антитетическая основа психологии Аристотеля, [365](#)- *Его* теория ощущений в сравнении с теорией атомистов, [365](#)- *Его* успешное лечение воображения и памяти, [366](#) - *Как* формируются общие идеи, [366](#) - Активный Nous - это самосознательная идея, [367](#) - *Ход* мысли, который привел к этой теории, [368](#)-*Смысл* отрывка в "Порождении животных", [369](#)- *Предполагаемое* опровержение материализма, [370](#)-*Аристотель* не приверженец Феррьера, [371](#)-*Форма* и материя не различаются как субъект и объект, [373](#)-*Аристотель* отвергает доктрину личного бессмертия, [374](#).

VI. Логика Аристотеля, [375](#) - *Подчинение* суждений понятиям, [376](#) - *Наука* как процесс определения и классификации, [377](#) - Теория предложений *Аристотеля*, [378](#) - *Его* концептуальный анализ силлогизма, [379](#) - *Влияние* метафизики Аристотеля на его логику, [380](#) - *Дисъюнкция* - первичная форма всех рассуждений, [381](#) - *Как* она порождает гипотетические и категорические рассуждения, [382](#).

VII. Теория прикладного рассуждения: различие между демонстрацией и диалектикой, [383-Аристотель](#) ставит абстракции выше обоснованной истины, [384-Небрежение аксиомами](#) в сравнении с определениями, [384-Законы природы](#) не признаются Аристотелем, [385-Он](#) не смог понять ценность дедуктивного рассуждения, [387-Деривация](#) общего из частного: Аристотель и Милль, [387-В](#) каком смысле Аристотель был эмпириком, [390-Обзор](#) взглядов Целлера, [391-Индукция](#) как анализ среднего термина на крайние, [393-Теория](#) экспериментального рассуждения, содержащаяся в "Топиках", [394](#).

VIII. Систематическое рассмотрение антитезы между Разумом и Страстью, [395-Связь](#) между Риторикой и Этикой, [395-Искусственное](#) отношение к добродетелям, [396-Полумерное](#) противопоставление Мудрости и Воздержания, [397-Центральная](#) идея Политики: различие между интеллектуальным и материальным состоянием, [398-Соответствие](#) Поэтики системе Аристотеля в целом, [399](#).

IX. Философия Аристотеля - ценный корректив к современному прославлению материальной промышленности, [399 - Досуг](#) - необходимое условие интеллектуального прогресса, [400 - Как](#) Аристотель оценил бы результаты современной цивилизации, [401](#).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ССЫЛКИ.

Примечание переводчика

В тексте они выделены как сноски с использованием алфавитного кодирования. При этом указывается номер страницы и строки, а не точный текст.

A. Страница 9, строка 18. Плутарх (*ut fertur*), Plac. Phil., I., iii., 4.

B. Страница 15, строка 26. Ксенофан, Фрагм. 19 и 21, изд. Mullach.

C. Страница 41, строка 25. Диоген Лаэртский, IX, 34. Слова "в восточных странах, где он путешествовал" - предположительное добавление, но оно кажется оправданным контекстом.

D. Страница 43, строка 11. Плутарх, Перикл, iv.

E. Страница 65. Историю о Глауке см. у Геродота VI, lxxxvi.

F. Страница 77, строка 21. Платон, Протаг., 315, D.

G. Стр. 78, строка 1. Там же, 341, A.

H. Страница 103. Мнение Сократа о софистах см. у Ксенофонта, Мем., I., vi., 11 и далее.

I. Стр. 114, строка 4. Ксенофонт, Мем., I., iv., 1.

J. Страница 194, строка 28. Repub., 493, A; там же, строка 33. Горгий, 521, E.

K. Страница 195, строка 23. Theaetêt., 175, A и 174, E. Jowett's Transl., IV., P. 325.

L. Стр. 233, последняя строка. Софист, 246, D.

M. Стр. 294, строка 7. О том, что Платон предпочитает практику созерцанию, см. Repub., 496, E.

ГЛАВА I. РАННЯЯ ГРЕЧЕСКАЯ МЫСЛЬ.

I.

В течение двух столетий, закончившихся после Пелопоннесской войны, одна раса, слабая численно и еще более ослабленная политическими разногласиями, одновременно развивала все высшие человеческие способности до степени, возможно, соперничающей, но точно не превзойденной коллективными усилиями того значительно большего населения, которое сегодня владеет накопленными ресурсами современной Европы. Эта раса, удерживая шаткую позицию на берегах Средиземного моря благодаря постоянным проявлениям мужества и гениальности, внесла в цивилизацию новый элемент, который стал движущей силой всего последующего прогресса, но который, по мере того как он расширялся и встречал все большее сопротивление извне, неизбежно терял часть той огромной эластичности, которая была характерна для его самой ранней и наиболее концентрированной реакции. Греки по праву гордились тем, что к азиатской утонченности и фракийской доблести они присоединили бескорыстную жажду знаний, которую не разделяли их соседи с обеих сторон.⁵ И если бы современник Перикла мог предвидеть все, что будет думаться, говориться и делаться в течение следующих двадцати трех веков существования этого мира, то ни в один период этого долгого промежутка времени, даже среди родственной италийской расы, он не смог бы найти конкурента, способного поспорить с Элладой за оливковый венец более благородной Олимпии, за гуэрдон, причитающийся уникальному сочетанию высшего совершенства во всех видах интеллектуальных упражнений, в стратегии, дипломатии, государственном управлении; в математике, архитектуре, пластическом искусстве и поэзии; в суровой верности историка, чьей главной задачей является изложение фактов в том виде, в каком они имели место, и в ловких извилинах адвоката, чьи интересы заставляют его уклоняться от них или маскировать их; в далеко идущих размышлениях одинокого мыслителя, бьющегося над загадками собственной души, и в пылком красноречии, которым вдохновляется, направляется или управляется множество людей, от решения которых зависят великие вопросы. Правда, он не нашел бы ни одного грека, которого можно было бы выставить против атлетов Возрождения; не было ни одного, кто проявил бы универсальный гений, столь характерный для величайших тосканских художников, таких как Лионардо и Майкл Анджело; и, если брать более узкий диапазон, ни один греческий писатель, чьи сочинения дошли до нас, не превзошел и даже не пытался превзойти их как в поэзии, так и в прозе. Но наш воображаемый пророк мог заметить, что такая разносторонность больше подходит софисту Гиппиасу или авантюристу Критию, чем серьезному мастеру фидийского типа. Он мог бы процитировать сарказм Пиндара о высокообразованных людях, у которых бесконечное множество вкусов и ни один из них не доведен до [совершенства](#)⁶; считая, как и Платон в следующем поколении, что один человек может хорошо делать только одно дело, он мог бы добавить, что герои современного искусства сделали бы гораздо более благородную работу, если бы

сосредоточили свои силы на одной задаче, вместо того чтобы пытаться выполнить полдюжины и оставить большинство из них незавершенными.

Такое тщательное ограничение индивидуальных усилий одной областью не привело к разбросу или несогласованности в достигнутых результатах. Все высшие работники были воодушевлены общим духом. Каждый из них представлял какой-то один аспект славы и величия, в котором участвовали все. Коллективное сознание, объединяющая симпатия не ограничивались одной сферой. Оно поднималось по ступеням от городской общины, через дорийскую или ионийскую общину, с которой они имели более близкое родство, к панэллинской расе, всему человечеству и божественному отцовству Зевса, пока не упиралось в ту всеобъемлющую природу, которую Пиндар знал как единую мать богов и людей.⁷

Возможно, мы можем найти некоторое представление об этом сочетании отчетливости и всеобъемлющего характера в облике и конфигурации самой Греции; в многообразии ее почв, климата, пейзажей и продуктов; в изысканной четкости, с которой определяются черты ее ландшафта; в восхитительном развитии береговой линии, благодаря которой все части ее территории, сохраняя свою политическую независимость, были приведены в безопасное и быстрое сообщение друг с другом. Промышленные и торговые привычки народа, требующие четкого разделения труда и регулируемого распределения товаров, дали дополнительный импульс в том же направлении.

Но самым ценным воспитанием в этом смысле была система свободного правления, предполагавшая верховенство безличного закона, разделение государственной власти между несколькими магистратами и наделение каждого из них определенными, тщательно прописанными функциями, которые ему запрещалось превышать; а также живой интерес каждого гражданина к благосостоянию всего государства и представление о нем как о целом, состоящем из различных частей, что невозможно, когда все государственные полномочия собраны в одних руках.

Народ, наделенный такими способностями, был естественным создателем *philosophy*. Наступило время, когда гармоничная универсальность эллинского гения искала своего аналога и завершения в теории внешнего мира. Наступило также время, когда упадок политических интересов оставил большой запас интеллектуальной энергии, привыкшей работать в определенных условиях, с желанием реализовать эти условия в идеальной сфере. Таково наиболее общее значение, которое мы можем придать той памятной серии рассуждений о природе вещей, которая, начавшись в Ионии, была перенесена греческими колонистами в Италию и Сицилию, откуда, получив важные дополнения и изменения, поток мысли потек обратно в старую страну, где он был направлен в совершенно новое русло практическим гением Афин. Фалес и его преемники вплоть до Демокрита были не совсем теми, кого мы должны называть философами в любом смысле этого слова, включающем Локка или Юма и исключаящем Бойля или Блэка; ведь их рассуждения никогда не выходили за пределы материальной вселенной; они даже не подозревали о существовании тех этических и диалектических проблем, которые долгое время составляли единственный объект философских дискуссий и с тех пор, как они впервые были поставлены, считались их наиболее специфической областью. Мы также не можем рассматривать их в целом или в основном как людей науки, поскольку их главной целью было собрать все знания под единым принципом; и они стремились реализовать эту цель не путем наблюдения и эксперимента, а исключительно силой мысли. Пожалуй, вернее всего будет сказать, что с их точки зрения философия и наука еще не были разграничены, и что знание как универсальный синтез еще не было отделено от специальных исследований отдельных

явлений. Здесь, как и везде, прогрессирующий разум стремится объединить исследования, которые были временно разделены, и мы должны смотреть на наших современников - наших Тиндаллов и Томсонов, наших Гельмгольцев и Цёльнеров - как на , обеспечивающих наиболее подходящую параллель Анаксимандру и Эмпедоклу, Лейциппу и Диогену Аполлонийскому.

В некоторых кругах было принято свысока смотреть на этих ранних мыслителей, обесценивая ценность их спекуляций, потому что они были мыслителями, потому что, как мы уже заметили, они пришли к своим самым важным выводам путем размышлений, поскольку средства подлинно научного наблюдения были им недоступны. Тем не менее они оказали человечеству услуги, сравнимые по значимости с законодательством Солона и Клисфена или победами при Марафоне и Саламине, а их творческое воображение не уступало творчеству великих лирических и драматических поэтов, великих архитекторов и скульпторов, чьими современниками они были. Они впервые научили людей отличать реальность природы от иллюзий чувства; они открыли или предсказали неразрушимость материи и ее атомарную структуру; они учили, что пространство бесконечно - концепция, настолько далекая от самоочевидности, что ее не мог постичь даже Аристотель; Они утверждали, что кажущаяся вечной Вселенная была приведена в свою нынешнюю форму действием механических сил, которые также приведут к ее распаду; столкнувшись с кажущимся постоянством и твердостью нашей планеты, с бесчисленными разновидностями жизни, которые можно найти на ее поверхности, они заявили, что все вещи возникли путем [дифференциации](#) из однородного ослабленного пара; а один из них зашел так далеко, что предположил, что человек произошел от водного животного. Но выше этих фрагментарных проблесков и предвосхищений теории, которая все еще ждет подтверждения на опыте, мы должны поставить их главную доктрину, согласно которой Вселенная - это космос, упорядоченное целое, управляемое числом и законом, а не слепой конфликт полубессознательных агентов или театр для произвольного вмешательства пристрастных, ревнивых, и мстительных богов; Что его изменения определяются, если вообще определяются, имманентной неизменной причиной; и что те небесные светила, которые в каждый век привлекали к себе беспрекословное поклонение всего человечества, на самом деле были не более чем огненными массами неодоушевленной материи. Таким образом, даже если ранние греческие мыслители не были учеными, они впервые сделали науку возможной, заменив теорию Вселенной, которая является ее прямым отрицанием, теорией, которую методичные наблюдения все чаще подтверждают. Гирлянду поэтических похвал, которую Лукреций сплел для своего обожаемого мастера, следовало бы посвятить им, и только им. Его благородный энтузиазм был действительно вдохновлен их уроками, а не утомительными пустяками моралиста, который мало знал и мало заботился о тех занятиях, в которые была погружена вся душа его римского ученика.

Когда силу и ценность этих примитивных спекуляций уже невозможно отрицать, их оригинальность иногда ставится под сомнение систематическими хулителями всего эллинского. Фалес и остальные, как нам говорят, просто заимствовали свои теории без признания из кладезя восточной мудрости, из которого греки, как предполагается, черпали так же свободно, как Кольридж из немецкой философии. Иногда каждая система связывается с одной из великих азиатских религий, иногда все они восходят к школам Индостана. Естественно, что ни один из двух критиков не может прийти к согласию, когда соперничающие объяснения не основаны ни на чем более прочном, чем поверхностные аналогии и случайные совпадения. Доктор Целлер в своей удивительно эрудированной, ясной и проницательной работе по греческой философии тщательно просеял некоторые из упомянутых гипотез и показал, насколько они лишены внутренних и внешних доказательств и

как совершенно не соответствуют фактам. Самые древние и лучшие авторитеты, Платон и Аристотель, ничего не знали о таком заимствовании греческой мысли из восточных источников. Исократ, правда, упоминает, что Пифагор заимствовал свою философию из Египта, но Исократ даже не претендовал на правдивость повествования. Ни один грек раннего периода, кроме тех, кто регулярно проживал в Сузах, не был знаком ни с одним языком, кроме своего собственного. Лишь немногие путешествовали далеко в Азию, и из этих немногих только один или два были философами. Демокрит, посетивший больше чужих стран, чем любой человек своего времени, говорит только о том, что обсуждал математические проблемы с мудрецами, с которыми сталкивался; и даже в математике он был, по крайней мере, им равен.⁹ Именно на самом большом расстоянии от Азии, в Италии и Сицилии, возникли системы, которые, кажется, имеют наибольшую аналогию с азиатскими способами мышления. Можем ли мы предположить, что торговцы тех времен были способны доставить умозрения Конфуция и Веды на такое расстояние от родных мест? С гораздо большим основанием можно было бы ожидать, что немецкий купец повезет знания о философии Канта из Кенигсберга в Кантон. Но более убедительный аргумент, чем любой другой, - показать, что греческая философия в своем историческом развитии демонстрирует совершенно естественный и спонтанный прогресс от более простых форм к более сложным, и что система выросла из системы путем строго логического процесса расширения, анализа и комбинирования. Именно это, главным образом под руководством Целлера, мы и попытаемся сейчас сделать.

II.

Фалес из Милета, ионийский геометр и астроном, возраст которого неясен, но который, по-видимому, процветал в конце седьмого века до нашей эры, по общему мнению, считается отцом греческой физической философии. До него другие пытались объяснить происхождение мира, но никто, как он, не проследил его чисто природное начало. По мнению Фалеса, все вещи произошли от воды. То, что земля полностью окружена водой сверху и снизу, а также по всему периметру, было, возможно, распространенным представлением среди западных азиатов. В это, несомненно, верили и древние евреи, как мы узнаем из рассказов о сотворении мира и потопе, содержащихся в Бытие. Милезийский мыслитель проявил свою оригинальность, обобщив еще больше и заявив, что вода не только окружает все вещи, но что все вещи происходят из нее как их первая причина и субстанция, что вода, так сказать, является материальным абсолютом. Никогда не произносилось более беременных слов; они действовали на греческий ум как фермент; они были зерном, из которого выросло дерево, заслонившее собой всю землю. Одним махом они заменили сравнительно научный, поддающийся проверке принцип на путанные фантазии мифологизирующих поэтов. Не то чтобы Фалес был атеистом, агностиком или кем-то в этом роде. Напротив, сообщается, что он говорил, что все вещи полны богов, и это сообщение звучит достаточно правдоподобно. Скорее всего, это высказывание было протестом против популярного ограничения божественных сил некоторыми особыми случаями и благоприятными местами. Истинный мыслитель стремится прежде всего к последовательности и непрерывности. Он с большей готовностью примет вечный поток творческой энергии, чем ряд произвольных и изолированных вмешательств в ход природы. В остальном Фалес не пытался объяснить, как вода превращается в другие вещества, и, вероятно, необходимость такого объяснения никогда не приходила ему в голову. Мы можем подозревать, что он и другие после него не были способны четко различать такие понятия, как пространство, время, причина, субстанция и предел. Нам почти так же трудно проникнуть в мысли этих примитивных философов, как им было бы трудно постичь процессы рассуждений, уже знакомые Платону и Аристотелю. Возможно, формы, в которые мы

облекаем наши концепции, станут столь же устаревшими на более продвинутой стадии интеллектуальной эволюции, а наши резкие разграничения окажутся не менее искусственными, чем путанные идентификации, которые они заменили.

Следующий большой шаг вперед в области спекуляций был сделан Анаксимандром, еще одним милезийцем, также достигшим выдающихся успехов в математике и астрономии. Мы видели, что для Фалеса вода, всеобъемлющий элемент, стала, как таковая, первой причиной всех вещей, абсолютным принципом существования. Его преемник принял ту же общую точку зрения, но смотрел с нее более пронизательным взглядом. За водой лежало нечто иное, что он назвал Бесконечным. Он имел в виду не пустую абстракцию, которая в наше время бродит под этим злополучным названием, и не бесконечное пространство, а нечто более богатое и конкретное, чем то и другое; хранилище материалов, из которых можно вечно создавать отходы существования. Рост и упадок отдельных форм влечет за собой постоянную утечку из природы, и недостаток должен быть восполнен соответствующим притоком извне. ^А Ибо, заметим, что, хотя греческие мыслители в этот период хорошо знали, что ничто не может произойти из ничего, они еще не постигли дополняющую истину, неотъемлемо связанную с ней Лукрецием в одном бессмертном двустишии, что ничто не может вернуться в ничто; и Кант совершенно ошибается, когда рассматривает эти два понятия как исторически неразделимые. Обычный опыт заставляет нас обратить внимание на одно гораздо раньше, чем на другое. Наши поступления очень строго измеряются и учитываются без труда, в то время как трудно сказать, что происходит со всеми нашими расходами, физическими и экономическими. И хотя Анаксимандр еще не догадывался о неразрушимости материи, он, похоже, нащупывал путь к признанию циркуляционного движения, пронизывающего всю природу. Все, говорит он, в конце концов должно быть поглощено Бесконечным в наказание за грех своего отдельного существования. ¹⁰ Кто-то может найти в этом чувстве нотки восточного мистицизма. Скорее, сама печаль иллюстрирует здоровую жизнеспособность греческого чувства, для которого поглощение казалось наказанием за преступление против абсолюта, а не венцом и завершением духовного совершенства, как для многих азиатов. Как бы то ни было, доктрина, отождествляющая смерть всего мира с его поглощением высшей реальностью, вскоре наводит на мысль о том, что его составные части исчезают только для того, чтобы появиться вновь в новых сочетаниях.

На смену системе Анаксимандра пришел ряд других, которые невозможно выстроить в соответствии с каким-либо порядком линейной прогрессии. Такие схемы, действительно, ложны в принципе. Интеллектуальная жизнь, как и любая другая жизнь, является продуктом разнообразных условий, и их разнообразные комбинации обязательно приведут к соответствующим многочисленным последствиям. Анаксимен, соотечественник Анаксимандра, наиболее близко следовал по стопам мастера. Пытаясь, как кажется, стать посредником между двумя своими предшественниками, он выбрал воздух в качестве первоэлемента. Воздух более вездесущ, чем вода, которая, как и земля, заключена в свою пластичную сферу. С другой стороны, он более осязаем и конкретен, чем Бесконечное, или даже может быть заменен этим понятием, если предположить, что оно простирается так далеко, как только может охватить мысль. Как и прежде, космогония вырастает из космографии; объемлющий элемент является родителем тех, кто в нем заключен.

Спекуляция покидает свою азиатскую колыбель и вместе с греческими колонистами отправляется в новые дома в Италии и Сицилии, где новое окружение способствовало развитию новых форм мышления. Сначала наше внимание привлекает имя, вокруг которого

мифические обрастания собрались так густо, что первоначальное ядро факта почти не поддается определению. Аристотель, как известно, избегает упоминания Пифагора и всегда говорит о пифагорейцах, когда обсуждает мнения, которых придерживалась некая итальянская школа. Их доктрина, кто бы ни стоял у ее истоков, заключалась в том, что все вещи созданы из числа. Брандис рассматривает пифагорейство как совершенно оригинальную попытку спекуляции, стоящую в стороне от основного течения эллинской мысли и подлежащую изучению без привязки к ионийской философии. Целлер, с большей долей правдоподобия, рассматривает его как результат развития системы Анаксимандра. В этой системе конечное и бесконечное оставались противопоставленными друг другу как непримиримые моменты мысли. Число, по мнению греческих арифметиков, представляло собой синтез этих двух начал, а потому превосходило любое из них. Для пифагорейца конечное и бесконечное были лишь одной из нескольких антитетических пар, таких как чет и нечет, свет и тьма, мужское и женское, и, прежде всего, единица и множество, из которых образуется любое число после единства. Тенденция искать антитезы повсюду и создавать их там, где их нет, стала в скором времени настоящей болезнью греческого ума. Фукидид мог бы обойтись без этого громоздкого механизма не больше, чем канатный плясун без своего балансировочного шеста; и многие школьники были сильно озадачены фантастическими искажениями, которые размышления Италиота наложили на некоторое время на афинское ораторское искусство.

Возвращаясь к нашей более насущной теме, заметим, что пифагорейцы, предвосхищая современную количественную науку, утверждали не то, что все вещи определяются числом, а то, что все вещи являются числами или состоят из чисел - два положения, которые нелегко различить непрактичным мыслителям. Числа, одним словом, были для них тем же, чем вода была для Фалеса, чем воздух для Анаксимена, - абсолютным принципом существования; только у них идея предела, главная вдохновительница греческой мысли, достигла более высокой степени абстракции. Число было как бы внешним пределом конечного и внутренним пределом бесконечного. Добавьте к этому, что математические занятия, культивировавшиеся в Египте и Финикии только ради их практической пользы, в Элладе продолжались со все возрастающим рвением ради их собственной прелести, ради интеллектуальной дисциплины, которую они обеспечивали - дисциплины, даже более ценной тогда, чем сейчас, - и ради прозрения, которое они давали или, как считалось, давали, в тайную конституцию природы; И то, что более сложные арифметические операции обычно выполнялись с помощью геометрических диаграмм, наводило на мысль о возможности применения аналогичного подхода к любому порядку отношений. Подумайте, какие живые эмоции вызывали у интеллигентных людей те времена, когда умножение и деление, квадрат и куб, правило трех, построение и эквивалентность фигур, со всеми их многообразными применениями в промышленности, торговле, изобразительном искусстве и тактике, были столь же странными и удивительными, как для нас электрические явления; Подумайте также о магическом влиянии, которое до сих пор обычно приписывают отдельным числам, и о том, с каким нетерпением ждут точных числовых данных, даже если они не имеют практической ценности, которые демонстрируют все, кто возвращается к примитивному образу жизни, как, например, в альпийском путешествии или на борту атлантического парохода, и мы перестанем удивляться тому, что простая форма мысли, безжизненная абстракция, когда-то считалась решением всех проблем, причиной всего существования; Или что эти рассуждения не раз возрождались в последующие века и погибли только вместе с самой греческой философией.

Мы не будем рассматривать здесь научные достижения Пифагора и его школы; они относятся к истории науки, а не чистой мысли, и поэтому лежат за пределами настоящего

обсуждения. Однако необходимо сказать кое-что о пифагорействе как о схеме моральной, религиозной и социальной реформы. Единственная среди досократовских систем, она взяла на себя обязательство дать правила поведения, а также теорию бытия. Однако, как отмечает [Целлер¹¹](#), это была лишь кажущаяся аномалия, поскольку этическое учение пифагорейцев не было основано на их физических теориях, за исключением того, что глубокое почитание закона и порядка было общим для них обоих. Возможно, также, что разделение души и тела с приписыванием первому более высокого достоинства, которое было отличительным принципом школы, может быть запараллелено с положением, отведенным числу как своего рода духовной силе, создающей и контролирующей мир чувств. Так и политическая власть должна была быть доверена аристократии, обученной всем благородным свершениям и приспособленной к осуществлению власти над другими посредством самодисциплины, взаимной верности и привычного повиновения правилу. Тем не менее, мы должны искать, вместе с Целлером, истинный источник пифагорейства как нравственного движения в той великой волне религиозного энтузиазма, которая прокатилась по Элладе в шестом веке до Рождества Христова, тесно связанной с импортом поклонения Аполлону из Ликий, концентрацией духовной власти в прорицательском святилище Дельф и политическим преобладанием дорийской расы, этих норманнов древнего мира. Легенда облекла эту связь в поэтическую форму, сделав Пифагора сыном Аполлона; а саамский мудрец, хотя сам был ионийцем, выбрал дорийские города Южной Италии в качестве благоприятного поля для своего нового учения, подобно тому как кальвинизм нашел более быстрое признание в передовых походах тевтонской расы, чем среди народа, откуда вышел его основатель. Возможно, ближайшей параллелью, хотя и в гораздо более широком масштабе, для религиозного движения, о котором мы говорим, является зрелище, которое представляла собой средневековая Европа в двенадцатом и тринадцатом веках нашей эры, когда несколько великих пап сосредоточили всю духовную власть в своих руках и посылали армию за армией крестоносцев на Восток; Когда вся Западная Европа пробудилась к сознанию своего общего христианства, и каждый человек был взволнован чувством огромных альтернатив, поставленных перед его выбором; когда были основаны ордена доминиканцев и францисканцев; когда возникли готическая архитектура и флорентийская живопись; когда трубадуры и миннезингеры изливали свои ноты презрительной или нежной страсти, а любовь полов стала чувством столь же возвышенным и стойким, каким была преданность друга другу в древней Греции. Расцвет греческого религиозного энтузиазма был более утонченным и мимолетным, чем феодальный католицизм; уступая в чистой духовности и имея более ограниченное значение как фактор эволюции человечества, он, по крайней мере, оставался свободным от церковной тирании, убийственного фанатизма и нелюбовных суеверий средневековой веры. Но политеизм в любой форме был фатально неспособен справиться с новым духом исследования, пробужденным философией, а старые мифы с их натуралистическими грубостями не могли долго удовлетворять разум и совесть мыслителей, которые в другой школе научились искать повсюду центральное единство управления и склонять свое воображение перед бесстрастным совершенством вечного закона.

III.

Таким мыслителем был Ксенофан из Колофона. Изгнанный, как и Пифагор, из родного города гражданскими раздорами, он провел большую часть необычайно долгой жизни, скитаясь по греческим колониям Сицилии и Южной Италии и декламируя собственные стихи, не всегда, как может показаться, перед очень внимательной аудиторией. Элея, италийский город, похоже, была его любимым местом отдыха, а основанная им философская школа обессмертила название этого малоизвестного в других отношениях фокейского поселения. От его стихов осталось достаточно, чтобы показать, с какой страшной силой сарказма он

нападал на популярную религию Эллады. "Гомер и Гесиод, - восклицает он, - приписывают богам все, что является позором и упреком среди людей - кражи, прелюбодеяния и взаимный обман".¹² Ксенофан не ограничивается нападками на эти нелицеприятные истории, он наносит удар по антропоморфным представлениям, которые лежат в их основе. Смертные думают, что у богов есть органы чувств, голос и тело, как у них самих. Негры воображают, что их божества чернокожие и курносые, фракийцы наделяют их светлыми волосами и голубыми глазами; если бы у лошадей или львов были руки и они умели рисовать, они бы тоже сделали богов по своему образу и подобию".¹³ Верить в рождение бога, по его мнению, так же нечестиво, как и верить в возможность его смерти. Современный политеизм был столь же ложным. Есть один верховный бог среди богов и людей, не похожий на смертных ни разумом, ни телом".¹⁴ Бог может быть только один, потому что он всемогущ, а значит, никто не может оспаривать его волю. Он также должен быть совершенно однородным, иметь форму сферы, видеть, слышать и мыслить всеми частями тела, никогда не перемещаться с места на место, но управлять всеми вещами с помощью безграничного усилия мысли. Если бы такие дерзкие ереси распространялись в демократических Афинах, их автор, вероятно, вскоре оказался бы вместе со своими произведениями передан на милость одиннадцати. К счастью, в Элеи, как и в большинстве других греческих государств, боги были предоставлены самим себе.

Ксенофану, кажется, никогда не досаждали из-за его религиозных взглядов. Он с горечью жалуется на то, что люди предпочитают вымысел философии, что необразованные атлеты вызывают слишком много восхищения в народе, что его, Ксенофана, недостаточно ценят; но о теологической нетерпимости, насколько нам известно, он не говорит ни слова. Легко понять, что быстрому прогрессу греческой спекуляции особенно благоприятствовала такая неограниченная свобода мысли и слова. Только что изложенные взгляды часто рассматривались как шаг к спиритуалистическому монотеизму, и так оно, несомненно, и было, если рассматривать их в свете последующих событий. Но если взглянуть на дело с другой стороны, то можно сказать, что Ксенофан, разрушая идолов народной религии, скорее возвращался в прошлое, чем предвосхищал будущее; он чувствовал, что возвращается к более глубокой, более первобытной вере старой арийской расы или даже того еще более древнего рода, от которого расходились арийцы и туранцы. От блестящего, страстного, непостоянного Дьяуса он обращается к Зену, или Тену, - вечно присутствующему, всевидящему, всеохватывающему, неподвижному небесному своду. Аристотель, с сочувственной проницательностью, к сожалению, слишком редкой в его критике ранних систем, замечает, что Ксенофан не уточнил, было ли абсолютное единство, которому он учил, материальным или идеальным, а просто посмотрел на все небо и объявил, что Единый - это Бог.¹⁵ Аристотель сам был настоящим создателем философского монотеизма, просто потому, что идея живой, самосознающей личности имела для него большую ценность, более глубокий смысл, чем для любого другого мыслителя древности, можно почти сказать, чем для любого другого мыслителя вообще. Поэтому примечательно, что, горячо признавая предвосхищения Анаксагора, он нигде не говорит о Ксенофане как о предшественнике в той же области исследований. Последнего можно было бы назвать пантеистом, если бы не тот факт, что пантеизм относится к гораздо более поздней стадии умозрения, до которой греческий ум не доходил ни в один из периодов своего развития. Его ведущая концепция была затуманена смешением мифологических и чисто физических идей и могла принести полные плоды только тогда, когда религиозный элемент был полностью исключен из ее состава. Это устранение было достигнуто гораздо более великим мыслителем, который сочетал поэтическое вдохновение с философской глубиной; который был достаточно проницателен, чтобы увидеть логические последствия, связанные с фундаментальным принципом мысли, и достаточно смел, чтобы довести их до законных

выводов, не заботясь о том, какой шок для чувства и общего мнения может нанести его безжалостная диалектика.

Парменид из Элеи жил в начале пятого века до н. э. Мы очень мало знаем о его личной истории. Согласно Платону, он посетил Афины в конце жизни и там познакомился с Сократом, в то время еще совсем молодым человеком. Но к неподтвержденному утверждению Платона всегда следует относиться с крайней осторожностью, и эта конкретная история, вероятно, не менее вымышлена, чем диалог, который она вводит. Свою теорию мира Парменид изложил в поэме, наиболее важные отрывки которой сохранились. Они показывают, что, продолжая физические исследования своих предшественников, он придерживался совершенно иного метода. Их целью было вывести все многообразие природных явлений из фундаментального единства субстанции. Он объявил, что все многообразие и изменения - это заблуждение и что не существует ничего, кроме одной неделимой, неизменной, абсолютной реальности; точно так же, как антитеза мысли и протяженности Декарта исчезла в бесконечной субстанции Спинозы, или как кантовский дуализм объекта и субъекта был устранен в абсолютном идеализме Гегеля. И снова Парменид не догматизирует в той же степени, что и его предшественники; он пытается доказать свою теорию неизбежной необходимостью бытия и мышления. Существование, говорит он нам снова и снова, *есть*, а небытие - нет, его нельзя даже представить или помыслить как существующее, ибо мысль - то же самое, что и бытие. Это не предвосхищение гегелевского отождествления бытия с мыслью; это лишь очень невинное утверждение, что мысль есть нечто и о чем-то - входит, таким образом, в общую неразборчивую массу бытия. Далее он доказывает, что сущее не может ни возникнуть в бытии, ни снова выйти из него. Оно не может возникнуть из несуществующего, ибо это немыслимо; не может возникнуть и из существующего, ибо ничто не существует, кроме самого бытия; и тот же аргумент доказывает, что оно не может прекратить свое существование. Здесь мы видим неуничтожимость материи, истину, которую Анаксимандр еще не постиг, фактически подтвержденную впервые в истории. Мы также видим, что наш философ увлечен энтузиазмом нового открытия и занимает больше места, чем может защитить, утверждая неизменность всего сущего. Причина в том, что для него, как и для любого другого мыслителя досократовского периода, все существование было материальным, или, скорее, вся реальность была спутана под одной смутной концепцией, наиболее знакомым типом которой было видимое сопротивление протяженности. Продолжение: Бытие не может быть отделено от бытия, оно не способно ни сгущаться, ни расширяться (как учили ионийцы); нет ничего, что могло бы его отделить или удержать; никогда не бывает больше или меньше сущего, но все полно бытия. Парменид продолжает в своем величественном стиле: - "Поэтому целое простирается непрерывно.

"Поэтому целое простирается непрерывно,

Бытие за бытием, установленное; неподвижное,

подчиняясь могучим законам;

И возрастает, и неразруσιμο",

С тех пор как рождение и смерть забрели далеко

По истинному убеждению в изгнание отправлены;

Одно и то же, в одном и том же месте и само по себе

Пребывая, пребывает прочно,
И ограничено вокруг сильной необходимостью.
Поэтому святой закон запрещает, чтобы бытие
Быть без конца, иначе бы не было нужды,
А недостаток этого был бы недостатком всего "16.

Таким образом, извечная греческая любовь к порядку, определению, ограничению вновь утверждает свое превосходство над интеллектом этого благородного мыслителя, в то время как его почти мистический энтузиазм достиг наивысшей точки возвышения, вернув ему мир, который мысль может измерить, ограничить и контролировать.

Бытие, таким образом, ограничено по объему и, как следствие своей абсолютной однородности, имеет сферическую форму. Есть все основания полагать, что истинная форма Земли была впервые обнаружена в пятом веке до нашей эры, но была ли она подсказана *априорными* теориями Парменида или обобщена им в закон всей Вселенной, или между этими двумя гипотезами существовала более чем случайная связь, мы не можем сказать. Во всяком случае, своей теорией конечной сферической Вселенной Аристотель, вероятно, был обязан не только элеатской системе, но и современной астрономии. Легко заметить, что различие между пространством и материей, столь очевидное для нас и даже для греческих мыслителей более позднего времени, еще не дошло до Парменида. В применении к первой концепции большинство его утверждений совершенно правильны, но его вера в конечность бытия может быть оправдана только при условии, что бытие отождествляется с материей. Ибо следует четко понимать (и Целлеру принадлежит большая заслуга в том, что он доказал этот факт неопровержимыми аргументами)¹⁷, что элеатское Бытие не было ни трансцендентальной концепцией, ни абстрактным единством, как ошибочно полагал Аристотель, ни кантовским нуменоном, ни духовной сущностью какого-либо рода, но феноменальной реальностью самого конкретного описания. Мы не можем назвать Парменида материалистом, потому что материализм подразумевает отрицание спиритуализма, который в его время еще не появился. Он прямо говорит нам, что мысли человека вытекают из строения его тела и определяются преобладающим элементом в его составе. Однако мало что можно сделать из этого зачаточного очерка психологии, связанного, как кажется, с приложением к учению нашего философа, в котором он принимает популярный дуализм, хотя все еще убежден в его ложности, и использует его, протестуя, как объяснение того самого генезиса, который он отверг как невозможный.

Как и следовало ожидать, парменидовские парадоксы вызвали немало возражений и насмешек. Риды и Битти того времени выводили из новой доктрины множество абсурдных следствий и предлагали их в качестве достаточного опровержения ее истинности. Зенон, молодой друг и любимец Парменида, встал на защиту своего учителя и с блестящими диалектическими способностями попытался доказать, что из противоположной веры можно вывести еще более абсурдные следствия. Он создал ряд знаменитых головоломок, касающихся бесконечной делимости материи и возможности движения, которые впоследствии использовались софистами и скептиками в качестве опровержения всякой уверенности и время от времени служили аргументами в пользу агностицизма у писателей нашего времени. В общем виде их можно свести к двум. Целое, состоящее из частей и делимое *ad infinitum*, должно быть либо бесконечно большим, либо бесконечно малым; бесконечно большим, если его части имеют величину, бесконечно малым, если не имеют. Движущееся тело никогда не может прийти к концу данной линии, так как сначала оно

должно пройти половину линии, затем половину оставшейся части, и так до бесконечности. Аристотель считал, что проблему движения можно решить, приняв во внимание бесконечную делимость времени; и Кольридж, по своему обыкновению, повторил это объяснение без признания. Но Зенон отказался бы признать, что любой бесконечный ряд может завершиться, независимо от того, состоит ли он из последовательных или сосуществующих частей. До тех пор пока абстракции нашего понимания рассматриваются как отдельные сущности, эти и подобные им головоломки будут продолжать упражнять изобретательность метафизиков. Наше дело, однако, не решать трудности Зенона, а показать, как они иллюстрируют главную характеристику греческой мысли, ее тенденцию к вечному анализу, тенденцию, не ограниченную философией греков, но пронизывающую всю их литературу и даже искусство. Гомер тщательно выделяет последовательные этапы каждого действия и приводит к каждой катастрофе серию тонко выверенных переходов. Как и Зенон, он придерживается системы дихотомии, быстро проходя первую половину своего сюжета и ослабляя скорость повествования, вдаваясь во все более близкие детали, пока не достигается кульминация. Такая поэма, как "Ахиллес" современных критиков, была бы совершенно непереносима для грека из-за слишком быстрого и равномерного марша его действия. Геродот действует точно так же, продвигаясь от широкого и свободного изложения истории к тщательно продуманным деталям. Так и греческий храм делится на части, столь отчетливые, но столь тесно связанные между собой, что глаз, отделив их, так же легко соединяет в единое целое. Эволюция греческой музыки рассказывает ту же историю постепенного деления на части, которая также иллюстрируется переходом от длинных речей к отдельным строкам, а от них - к полустрокам в диалоге греческой драмы. Ни один другой народ не мог создать математическую демонстрацию, потому что ни у кого другого не хватило бы умения и терпения обнаружить последовательные тождества, заключенные между сторонами уравнения и соединяющие их. Диалектика Сократа и Платона, несколько утомительные различия Аристотеля и, наконец, тонко закрученная серия триад, вставленная Прокломом между сверхсущественным Единым и мимолетным миром чувств, - все это продукты одной и той же фундаментальной тенденции, попеременно то наиболее плодотворной, то наиболее бесплодной в своих результатах. На это можно возразить, что Зенон, отнюдь не подчиняясь этой тенденции, следовал диаметрально противоположному принципу - принципу абсолютно непрерывной преемственности. Верно; но "элеатский Паламед" сражался со своими противниками оружием, вырванным из их собственных рук; отвергая анализ как закон реального существования, он продолжал использовать его как логический прием с большей изощренностью, чем когда-либо проявлялась в чистом умозрении.¹⁸

Кроме Зенона, у Парменида, кажется, был только один известный ученик, Мелисс, саамский государственный деятель и полководец; но в различных модификациях и в сочетании с другими элементами, элеатский абсолют вошел как постоянный фактор в греческую спекуляцию. От него произошли Сфайрос Эмпедокла, вечные атомы Лейциппа, Нус Анаксагора, мегарическое Благо, высшая солнечная идея Платона, самоосмысленная мысль Аристотеля, невозмутимое спокойствие, которое стоики и эпикурейцы приписывали своему образцовому мудрецу, суверенное безразличие скептиков и, наконец, неоплатоническое Единое. Современные философы ищут свой высший идеал в силе, движении, деятельности, жизни, а не в какой-либо неподвижной субстанции; но даже среди них мы находим Гербарта, частично возрождающего элеатскую теорию и противопоставляющего беглые категории Гегеля своим собственным негибким монадам.

Теперь нам предстоит изучить аналогичный, хотя и гораздо менее сложный, антагонизм в Древней Греции и показать, как самый блестящий период ее физической философии возник из сочетания двух, казалось бы, непримиримых систем. Парменид в обращении, которое, как предполагается, Мудрость адресовала своему ученику, предостерегает нас от метода, которого придерживаются "невежественные смертные, слепые, глухие, тупые, запутавшиеся племена, которые считают, что быть и не быть - одно и то же, и что все вещи движутся по перевернутому пути" ¹⁹. То, что Парменид называл вопиющим бредом, его выдающийся современник Гераклит из Эфеса намеренно провозгласил высшей истиной. Этот замечательный мыслитель известен как плачущий философ, потому что, согласно очень глупой традиции, он никогда не выезжал за границу, не проливая слез над глупостями человечества. Отношение Гераклита к своим братьям отличалось не столько сентиментальностью, сколько горьким презрением и негодованием. Мудрец-самоучка, он не испытывал никакого уважения к признанным наставникам Эллады. "Многознание, - говорит он, - не учит уму-разуму, иначе оно научило бы Гесиода и Пифагора, Ксенофана и Гекатея". ²⁰ Гомера, по его мнению, следовало бы выпороть в общественных собраниях, а Архилоха и подавно. Когда самые высокие репутации встречали столь малое милосердие, легко представить, какое презрение он изливал на вульгарное стадо. Чувства высокородного аристократа в сочетании с чувствами возвышенного гения направляют и окрыляют его слова. Многие плохи, а хороших мало. Лучшие выбирают одно вместо всех, вечный источник славы, а многие нагуливают аппетит, как звери. Один человек равен десяти тысячам, если он лучший". Это презрение еще более усиливалось вполне оправданной неспособностью публики понять глубокую мысль, переданную в стиле, известном своей неясностью. Люди не могут постичь вечный закон; когда я объясняю порядок природы, они становятся не мудрее, чем прежде". Что же это за вечный закон, знание которого Гераклиту было так трудно популяризировать? Давайте на мгновение вернемся к более ранним ионийским системам. Они учили, что вселенная возникла либо путем дифференциации, либо путем конденсации и расширения из единой первоматерии, в которую, как считал, по крайней мере, Анаксимандр, все, наконец, вернулось. Гераклит же учил, что это превращение - универсальный, бесконечный, никогда не прекращающийся процесс; что все вещи движутся; что природа подобна потоку, в котором никто не может искупаться дважды; что покой и стабильность - закон не жизни, а смерти. Пифагорейская школа, как мы уже видели, делила все вещи на ряд резко выделяющихся антитетических пар. Гераклит либо прямо отождествлял термины каждой оппозиции, либо рассматривал их как неизбежно сочетающиеся, либо как постоянно переходящие друг в друга. Возможно, наиболее полно мы выразим его смысл, сказав, что он рассматривал бы все три предложения как равнозначные высказывания об одном факте. В соответствии с этим принципом он называет войну отцом, царем и повелителем всего, а молитву Гомера об отмене распрей осуждает как неосознанное богохульство против самой Вселенной. Однако даже его мощный интеллект не мог постичь концепцию изменчивой относительности как закона и жизни вещей, не воплотив ее в конкретном материальном субстрате. Следуя ионийской традиции, он искал мировой элемент и нашел его в том космическом огне, который окутывал земную атмосферу и из которого, как предполагалось, были образованы небесные светила. "Огонь, - говорит эфесский философ, несомненно, приспособивая свой язык к пониманию большого торгового сообщества, - это всеобщее средство обмена, как золото дается за все, а все - за золото". Мир не был создан ни богом, ни человеком, но всегда был, есть и будет вечно живым огнем, периодически разжигаемым и гаснущим. Путем охлаждения и конденсации из огня образуется вода, а из воды - земля; затем, в результате обратного процесса, называемого путем вверх, как и путем вниз, земля снова переходит в воду, а вода - в огонь. По истечении определенных периодов весь мир должен вновь превратиться в огонь, но только для того,

чтобы вступить в новый цикл в череде своих бесконечных оборотов - концепция, до сих пор замечательно подтверждаемая современной наукой. Вся теория, включая будущее мировое пожарище, была впоследствии принята стоиками и, вероятно, оказала значительное влияние на эсхатологию ранней христианской церкви. Воображение вынуждено работать в формах, которые мысль уже вытеснила; и Гераклит как философ предвосхитил ослепительное завершение, на которое он как пророк мог бы смотреть с удивлением и надеждой. Ведь его элементарный огонь был лишь живописным представлением необходимого для него, но не для нас, суверенного закона, по которому все живет, движется и имеет свое бытие. Внесение такой идеи в умозрение было его отличительной и неоценимой заслугой, хотя она могла быть подсказана εἰμαρμένη или судьбой теологических поэтов, термин, иногда используемый в его работах. Оно имело как моральное, так и физическое значение, или, скорее, двусмысленно витало между ними. Солнце не должно преступать свои границы, иначе эринии, помогающие справедливости, обнаружат его". Она - источник человеческих законов, общий разум, связывающий людей воедино, поэтому они должны держаться ее еще более твердо, чем законов государства. Она не только мудра, но и всеблагостна, даже там, где кажется, что все наоборот; ибо наши различия между добром и злом, справедливым и несправедливым исчезают в божественной гармонии природы, в совпадающих энергиях и идентичных преобразованиях ее вселенской жизни.

По мнению Аристотеля, гераклитовская текучесть не соответствовала высшему закону мышления и делала невозможной всякую предикацию. Было показано, что сам мастер признавал неизменный повторяющийся порядок изменений, который можно было утверждать, если не было ничего другого. Но принцип изменений, однажды признанный, действовал как едкий растворитель, слишком мощный для любого сосуда. Вскоре нашлись ученики, которые довели его до крайних последствий, что привело к отмене всякой определенности. Во времена Платона с гераклитянином невозможно было спорить; его никогда нельзя было привязать к определенному утверждению. Любое предложение становилось ложным, как только его произносили, а точнее, еще до того, как оно выходило из уст оратора. В конце концов один из выдающихся учителей школы отказался от словесных обязательств и вел спор исключительно в немом балагане. Наступил опасный спекулятивный кризис. На обоих концах эллинского мира путь научному исследованию был прегражден: с одной стороны, теорией, исключающей небытие из мышления, а с другой - теорией, отождествляющей его с бытием. Светящийся луч отражения был поляризован на два расходящихся луча, каждый из которых был светлым там, где другой был темным, и темным там, где другой был светлым, каждый из которых отрицал то, что утверждал другой, и утверждал то, что отрицал другой. В течение столетия физическая спекуляция учила, что Вселенная образовалась в результате изменения единой вечной субстанции, какой бы она ни была. К концу этого периода в Элее все ставшее было поглощено бытием, а в Эфесе все бытие - становлением. Каждое из этих воззрений содержало в себе часть истины, которая, возможно, никогда не была бы воспринята ясно, если бы не была выдвинута на первый план. Но дальнейший прогресс был невозможен до тех пор, пока две полуправды не были объединены. Мы можем сравнить Парменида и Гераклита с двумя высокими и обрывистыми вершинами по обе стороны альпийского перевала. С каждой из них открывается широкая перспектива, прерываемая только со стороны противоположного соседа. И оплодотворяющий поток европейской мысли не берет начало ни с одной из них в отдельности, но имеет свой источник на полпути между ними.

IV.

Теперь мы вступаем в последний период чисто объективной философии, в век посреднических и примиряющих, но все еще глубоко оригинальных умозрений. Ее главными представителями, с которыми нам предстоит иметь дело, являются Эмпедокл, атомисты, Лейципп и Демокрит, а также Анаксагор. Существуют значительные сомнения и трудности относительно того, в каком порядке их следует расположить. Несомненно, Анаксагор был самым старым, а Демокрит - самым молодым из четырех, разница между их возрастaми составляла сорок лет. Также почти несомненно, что атомисты появились после Эмпедокла. Но если мы примем знаменитое выражение [Аристотеля](#)²¹ буквально (поскольку нет причин, почему его не следует принимать), Анаксагор, хотя и родился раньше Эмпедокла, опубликовал свои взгляды в более поздний период. Был ли он также предвосхищен Лейциппом? Мы не можем сказать с уверенностью, но из сравнения их доктрин кажется вероятным, что он был; и во всех случаях человека, который натурализовал философию в Афинах и который своей теорией творческого разума обеспечивает переход к эпохе субъективных спекуляций, удобнее всего поместить в конце досократовского периода.

Славе Эмпедокла отдали великолепную дань Лукреций, величайший дидактический поэт всех времен, и великий дидактический поэт нашего времени, мистер Мэтью Арнольд. Но еще более восторженный панегирик, произнесенный римским энтузиастом в адрес Эпикура, делает его свидетельство несколько подозрительным, а возвышенные песнопения нашего современника следует воспринимать скорее как выражение его собственных юношеских взглядов на место человека в природе, чем как верное изложение вероучения сицилийского мыслителя. Многие другие имена из истории философии могли бы с большим основанием быть приложены к этому исповеданию покорного и презрительного скептицизма под названием "Эмпедокл на Этне". Настоящие доктрины религиозного учителя вряд ли были бы так сердечно одобрены мистером Суинберном. Но, пожалуй, ни один другой персонаж не мог бы вызвать глубокую симпатию, которую испытывает один поэтический гений к другому, когда у обоих мысль привычно погружена в эмоции. Эмпедокл был последним известным греком, который изложил свою философию в метрической форме. Ни Ксенофан, ни Парменид не сделали этого с таким успехом. Не менее известный критик, чем Аристотель, превозносит гомерическое великолепие его стихов, а Лукреций, являющийся в этом отношении авторитетом, говорит о них как о почти божественных. Но, судя по сохранившимся фрагментам, их умозрительное содержание демонстрирует явный спад по сравнению с высотой, достигнутой его непосредственными предшественниками. Эмпедокл вызывает недоверие к способности человека открыть истину, почти, хотя и не совсем, неизвестную ему. Слишком большая уверенность была бы нечестивой. Он призывает "многоопытную белоруку музу-девственницу".

"Веди от места Благоговения свою светлую машину,

И приведи к нам творения дня",

Что без греха мы можем стремиться познать "[22](#)."

Нам также не хватает в нем их беззаветной преданности философии и строгого единства доктрины. Акрагантинский мудрец был партийным лидером (в этом качестве, к его огромной заслуге, он победоносно отстаивал народное дело), ритором, инженером, врачом и тауматургом. Известная легенда, связанная с его смертью, может быть воспринята как незаслуженная сатира на колоссальное самомнение человека, который при жизни

претендовал на божественные почести. Полумистик и полурационалист, он не сделал ни одной попытки примирить эти две несовместимые стороны своего интеллектуального характера. Его можно сравнить с одной из тех гротескных комбинаций, в которых, согласно его морфологии, головы и тела совершенно разных животных соединялись в зародыше жизни, прежде чем они научились становиться на свои места. Он верил в метемпсихоз и утверждал, что помнит несколько разнородных форм, через которые уже прошла его собственная личность. Он был мальчиком, девочкой, кустом, птицей и рыбой. Тем не менее, как мы увидим далее, его теория природы полностью исключала такое понятие, как отдельное существование души. Теперь нам предстоит рассмотреть, что же на самом деле представляла собой эта теория. Вспомним, что Парменид утверждал неизменность и вечную самотождественность бытия, но он лишил это глубокое предсказание всякой практической ценности, истолковав его в смысле, исключающем разнообразие и изменение. Эмпедокл также объявляет сотворение и разрушение невозможными, но объясняет, что явления, которые так называются, возникают в результате соединения и разделения четырех вечных субстанций - земли, воздуха, огня и воды. Это знаменитое учение о четырех элементах, которое, принятое Платоном и Аристотелем, долгое время считалось последним словом химии и до сих пор сохранилось в народной фразеологии. Возможно, ее автор руководствовался неосознанными размышлениями о характере своего собственного философского метода, ведь не строил ли и он новую систему из элементов, предложенных его предшественниками? Они последовательно выделяли воду, воздух и огонь как первоосновы бытия; он добавил четвертый - землю - и добился своего рода примирения, поставив их все на равную ногу. Любопытно, что прежняя монистическая система имела относительное обоснование, которого не хватало его грубому эклектизму. Вся материя может существовать либо в твердой, либо в жидкой, либо в газообразной форме; и вся твердая материя достигла своего нынешнего состояния после прохождения через две другие степени консистенции. То, что эти три модификации сосуществуют в нашем собственном опыте, - простая случайность нынешнего режима, и перечислять их - значит подменять описание объяснением, что является обычной ошибкой эклектических систем. Однако Эмпедокл, помимо счастливого усовершенствования Парменида, внес реальный вклад в развитие мысли, когда, по выражению Аристотеля, искал движущую и материальную причину; другими словами, когда он спрашивал не только о том, из каких элементов состоит мир, но и о том, какими силами они были собраны вместе. Он рассказывает нам о двух таких причинах - Любви и Раздоре, одна из которых объединяет, а другая разъединяет. Если за этими полумифологическими названиями мы будем читать притягивающие и отталкивающие силы, то результат не будет сильно отличаться от наших современных космологий. Подобные термины, используемые для обозначения существования оккультных качеств материи, разъединяющих или сближающих ее части, на самом деле столь же мифологичны, как и любые плоды эллинской фантазии. В отличие от своих современных антитипов, эмпедоклийские богини не царствовали вместе, а сменяли друг друга в течение длительных периодов времени. Победа Любви была полной, когда все вещи были втянуты в сферу совершенства, очевидно, абсолютного элеатского Бытия, подчиненного гераклитовскому закону изменчивости и противоречий. Ибо Страсть овладевает консолидированной сферой и своим разрушительным действием постепенно сводит ее к бесформенному хаосу, пока, в конце очередного мирового периода, работа творения не начинается снова. Однако рост и распад настолько неразрывно связаны друг с другом, что Эмпедокл не смог соблюсти это идеальное разделение и был вынужден признать одновременную деятельность обеих сил в нашем повседневном опыте, так что природа оказывается состоящей из шести элементов вместо четырех, а воспринимающий ее разум устроен точно таким же образом. Но Любовь, хотя в целом и побеждает, может лишь

постепенно одерживать верх над своим отступающим врагом, и природа, какой мы ее знаем, является результатом их непрерывного конфликта. Эмпедокл описал процесс эволюции, как он его представлял, в несколько мельчайших подробностях. Только два момента представляют для нас большой интерес: его предполагаемое предвосхищение дарвиновской теории и его психология. Первое, в том виде, в каком оно было, иногда приписывают Лукрецию, но римский поэт, скорее всего, копировал Эпикура, хотя в очень кратком изложении физической системы этого философа, сохраненном Диогеном Лаэртием, нет никаких намеков на подобную тему. Однако мы знаем, что во времена Аристотеля теории, идентичной теории Лукреция, придерживались те, кто отвергал телеологическое объяснение мира в целом и живых организмов в частности. Все виды животных возникали спонтанно; выживали лишь те, которые случайно были снабжены приспособлениями для добывания пищи и размножения своего вида. Сама идея зародилась у Эмпедокла, чьи причудливые предположения уже упоминались в другой связи. Скорее всего, он предложил ее не как решение проблем, которые в его время еще не были поставлены, а как иллюстрацию путаницы, которая царила, когда Любовь лишь немного продвинулась в своей упорядочивающей, гармонизирующей, объединяющей задаче. Прантль, писавший за несколько лет до появления книги г-на Дарвина "Происхождение видов" и потому не имевший никаких предубеждений на этот счет, справедливо замечает, что эта теория Эмпедокла имела глубокие корни в мифологических представлениях того времени.²³ Возможно, он искал рационалистическое объяснение кентавров, минотавров, сторуких великанов и т. д., в существование которых он, подобно Лукрецию, не научился полностью не верить. Впоследствии его странное предположение было избавлено от самых худших экстравагантностей; но даже в том виде, в каком оно изложено в "De Rerum Naturâ", оно не имеет права претендовать на звание серьезной гипотезы. Что-либо более непохожее на дарвиновскую доктрину, согласно которой все существующие виды произошли от менее высокоорганизованных предков путем постепенного накопления мельчайших различий, было бы трудно представить. Все мыслители древности, за одним исключением, верили в неизменность природных видов. Они существовали неизменными от вечности или возникли из лона земли в их нынешнем виде путем спонтанного порождения. Одиноким инакомыслящим был Анаксимандр, который предположил, что человек произошел от водного животного.²⁴ Странно сказать, но эта удачная догадка до сих пор не была приведена в качестве аргумента против аскидской родословной. Главным образом враги дарвинизма стремятся найти его предвосхищение у Эмпедокла или Лукреция. Любопытная инверсия традиционализма заключается в том, что современное открытие может быть опровергнуто, если доказать, что кто-то сказал нечто подобное более двух тысяч лет назад. К сожалению, авторитет не имеет того отрицательного значения, чтобы опровергать принципы, которые он поддерживает. Мы должны довольствоваться тем, что принимаем истины, открытые наблюдением и рассуждением, даже рискуя оказаться в унижительном согласии с философом древности.²⁵

Переходя от жизни к разуму, мы находим у Эмпедокла учение еще более выраженного материализма, чем у Парменида, поскольку оно изложено языком более точным. Наши души, по его словам, состоят из элементов, подобных тем, что составляют внешний мир, причем каждый из них воспринимается соответствующей порцией тех же веществ внутри нас: огонь - огнем, вода - водой, и так далее со всеми остальными. Ошибочно полагать, что умозрение начинается с субъективной точки зрения, что люди начинают с ясного осознания собственной личности и продолжают строить объективную вселенную по тому же образцу. Несомненно, они слишком склонны персонифицировать слепые силы природы, и сам

Эмпедокл только что дал нам пример такой тенденции, но они ошибаются еще больше, вчитывая внешний опыт в свою собственную душу, материализуя процессы сознания и превращая человеческую личность в свободную конфедерацию неорганических единиц. Даже Платон, который сделал больше, чем кто-либо другой, для того чтобы провести различие между разумом и телом, закончил тем, что изложил свою психологию в виде астрономической системы. Между тем, отделить восприятие объекта от самого объекта, хотя бы в такой незначительной степени, было важным достижением мысли. Нельзя не упомянуть о гипотезе, с помощью которой Эмпедокл пытался прояснить механизм ощущений и которая впоследствии была принята атомной школой; более того, как будет показано далее, у нас есть основания полагать, что вся атомная теория была разработана на ее основе. Он считал, что эманации постоянно отбрасываются от поверхностей тел и проникают в органы чувств через тонкие проходы или поры. Это может показаться грубым предположением, но, во всяком случае, оно гораздо более научно, чем объяснение Аристотеля. Согласно последнему, возможности ощущений преобразуются в актуальность благодаря присутствию объекта. Другими словами, мы чувствуем, когда и потому что чувствуем; безопасное утверждение, но вряд ли оно дополняет наши позитивные знания о предмете.

Мы видели, как греческая мысль пришла к совершенно справедливому представлению о процессе, посредством которого происходят все физические превращения. Вся протяженная Вселенная - это совокупность тел, а каждое отдельное тело образуется из сочетания вечных элементов и разрушается при их разделении. Но если Эмпедокл был прав, если эти первичные вещества были не чем иным, как огнем, воздухом, водой и землей из повседневного опыта, то что же стало с гераклитовским законом, подтвержденным обычным наблюдением, что, не оставаясь неизменными, они постоянно переходят друг в друга? На этот вопрос атомная теория дала столь убедительный ответ, что, хотя она была проигнорирована или осмеяна более поздними школами, она возродилась вместе с великим возрождением науки в XVI веке, была успешно использована для объяснения всех явлений и до сих пор остается основой всех физических исследований. Волнообразная теория света, закон всемирного тяготения и законы химической комбинации могут быть выражены только в терминах, подразумевающих существование атомов; законы газовой диффузии и термодинамики в целом могут быть поняты только с их помощью; а последние разработки в области химии еще больше утвердили их реальность, а также прояснили их замечательные свойства. В отсутствие достаточной информации трудно определить, какими этапами развивалась эта восхитительная гипотеза. Однако, даже не имея внешних доказательств, мы можем с уверенностью предположить, что рано или поздно какой-нибудь философ, обладающий высокой способностью к обобщению, пришел бы к выводу, что если тела постоянно отбрасывают поток бесконечно малых частиц со своих поверхностей, то они должны быть подобным образом разделены по всей длине; и что если органы чувств испещрены незаметными порами, то такова же может быть и универсальная конституция **материи**²⁶. Согласно Аристотелю, Лейципп, основатель атомизма, действительно использовал второй из этих аргументов, в частности, для доказательства существования неделимых твердых тел.²⁷ Другие соображения, столь же очевидные, предлагались с другой стороны. Если все изменения можно выразить в терминах материи и движения, то постепенные изменения подразумевают наличие движения в интерстиции, что опять же предполагает необходимость наличия мелких пор, служащих каналами для входящих и выходящих молекулярных потоков. Также, как предполагалось, движение любого рода не может быть представлено без вакуума - второго великого постулата атомной теории. Здесь ее сторонники напрямую вступили в спор с Парменидом. Вождь элеатской школы, как мы уже видели, представлял бытие в виде однородной сферы, абсолютно непрерывной, но ограниченной по протяженности. Пространство, отделенное от материи, для него, как

впоследствии для Аристотеля, было несуществующим и невозможным. Оно было, восклицал он, немисливо, нелепо. К несчастью, немисливостъ - это худший отрицательный критерий истины, который когда-либо был изобретен. Его вызов был принят атомистами, которые смело заявили, что если небытие означает пустое пространство, то оно так же мисливо и так же необходимо, как и бытие. Дополнительный стимул, возможно, был получен от пифагорейской школы, чьи доктрины как раз в это время были систематизированы и записаны Филолаем, ее самым выдающимся учеником. Жесткое утверждение, что все вещи созданы из числа, можно объяснить и подтвердить, если интерпретировать целые числа как материальные атомы.

Следует заметить, что до сих пор заслуга зарождения атомизма приписывалась Лейциппу, а не более знаменитому Демокриту, с именем которого его обычно связывают. Эти двое были закадычными друзьями и, похоже, всегда работали вместе в полной гармонии. Но Левкипп, хотя о его жизни почти ничего не известно, был, по-видимому, старшим, и от него, насколько мы можем судить, исходила великая идея, которую его блестящий соратник перенес во все области знаний и изложил в трудах, которые являются потерей как для литературы, так и для науки, поскольку поэтическое великолепие их стиля было не менее замечательным, чем энциклопедический диапазон их содержания. Демокрит родился во фракийском городе Абдера в 470 году до н. э., за год до Сократа, и прожил до глубокой старости - по некоторым данным, более ста лет. Как бы то ни было, он, вероятно, как и большинство его великих соотечественников, обладал огромной жизненной силой. Его ранняя юность прошла в путешествиях по Востоку, и он не мало гордился многочисленными странами, которые посетил, и учеными людьми, с которыми общался. Его время было занято в основном наблюдением за природой и изучением математики; мудрецы Азии и Египта могли познакомить его со многими полезными научными фактами, но мы уже видели, что его философия была почерпнута из чисто эллинских источников. Несколько фрагментов из его многочисленных трудов все еще сохранились - реликвии интеллектуального Озимандиаса. В них вкратце изложены концепции, которые Лукреций, или, по крайней мере, его современные английские переводчики, сделали знакомыми всем образованным мужчинам и женщинам. Все является результатом механической причинности. Бесконечные миры образуются в результате столкновения бесконечных атомов, вечно падающих вниз через бесконечное пространство. Здесь нет места сверхъестественному воздействию, а неосознанные действия природы не маскируются под олимпийскими именами. Демокрит идет еще дальше Эпикура в своем неприятии народной мифологии. Его система не предусматривает межзвездного убежища для отрекшихся богов. Он приписывал явлениям, виденным во сне, некое объективное существование и даже значительное влияние на добро или зло, но отрицал, что они бессмертны. Старая вера в божественную силу возникла благодаря их активности и метеорологическим явлениям тревожного характера, но не имела под собой никакой более прочной основы. Со своей стороны, он рассматривал огненные сферические атомы как универсальную причину или душу мира, не придавая им, однако, того отчетливого и главенствующего положения, которое занимает несколько аналогичный принцип в системе, которую мы сейчас рассмотрим и которой наиболее уместно завершить наш обзор ранней греческой мысли.

V.

Уже были предложены причины, по которым Анаксагор занимает последнее место в ряду физических философов, несмотря на его приоритет по возрасту перед более чем одним из них. Он родился, согласно наиболее достоверным сведениям, в 500 году до н. э. в ионийском городе Клазомены и поселился в Афинах в возрасте двадцати лет. Там он провел большую

часть долгой жизни, иллюстрируя тот тип характера, который Еврипид, явно ссылаясь, как предполагается, на ионийского мудреца, описал в следующих хорических строках:

"Счастлив тот, кто научился
Разгадывать тайну вещей,
Не на зло горожанам,
И не для того, что приносит
Неправедной выгоды.
Но вечный порядок он видит
Природы, которая не может умереть,
И причины, откуда она берется,
И как, и почему.
Никогда еще подобные мысли
На бесчестный поступок не обращались.'²⁸

Бесчестье досталось горожанам, которые в порыве безумного фанатизма изгнали непорочного правдоискателя из его родного дома. Анаксагор был близким спутником Перикла, а Перикл нажил много врагов как своей внутренней, так и внешней политикой. Против него образовалась коалиция ущемленных интересов и оскорбленных предрассудков. Поднялся крик о том, что религия и конституция находятся в опасности. У афинян было слишком много здравого смысла, чтобы уволить своего великого демократического министра, но они позволили политическим противникам прославленного государственного деятеля нанести удар по нему через его друзей.²⁹ Аспасию спасли только слезы ее возлюбленного. Фидий, самый великий, самый одухотворенный художник всех времен, был арестован по обвинению в нечестивости и умер в тюрьме города, храмы которого были украшены нетленными памятниками его религиозного вдохновения. Указ против "астрономов и атеистов" был так явно направлен против Анаксагора, что философ удалился в Лампсак, где и умер в возрасте семидесяти двух лет, вызывая всеобщее восхищение и почитание. В его честь были воздвигнуты алтари, посвященные Разуму и Истине, и на протяжении веков его память продолжали отмечать ежегодным праздником.³⁰ Вся его жизнь была посвящена науке. Когда его спросили, что делает жизнь достойной, он ответил: "Созерцание небес и вселенского космического порядка". Этот ответ был как титульный лист к его работам. Мы видим, что начинается специализация, что позитивные науки отделяются от общих теорий о природе и могут развиваться независимо от них. Отдельный человек мог, правда, сочетать философию наиболее полного типа с детальным исследованием какого-то определенного порядка явлений, но он мог делать это, не связывая эти два занятия непосредственно друг с другом. Так, по-видимому, было и с Анаксагором. Он был профессиональным астрономом, а также автором модифицированной атомной гипотезы. По своей сложности она, скорее всего, была предложена чисто количественной концепцией Лейциппа, чем предшествовала ей в порядке эволюции. Демокрит, а возможно, и его учитель, проводил очень резкое различие между тем, что впоследствии было названо первичными и вторичными качествами материи. Только протяжение и сопротивление имели

реальное существование в природе, в то время как атрибуты, соответствующие нашим особым ощущениям, такие как температура, вкус и цвет, были лишь субъективно, или, как он выражался, условно истинными. Анаксагор не менее решительно, чем его младшие современники, утверждал, что сумма бытия не может ни увеличиваться, ни уменьшаться, что все вещи возникают и погибают путем соединения и деления и что тела образуются из неразрушимых элементов; как и атомисты, он считал эти элементарные вещества бесконечными по количеству и немислимо мельчайшими; только он рассматривал их как качественно отличные и напоминающие в бесконечно малом масштабе высшие соединения, которые они образуют. Не только золото, железо и другие металлы состояли из однородных частиц, но и такие вещества, как плоть, кость и кровь, по его мнению, были одинаково простыми, одинаково разлагаемыми на молекулы, подобные им самим. Таким образом, как хорошо замечает Аристотель, он изменил метод Эмпедокла и учил, что земля, воздух, огонь и вода на самом деле являются самыми сложными из всех тел, поскольку они обеспечивают питание живых тканей, а значит, должны содержать в себе множество разнообразных единиц, из которых складывается индивидуальное органическое вещество.³¹ Более того, наш философ считал, что изначально это смешение было еще более основательным, все возможные качества одновременно присутствовали в мельчайших частицах материи. Возникшее состояние хаотической путаницы длилось до тех пор, пока не пришел Нус, или Разум, и не разделил разнородные элементы путем непрерывного процесса дифференциации, приведшего к нынешнему устройству вещей. И Платон, и Аристотель похвалили Анаксагора за то, что он ввел в умозрение концепцию Разума как космической мироустроительной силы; оба порицали его за то, что он так мало использовал свои собственные великие мысли, приписывая почти все вторичным, материальным, механическим причинам; за то, что не везде применял телеологический метод; фактически, за то, что не предвосхитил Бриджвотерские трактаты и не доказал, что мир устроен по плану совершенной мудрости и добра. Нам повезло меньше, чем афинянам, мы не можем приобрести работу Анаксагора "О природе" в оркестровом книжном киоске за умеренную цену в драхму; но мы знаем достаточно о ее содержании, чтобы исправить несколько мелочную и поверхностную критику школы, возможно, менее сочувствующей, чем мы, методу исследования ее автора. Очевидно, что клазоменский философ не подразумевал под Разумом ни этическую силу, ни силу, способствующую человеческому счастью или добродетели, ни отражающий интеллект, ни конструктора, приспособляющего средства к целям. Судя по всему, Nous не был духом в том смысле, который мы придаем этому понятию или который вкладывал в него Аристотель. По мнению Анаксагора, это тончайшая и чистейшая субстанция, совершенно не смешивающаяся с другими субстанциями и потому способная управлять ими и приводить их в порядок. Люди не так говорят о нематериальном беспредельном сознании. Истина заключается в том, что никакая физическая наука не в состоянии его создать, хотя она и может привести к спиритуалистической философии. Спиритуализм впервые возник из софистического отрицания внешнего мира, из исключительного изучения человека, из сократовского поиска общих определений. Однако если Nous изначально означал интеллект, как он мог утратить это первичное значение и стать отождествленным с простым видом материи? Ответ заключается в том, что Анаксагор, вся жизнь которого прошла в прослеживании порядка природы, инстинктивно думал о своем собственном интеллекте как о различающей, идентифицирующей способности; следовательно, он представлял себе его объективный аналог в виде дифференцирующей и интегрирующей силы. Все предшествующие мыслители представляли свое высшее существо в материальных условиях либо как один элемент в отдельности, либо как совокупность, в которой слиты элементарные различия. Анаксагор отличался от них прежде всего тем, что проводил очень резкое различие между своим информирующим принципом и

остальной природой. Абсолютное смешение качеств, которое он предполагает, имеет очень сильное сходство как со сфайросом Эмпедокла, так и с огненным завершением Гераклита, возможно, даже было предложено ими. Только то, что для них было высшей формой существования, для него становится низшей; мысль все больше и больше утверждает себя и интерпретирует закон эволюции в соответствии со своими настоящими требованиями.

Мир, в котором разум не только возвысился до верховной власти, но и был ревностно огражден от всякого общения с низшими формами существования, означал для народного воображения мир, из которого было удалено божество. Астрономическое учение Анаксагора было вполне рассчитано на то, чтобы усилить небезосновательную тревогу. В основе местной племенной мифологии Афин и Греции в целом лежало более древнее и глубокое поклонение природе, направленное главным образом на те небесные светила, которые так милостиво светили всем людям, и которым все люди отдавали или должны были отдавать благодарное почтение в ответ. *Securus judicat orbis terrarum*. Каждый афинский гражданин от Никия до Стрепсиада почувствовал бы, как его вера укрепляется благодаря такому всеобщему согласию авторитетов. Два поколениями позже Платон придерживался того же убеждения, сурово осуждая его противников, которых он, если бы это было возможно, заставил бы замолчать с помощью самых суровых наказаний. Для Аристотеля небесные тела также были чем-то гораздо более ценным и совершенным, чем все, что находится в нашей подлунной сфере, о чем можно говорить только на языке восторженной и страстной любви. В гораздо более поздний период Марк Аврелий мог называть их видимыми [богами](#)³², а незадолго до окончательного исчезновения язычества высокообразованные люди все еще молча и тайно возносили свои оракулы луне.³³ Судите сами, с каким ужасом ортодоксальная публика восприняла сообщение Анаксагора о том, что луна светит только отраженным светом, что она - земное тело, а ее поверхность пересечена горами и оврагами, к тому же частично застроена. Яркая Селена, царица небес, самая интересная и отзывчивая из богинь, чьи фазы так ярко напоминали течение человеческой жизни, которая, как твердо верили, приносит хорошую погоду при возвращении и уносит ее при уходе, была превращена в холодный, темный, бессмысленный ком.³⁴ Демокрит заметил, что все это давно известно в странах Востока, где он путешествовал.³⁵ Возможно; но отцы семейств не могли бы быть более обеспокоены, если бы это было совершенно новым открытием. Солнце, как им говорили, тоже представляло собой раскаленный камень размером больше Пелопоннеса - несколько громоздкий даже для гомеровского бога. Сократ, как ни мало его волновали физические исследования, принял эту теорию близко к сердцу и попытался показать с помощью ряда различий, что солнечный и огненный жар существенно отличаются друг от друга. Более тупой народ, чем афиняне, вероятно, проявил бы гораздо меньше подозрительности к научным новшествам. Люди, привыкшие предугадывать аргументы оратора еще до того, как они наполовину вылетят из его уст, у которых выбивание неохотных признаний путем перекрестного допроса привычно использовалось как оружие нападения и защиты в государственных судах и практиковалось как игра в частных кругах, которые были постоянно начеку против коварных нападков со стороны внешних и внутренних врагов, имели умы, подготовленные к работе инквизиторского священства. Кроме того, мифология была у афинянина на кончиках пальцев; он привык видеть ее главные происшествия на сцене не только с напряженным реализмом, но и с систематической адаптацией к требованиям обычного опыта и тщательным соединением причин и следствий, что придавало его вере в них всю силу рационального убеждения, сохраняя при этом все очарование сверхъестественного вероучения. Кроме того, конституция Афин, как и конституция любого другого греческого государства, могла быть создана без преданного, самоотверженного сотрудничества ее граждан, а в их сознании чувство долга было неразрывно связано с религиозной верой, основанной, в свою очередь, на мифологических

традициях. Великий поэт сказал, и сказал верно, что Афины "стояли на человеческой воле, как на алмазной оправе", но кристаллизующей силой, придававшей коллективной человеческой воле такую ясность, остроту и стойкость, была вера в защищающее присутствие божественной Воли, при отступлении которой она рассыпалась бы в прах. И наконец, афиняне не обладали гением в области естественных наук; никто из них не выделялся как эрудит. Они смотрели на новые знания так же, как две тысячи лет спустя на них смотрел Свифт. Они считали, что это жалкая пустая трата времени, не приносящая никакой практической пользы, порождающая сомнение у молодых людей и совершенно недостойная внимания ораторов, солдат и государственных деятелей. Перикл, правда, думал иначе, но Перикл был настолько же старше своего возраста, когда говорил о природе с Анаксагором, насколько поручил Аспазии управление своим хозяйством и развлечение гостей.

Эти размышления приводятся не в оправдание, а в объяснение афинской нетерпимости - явления, в остальном не имеющего аналогов в Древней Греции. Нельзя сказать, что люди тогда или когда-либо были логически вынуждены выбирать между атеизмом и суеверием. Если бы вместо того, чтобы использовать *Nous* как полупренебрежительное прозвище клазоменского чужака, ^D его современники потрудились понять, что на самом деле означает *Nous*, они могли бы найти в нем возможность глубокого религиозного значения; они могли бы отождествить его со всем лучшим и чистым в своей собственной богине-хранительнице *Athênê*; признать его основой своих собственных самых характерных достоинств. Но огромные духовные революции не так легко совершить; и когда, по прошествии многих лет, Нус снова был представлен афинскому народу, на этот раз в образе афинского гражданина, он снова был неправильно понят, снова отвергнут и стал поводом для проявления того же гонительского духа, к несчастью, доведенного до более фатальной крайности.

При таких неблагоприятных обстоятельствах философия обрела дом в Афинах. Великая морская столица притягивала к себе все другие виды интеллектуальной элитности, и эта не могла не последовать за остальными. Но философия, хотя до сих пор и отождествлялась с математическими и физическими науками, хранила в себе неисчерпаемые возможности для развития. Согласно известной легенде, Фалес однажды упал в аквариум, когда был поглощен созерцанием звезд. Старуха посоветовала ему в будущем смотреть на цистерну, потому что там он увидит не только воду, но и звезды. Другие люди после него попадали в подобные затруднения и могли пытаться избежать их с помощью аналогичных ухищрений. Занимаясь изучением космической эволюции, они незаметно для себя наткнулись на недоуменные умственные проблемы. Почему чувства подсказывают убеждения, так сильно расходящиеся с теми, к которым приходят путем абстрактного рассуждения? Почему разум должен быть более надежным, чем чувства? Почему самые выдающиеся эллинские мыслители так безнадежно расходятся во мнениях? Что является критерием истины? Что толку в выводах, которые не могут получить всеобщего одобрения? Или, если допустить, что истина может быть обнаружена, как ее можно донести до других? Таковы некоторые из вопросов, которые теперь стали настоятельно требовать решения. Я искал сам", - сказал Гераклит в своем прорицательском стиле. Его преемники должны были делать еще больше - искать не только себя, но и других; с глубокой проницательностью изучать убеждения, привычки и склонности своих слушателей, чтобы добиться признания уроков, которые они стремились передать. И если систематическое исследование человеческой природы начиналось, оно не могло ограничиться простым анализом интеллектуальных способностей; ведь то, что человек делал, было гораздо важнее того, что он знал, и, по правде говоря, только это придавало его знаниям какую-либо практическую ценность. Нравственные различия тоже начинали становиться неопределенными. Когда все другие традиционные

верования были потрясены до основания, когда людей научили сомневаться в свидетельствах собственных чувств, не стоило ожидать, что общепринятые законы поведения, ни разу не отличавшиеся точностью и последовательностью, будут по-прежнему приниматься на веру в силу древнего обычая. Таким образом, всевозможные определяющие влияния, внутренние и внешние, сговорились отклонить философию от пути, по которому она шла до сих пор, и превратить ее из объективного, теоретического исследования в интроспективную, диалектическую, практическую дисциплину.

VI.

И теперь, оглядываясь на весь ход ранней греческой мысли, представляющей собой постепенное развитие и органическое единство, которые доказывают, что она является действительно самобытным ростом, спонтанным продуктом греческого ума, давайте сделаем еще один шаг вперед и спросим, не было ли до рождения чистой спекуляции, или параллельно с ней, но помимо ее зачаточных усилий, определенных тенденций, проявляющихся в других великих областях интеллектуальной деятельности, фиксированных форм, в которых эллинский гений был вынужден работать, которые воспроизводят себя в философии и определяют ее отличительные характеристики. Хотя материалы для полной греческой этологии уже не сохранились, можно показать, что такие тенденции действительно существовали.

Известный факт, впервые выявленный Лессингом и обобщенный им в закон всех хороших литературных произведений, заключается в том, что Гомер всегда переводит свои описания в повествовательную форму. Нам не говорят, во что был одет герой, а рассказывают, как он надел доспехи; когда внимание привлекается к какому-либо предмету, мы знакомимся с его происхождением и историей; даже рельефы на щитах наполнены жизнью и движением. К такому методу Гомера подтолкнули не сознательные размышления и не глубокий поэтический инстинкт. На определенном этапе интеллектуального развития каждому греку было бы гораздо легче расположить данные опыта в последовательном, а не в современном порядке; одно фиксировано, другое допускает неопределенные вариации. Живописное и пластическое искусство также начинается с серийных представлений и лишь значительно позже приходит к созданию больших централизованных групп. Далее мы должны заметить, что, хотя греческая рефлексия сначала следовала порядку времени, она обратилась по преимуществу не к настоящему или будущему, а к прошлому времени. Ничто в эллинской литературе не напоминает нам о древнееврейских пророчествах. Для грека всякое отчетливое предвидение сливалось с мраком грядущей смерти или славой ожидаемой славы. Разумеется, при каждом великом кризисе национальной судьбы среди пошлых людей возникало любопытство, как будут развиваться события; но благороднейшие умы старательно препятствовали этому. Геродот и Софокл рассматривают даже божественные предсказания как намеренно двусмысленные и вводящие в заблуждение. Пиндар часто останавливается на безнадежной неопределенности жизни.³⁵ Фукидид считает все вативации совершенно иллюзорными. Поэтому, когда вера в отдельное существование души впервые получила признание среди греков, она интересовала их не столько как залог бесконечной жизни и прогресса в будущем, сколько как возможное откровение о прошлой истории, о чудесных приключениях, через которые прошел каждый человек, прежде чем принять свою нынешнюю форму. Отсюда особая сила поздравления Пиндара, обращенного к участнику Элевсинских мистерий: после смерти он знает не только "конец жизни", но и "ее богом данное начало".³⁶ Даже настоящее было непонятно, пока оно не было спроецировано в прошлое или истолковано в свете древних сказаний. Сафо в своей знаменитой оде Афродите вспоминает случаи бывшей страсти, в точности схожей с безответной любовью,

которая сейчас будоражит ее сердце, и подробно описывает, как богиня тогда пришла ей на помощь, как сейчас умоляет ее прийти снова. Современные критики говорят об этом любопытном литературном приеме как о признаке деликатности и сдержанности. Мы можем быть уверены, что Сапфо были чужды подобные чувства; она загоняла свои мысли в заранее заданную форму, как пчела собирает свой воск в шестиугольные ячейки. Куртиус, немецкий историк, предположил, что вся легенда о Трое обязана своим происхождением этой привычке отбрасывать современные события в далекое прошлое. По его мнению, персонажи и сцены, описанные Гомером, хотя и неисторические в их нынешнем виде, действительно имели место в ахейской колонизации Малой Азии.³⁷ Но, помимо замаскированных аллюзий, старые истории обладали неистощимым очарованием для греческого воображения. Даже во время бурных событий Пелопоннесской войны пожилые афинские граждане в часы отдыха говорили только о мифологии.³⁸ Когда умение читать распространилось повсеместно, а книги можно было приобрести по умеренной цене, древние легенды, похоже, стали любимой литературой низших классов, как и среди нас во времена Кэкстона. Еще более вероятно, что тот же вкус преобладал столетием раньше. Студент, впервые открывающий эпиникийские оды Пиндара, с удивлением обнаруживает, что в них так мало говорится о победителях и битвах, в которых они участвовали, так много о мифических приключениях, казалось бы, не имеющих отношения к основной теме поэмы. Более того, мы обнаруживаем, что генеалогии были той основой, на которой держались эти далекие воспоминания. Большинство знатных семей вели свое происхождение от бога или богоподобного героя. Весь промежуток, отделяющий исторический период от героической эпохи, был заполнен более или менее вымышленными родословными. Родословная человека была важнейшей частью его биографии. Вполне вероятно, что Геродот испытывал такое же восторженное восхищение, какое мы можем испытывать к Леониду. Однако можно предположить, что историк более позднего времени выразил бы свою признательность спартанскому царю совсем по-другому. Нам должны были бы рассказать о внешности героя и, возможно, привести несколько характерных эпизодов из его ранней карьеры. С Геродотом все не так. Он делает паузу в рассказе о Фермопилах, чтобы изложить нам генеалогию Леонида вплоть до Геракла; не больше и не меньше. Это был высший комплимент, который он мог сделать, и он повторил его для Павсания, победителя при Платее.³⁹ Генеалогический метод был способен к широкому распространению и мог применяться не только к человеческим или животным отношениям. Теогония Гесиода - это генеалогия неба и земли и всего, что в них есть. Согласно Эсхилу, корысть порождается корыстью, бойня - бойней, горе - горем. Наглость рождает подобное себе дитя, а оно, в свою очередь, еще более роковое потомство.⁴⁰ Тот же поэт заканчивает свое перечисление пламенных сигналов, которые несли весть о победе из Трои в Аргос, описанием последнего маяка как "не облагороженного идаевским огнем".⁴¹ Теперь, когда греческий гений начинал двигаться в каком-либо направлении, он мчался вперед без остановки, пока не упирался в непроходимый предел, а затем поворачивал назад, чтобы на досуге пройти весь промежуток, отделяющий этот предел от точки отправления. Таким образом, восходящие линии предков следовали вверх, пока не приводили к общему для всех отцу; каждая серия возмущений прослеживалась через последовательные репрессии к первоначальному преступлению; и в целом каждое событие связывалось с предшествующим, пока вся цепочка не была привязана к конечной самосуществующей причине. Поэтому записи о происхождении, изобретении, спонтанности долго искали с жадностью, которая отбрасывала в тень почти все другие интересы. Слава изобретателю, - поет Пиндар в своем обращении к победоносному Коринфу, - откуда взялись милости дифирамбического гимна, кто первым установил двуглавого орла на храмах богов? "⁴² В "Прометее" Эсхила рассказывается, как началась цивилизация, а трилогия, к которой он принадлежит, вероятно, была призвана

показать, как впервые было установлено и закреплено верховенство Зевса. Большая часть "Агамемнона" посвящена событиям, которые произошли задолго до начала драмы, но связаны как конечные причины с ужасной катастрофой, которую она представляет. В "Эвменидах" мы видим, как семья в ее нынешнем виде была впервые создана путем замены отцовского главенства материнским, как в Афинах было впервые введено поклонение богиням-мстительницам, а также как был основан трибунал ареопагитов. Вполне вероятно, что самое раннее произведение Софокла, "Триптолем", представляло зарождение земледелия в драматической форме; и если более поздние произведения того же поэта, как и все произведения Еврипида, стоят на совершенно иной почве, занятые темами, представляющими современный или, скорее, вечный интерес, мы должны рассматривать это как доказательство того, что все течение греческой мысли приняло новое направление, соответствующее тому, которое одновременно было навязано философии Сократом и софистами. Далее мы можем отметить, что Эгинетские скульптуры, выполненные вскоре после Саламины, хотя, очевидно, предназначены для празднования этой победы, представляют собой конфликт, который задолго до этого вели герои-покровители Эгины против азиатского врага. В нашем Британском музее мы также можем увидеть, как рождение Афины было запечатлено в мраморной группе на одном фронте Парфенона, а основание избранного ею города - на другом. Сам храм, который когда-то украшали эти величественные скульптуры, был окаменевшим мемориалом древности и по одной лишь форме своей архитектуры должен был возвращать людей к самому раннему эллинскому жилищу - простому строению, в котором двускатная крыша поддерживалась поперечными балками на ряде вертикальных деревянных столбов.

Возвращаясь от искусства и литературы к философии, разве не ясно, что если греки вообще рассуждали, то сначала они должны были рассуждать в соответствии с каким-то методом, который, как показывает история, они применяли на практике? Они должны были начать с того, что, как Фалес и его преемники, направить свои мысли на далекое прошлое мира; они должны были искать первую причину вещей и представлять ее не как какую-то духовную силу, а как своего рода естественного предка, однородного с формами, которые от него произошли, хотя и более великого и всеобъемлющего, чем они; короче говоря, как элементарное тело - воду, воздух, огонь, или, более туманно, как бесконечную субстанцию. Не напоминало ли постоянное соединение причины и следствия разворачивание героической генеалогии? И разве поглощение каждого отдельного существования большим целым не переводит в более общие понятия то подчинение личного семейной и гражданской славе, которое является диапазоном музыки Пиндара?

Но и это еще не все. Прежде чем приступить к философии, греки мыслили не только в порядке времени; очень рано они научились мыслить и в порядке пространства, и их любимая идея предела здесь особенно заметна. Географические представления Гомера, какими бы ошибочными они ни были, для его эпохи необычайно четко определены. Эсхил обладает обширными знаниями о земной поверхности и демонстрирует их, возможно, с излишней готовностью. Пиндар с удовольствием следит за путешествиями своих мифологических героев. Та же тенденция нашла еще более свободное применение, когда началась прозаическая литература. Гекатей, один из самых ранних прозаиков, был великим и как генеалог, и как географ; в этом отношении Геродот также осуществил в большом масштабе запросы, наиболее привычные для его соотечественников. Следует помнить, что мы уже имели случай охарактеризовать ранние ионийские спекуляции как в значительной степени космографию. Элемент, из которого она выводила все вещи, был, по сути, тем, что

должно было лежать за пределами и охватывать все остальное. Географический предел мыслился как генеалогический предок. Таким образом, исследования, которые такие люди, как Гекатей, проводили по отдельности, были объединены, или, скорее, спутаны, в одно смелое обобщение Анаксименом и Гераклитом.

И все же, как бы много ни объясняли эти соображения, они все равно оставляют что-то необъяснимым. Почему один мыслитель за другим так безоговорочно полагал, что порядок природы, каким мы его знаем, возник не просто из другого, а из прямо противоположного состояния, из всеобщего смятения и хаоса? Их опыт был слишком ограничен, чтобы рассказать им что-либо о тех огромных космических изменениях, которые, как мы знаем по неопровержимым свидетельствам, уже произошли и готовятся вновь. Ответить на этот вопрос можно, лишь рассмотрев то, что можно назвать негативным моментом греческой мысли. Наука о противоположностях едина, говорит Аристотель, и она, безусловно, была таковой для его соотечественников. Они не только с удовольствием совмещали крайности благополучия и несчастья, гордости и унижения, безопасности и катастрофы, но и все, что они больше всего любили и за что цеплялись в реальности, казалось, сильнее всего интересовало их воображение своим удалением, обращением вспять или низвержением. Афиняне были особенно нетерпимы к царскому правлению и женскому вмешательству в политику. В афинской трагедии главными действующими лицами являются цари и царственные дамы. Афинские матроны занимали положение исключительного достоинства и уединения. Их выводят на комическую сцену, чтобы подвергнуть самым грубым насмешкам, а также чтобы они решающим образом вмешивались в ведение государственных дел. Аристофан сам был глубоко религиозен и писал для народа, чья религия, как мы видели, была доведена до крайнего фанатизма. Однако к богам он проявляет так же мало уважения, как к женам и сестрам своих слушателей. Если взять более общий пример, то вся греческая трагическая драма основана на идее семейного родства, и этот институт был наиболее интересен греческим зрителям нарушением его вечных святынь, противоестественной ненавистью и еще более противоестественной любовью; или роковым заблуждением, которое заставляет руки невинных людей, особенно нежных женщин, вооружаться против своих самых близких и дорогих родственников в полном бессознательном понимании ужасной вины, которую они должны понести. Распространив тот же психологический закон на абстрактные рассуждения, мы можем понять, как ранний греческий философ, рассматривавший природу как космос, упорядоченное целое, состоящее из различных, но связанных и взаимозависимых частей, не мог правильно понять такую концепцию, пока не заменил ее на прямо противоположную, из которой он восстановил ее в процессе постепенной эволюции. И если спросить, как он пришел к идее космоса, мы ответим, что он нашел ее в греческой жизни, в обществах, отличающихся многогранным, но гармоничным развитием одновременных функций и добровольным повиновением безличному закону. Таким образом, круг завершен; мы вернулись к исходной точке и снова видим в греческой философии систематизированное выражение греческого национального гения.

Теперь мы должны завершить это длинное и сложное, но, как мы надеемся, небезынтересное исследование. Мы сопровождали философию до того момента, когда она вступает на новое поле и охватывает темы, достаточно важные, чтобы стать предметом отдельной главы. Вклад, внесенный первыми ее культиваторами в наше позитивное знание, уже был обобщен. Остается упомянуть, что в их рассуждениях не было ничего по-настоящему трансцендентного. Как бы мы ни относились к этому ужасному жуку, Непознаваемому, они не вторгались в его пределы. Гераклит и его соратники, хотя и проникли далеко за горизонт своей эпохи и страны, держались почти в пределах возможного опыта. Они спутали

некоторые понятия, которые мы научились различать, и разделили другие, которые мы научились объединять; но они были родоначальниками нашей высочайшей научной мысли; и они впервые проложили путь, по которому мы должны продолжать двигаться, если не хотим, чтобы завоеванный ими космос снова погрузился в хаос и тьму.

ГЛАВА II. ГРЕЧЕСКИЕ ГУМАНИСТЫ: ПРИРОДА И ЗАКОН.

I.

В предыдущей главе мы проследили развитие и прогресс физической философии у древних греков. Мы показали, как несколько великих мыслителей, поддерживаемых беспрецедентным развитием интеллектуальной деятельности, разработали идеи относительно порядка природы и строения материи, которые, спустя более двух тысяч лет, все еще остаются такими же свежими и плодотворными, как и прежде; и мы обнаружили, что, достигая этих результатов, греческая мысль сама определялась очевидными законами. Управляя художественным воображением или проникая в объективную истину вещей, она всегда оставалась по сути однородной и работала в одних и тех же формах обхода, анализа и противопоставления. Она начинала с внешней природы и с далекого прошлого; она и не могла начать иначе, ибо только так можно было достичь предметов ее последующих размышлений. Только после того, как менее священные верования были поколеблены, этические догмы могли быть подвергнуты сомнению. Только когда расхождения во мнениях бросаются человеку в глаза, возникает потребность в организующей логике. А взгляд разума, изначально направленный только на далекие объекты, должен быть постепенно ограничен давлением накопленного опыта, прежде чем он сможет переключиться с прошлого на настоящее, с последовательных на современные явления. Теперь нам предстоит не менее интересная задача - показать, как новая культура, новые концепции, новая сила мышления, полученные благодаря этим самым ранним спекуляциям, отреагировали на жизнь, из которой они возникли, изменив моральные, религиозные и политические верования Эллады, и подготовили, как ничто другое не могло подготовить, более масштабную революцию, которая придала новое достоинство существованию и заменила, пусть в несовершенной форме, поклонение животным, лежащим ниже человека, поклонением идеалу, который возвышается над ним, но лишь олицетворяет лучшие элементы его собственной природы, а потому возможен для реализации совершенным человечеством.

Хотя большинство образованных людей признают, что греки - наши мастера в науке и литературе, в политике и искусстве, некоторые даже из тех, кто свободен от теологических предрассудков, не будут готовы признать, что принципы, которыми мы руководствуемся в своем поведении, являются лишь более широким расширением или более конкретным применением греческого этического учения. Гебраизм противопоставляется эллинизму как воспитательная сила, из которой проистекает наша любовь к праведности и которая одна не позволяет нечестивым оргиям первобытного поклонения природе все еще праздноваться посреди нашей современной цивилизации. Многие считают, что древнеримская религия воплощает в себе чувство долга, более высокое, чем то, которое завещала нам Греция.

Греки, действительно, серьезно пострадали от собственной искренности. Их литература - это идеальный образ их жизни, отражающий каждое пятно и каждый недостаток, неприкрытый, не закрашенный, не замаскированный. К счастью, она никогда не подвергалась ревизии со стороны ревнивого священства, стремящегося устранить каждый симптом, несовместимый с гипотезой о господстве, осуществляемом ими самими на протяжении всего прошлого. Их история также не подвергалась систематической фальсификации, чтобы доказать, что они никогда не нападали на соседей по ошибке и неизменно были вынуждены завоевывать их в порядке самообороны. И все же, даже принимая записи в их нынешнем виде, именно в греческих, а не в еврейских или римских летописях мы должны искать примеры истинной добродетели; и в греческой литературе раньше, чем в любой другой, появляются заповеди, подобные тем, которые сегодня считаются наиболее характерными истинными для христианской этики. Давайте никогда не забывать, что только благодаря стоическому учению узкий и жестокий формализм древнеримского права был возведен в "писанный разум" имперских юристов; только после последовательного проникновения греческой мысли этнический монотеизм Иудеи превратился в космополитическую религию. Наши популярные богословы готовы признать, что эллинизм был провиденциальным средством для распространения христианства по всему миру; они игнорируют тот факт, что он дал новой вере не только крылья, чтобы летать, но и глаза, чтобы видеть, и душу, чтобы любить. С самых ранних времен в Элладе существовала интуиция человечности, которая нуждалась лишь в диалектическом развитии, чтобы стать вседостаточным законом жизни. Гомер горячо сочувствует своим соотечественникам, но никогда не очерняет их врагов. Он, как и любой грек, не придумывает нечистых легенд, объясняющих происхождение враждебных племен, от родства которых невозможно отречься; в отличие от Самуила, он относится к жертвоприношению пленников с нескрываемым отвращением. Что сказал бы он, чей Одиссей не позволил бы кричать о триумфе над павшими, на ликование Деборы по поводу убийства податливого беглеца? Мужество, действительно, было для него высшей добродетелью, и греческая литература изобилует боевыми духами, но почти всегда этот энтузиазм вызывается необходимостью самозащиты; у Пиндара и Симонида, у Эсхила и Софокла мы с такой гордостью вспоминаем сопротивление захватчику; и победы, которые делают греческую историю такой славной, были одержаны в борьбе за отражение несправедливой агрессии, совершенной либо варварами, либо государством-тираном среди самих греков. Был, как будет показано далее, несчастный период, когда право либо отрицалось, либо, что одно и то же, отождествлялось с силой; но этот оскорбительный парадокс лишь способствовал пробуждению истинной морали к более яркому самосознанию, к ощущению необходимости найти для себя более прочную основу, чем обычаи и традиции, более высокую санкцию, чем мог дать простой мирской успех. Самый универсальный принцип справедливости - относиться к другим так, как мы хотели бы, чтобы относились к нам, - кажется, еще до времен рабби Гиллеля стал почти общим местом греческой [этики](#)⁴³; трудности, оставшиеся неразрешенными в Книге Иова, были подняты на более высокий уровень греческой философией; и задолго до святого Павла некий Платон рассуждал о праведности, воздержании и грядущем суде.

Никто не станет отрицать, что жизнь греков была запятнана пороками и что их теория иногда опускалась до уровня их практики. Никто из тех, кто верит, что моральная истина, как и всякая истина, открывалась постепенно, не станет удивляться этому явлению. Если нравственное поведение является функцией социальной жизни, то, как и другие функции, оно подвержено не только росту, но и болезням и упадку. Интенсивное и быстрое интеллектуальное развитие может иметь своим условием совершенно ненормальное

состояние общества, где некоторые пороки, неизвестные более грубым эпохам, возникают и расцветают с особой пышностью. Когда мужчинам приходится брать с собой женщин на каждый новый путь исследований, прогресс значительно замедляется, хотя в конечном итоге его блага будут распределены между большим количеством людей, и он будет лучше защищен от опасности бурной реакции. Но работа, которую поручили Элладе, не могла ждать; она должна была быть выполнена за несколько поколений или не выполнена вовсе. Варвары наседали со всех сторон, и не только тяжестью вторгшихся армий, но и более смертоносным давлением оупляющего суеверия, грубого поклонения Египту и дьяволопоклонничества Финикии, их бредовыми оргиями, их увечьями, их распятиями и гладиаторскими состязаниями. Уже в поздних драмах Еврипида и в родосской школе скульптуры мы видим приближающуюся ужасную тень и чувствуем на лице ядовитое дыхание Азии. Разум, тот разум, с помощью которого эти ужасы навсегда изгнаны, мог достичь зрелости только под влиянием свободных и непрерывных дискуссий, которые вели мужчины между собой в гимназии, на агоре, в экклесии и дикастерии. Возникшее и неизбежное разделение полов породило страшные расстройства, которые при всех сменах вероисповеданий, как моральный язвенник, прилипли к берегам Эгейского моря и способствовали усложнению политических проблем, присоединяя к религиозной ненависти еще более острую враждебность физического отвращения. Но как бы ни были испорчены греческие чувства, греческая философия была способна очистить их. Следование природе" стало девизом одной школы за другой; и заповедь, которая вначале могла означать лишь то, что человек не должен опускаться ниже животных, в конце концов была истолкована так, что подразумевала абсолютный контроль чувств разумом. Ни один более возвышенный стандарт сексуальной чистоты никогда не прививался, чем тот, который установил Платон в своей последней работе, "Законах". Исократ требует, чтобы мужья подавали пример супружеской верности своим женам. Сократ уже провозгласил, что добродетель одинакова для обоих полов. Ксенофонт интересуется воспитанием женщин. Платон давал им такое же воспитание и повсеместно связывал их с теми же функциями, что и мужчин. Столь же решительных доказательств теоретической оппозиции рабству нет, и мы знаем, что оно, к сожалению, санкционировалось Платоном и Аристотелем, которые в этом отношении были не более вдохновлены, чем ранние христиане; тем не менее, зародыш такой оппозиции существовал, и в дальнейшем на это будет указано.

Говорят, что греки поклонялись только красоте; что они культивировали мораль с эстетической стороны; что добродетель была для них вопросом не долга, а вкуса. В поддержку этого суждения можно привести несколько очень убедительных текстов. Например, Исократ в своем восхвалении Елены говорит: "Красота - первая из всех вещей по величии, чести и божественности. Легко видеть ее силу: есть много вещей, не имеющих доли мужества, или мудрости, или справедливости, которые, тем не менее, будут почитаться выше вещей, имеющих каждую из них, но ничто, лишенное красоты, не ценится; презираются все вещи, не получившие своей доли этого атрибута; восхищение добродетелью сводится к тому, что из всех проявлений жизни добродетель - самая прекрасная"⁴⁴, а Аристотель выделяет высшее мужество как готовность умереть за καλόν. Так и Платон описывает философию как любовь, "которая ведет человека от справедливых форм к справедливой практике, а от справедливой практики - к справедливым понятиям, пока от справедливых понятий он не приходит к понятию абсолютной красоты и не познает наконец, в чем суть красоты. И это та жизнь, превосходящая все другие, которую человек должен прожить в созерцании абсолютной красоты".⁴⁵ Прежде всего, мы должны заметить, что, хотя красоте поклонялись многие другие, никто не представлял ее в форме, столь достойной поклонения, как греки. Красота у них не была ни маленькой, ни хрупкой, ни сладострастной; душевные силы не расслаблялись, а возвышались при ее созерцании; в ней

присутствовал элемент строгого и властного достоинства. Аргивская Гера, хотя и явленная нам лишь в смягченной итальянской копии, имеет в своем лике больше божественности, чем любая из Мадонн; а мелийская Афродита отличается величию форм не меньше, чем чистотой и сладостью выражения. Эта красота была безоговорочной информацией материи разумом, видимым воплощением абсолютной силы, мудрости и благодати. Поэтому то, что греческий червь отгрузил, было вечной и непрестанной энергией разума; но он забыл, что красота может существовать только как сочетание духа с чувством; и, отделив высший элемент, он продолжал называть его именами и облекать в атрибуты, присущие только его земным проявлениям. Однако такое расширение эстетических чувств не повлекло за собой ослабления нравственных устоев. Служение, объединяющее все идеализмы в одном, требовало самоотверженности кропотливой подготовки и сдержанности постепенного достижения. Те, кто так высоко ставил цель своего стремления, знали, что пути, ведущие к ней, неровны, круты и длинны; они чувствовали, что совершенное мастерство и совершенный вкус, будучи в высшей степени драгоценными, должны быть в высшей степени трудными; χαλεπὰ τὰ καλὰ, говорили они, прекрасное трудно оценить, трудно завоевать и трудно сохранить. Тот, кто прошел через эту суровую дисциплину, не должен трепетать ни перед какой другой задачей; и долгу нечего бояться общения, чьи конечные требования совпадают с ее собственными, и отказ от которого ради безрадостного аскетизма может привести лишь к повторному появлению в качестве армии вторжения сил, которые следовало бы беречь как незаменимых союзников.

Можно возразить, что красота, как бы ни была трудна в достижении или сурова по форме, в конце концов, по сути своей поверхностна; и что мораль, разработанная на тех же принципах, будет столь же поверхностна - по сути, это будет не более чем искусство поддерживать видимость, демонстрировать прекрасные чувства, избегать тех действий, последствия которых сразу же ощущаются как неприятные, и, прежде всего, не ранить без необходимости чью-либо чувствительность. Такая имитация морали, которую было бы ошибкой называть лицемерием, несомненно, была достаточно распространена среди всех цивилизованных народов; но нет никаких оснований полагать, что обстоятельства греческой жизни каким-либо образом благоприятствовали ей. Есть даже свидетельства противоположной тенденции, чего, собственно, и следовало ожидать от народа, чьи важнейшие состояния были спасены от развращающего влияния двора. Там, где сочувственное восхищение неглупых и возбудимых зрителей является тем эффектом, к которому стремятся в первую очередь, показательные добродетели будут предпочтительнее прочных, а видимость - реальности всех добродетелей; а блестящим и популярным качествам будет позволено искупать самые жестокие преступления. Но среди греков лучших времен мужество и щедрость стоят явно ниже, чем воздержанность и справедливость; их поэты и моралисты одинаково прививают предпочтение сути перед показухой; и ни в одном случае, насколько мы можем судить, они, как это часто делают современные народы, ради великих достижений не потворствовали великим злодеяниям. О греке говорили, что он хочет не казаться, а быть справедливым.⁴⁶ Мы следуем мнению самих греков, предпочитая Леонида Павсанию, Аристеиду - Фемистокла, а Сократа - Алкивиада. И нам достаточно сравнить Эпаминондаса с Давидом или Перикла с Соломоном как национальных героев, чтобы сразу понять, насколько эти два грека ближе к нашему собственному стандарту совершенства, и насколько бесполезны обвинения, которые иногда выдвигаются против тех, от чьих традиций мы унаследовали их величественную и чистую славу.

Более того, нам не нужно рассматривать средний уровень чувств и практики греков; мы должны изучить то, что имело значение только для тех рас, которые находились под их обучением, и это - высшее моральное суждение, до которого они поднялись. Так вот,

осознанный вердикт их философии относительно соотношения красоты и добродетели содержится в следующем отрывке из "Законов" Платона: "Когда кто-либо предпочитает красоту добродетели, то...

Когда кто-либо предпочитает красоту добродетели, что это такое, как не настоящее и полное бесчестие души? Ибо такое предпочтение подразумевает, что тело более почетно, чем душа; а это неверно, ибо нет ничего в земном рождении, что было бы более почетным, чем небесное, и тот, кто думает о душе иначе, даже не представляет, как сильно он недооценивает это чудесное владение "⁴⁷.

II.

Вот и все о существующих предрассудках, которые, казалось бы, могут помешать благоприятному рассмотрению нашего предмета. Далее нам предстоит изучить условия, которыми изначально определялась форма греческой этической философии. На первом месте среди них должны стоять моральные представления, существовавшие задолго до начала систематических размышлений. О том, какими они были, можно отчасти судить по некоторым мудрым изречениям, которые сами греки приписывали своим семи мудрецам, но, вероятно, они существовали в гораздо более ранний период. Суть этих изречений, взятых в совокупности, заключается в рекомендации качеств, которые наш философский поэт приписывает своей идеальной женщине: - "Разум твердый, воздержанный.

"Разум твердый, воля умеренная,

Выносливость, прозорливость, сила и мастерство".

Можно сказать почти так же кратко, что они прививают полную независимость как от собственных страстей, так и от внешних обстоятельств, с соответствующим уважением к независимости других, которая должна проявляться в использовании убеждения, а не силы. Их тон, возможно, лучше всего понять по контрасту с тем сборником древнееврейских притч, который дошел до нас под именем Соломона, но который библейские критики относят к более позднему периоду и разделенному авторству. В то время как эти притчи регулярно выдвигают материальное благополучие в качестве главного мотива хорошего поведения, эллинская мудрость учит безразличию к колебаниям судьбы. Для грека "сила, которая делает праведным", отнюдь не была "не нами самими", а нашим истинным "я", дальновидным разумом, который должен предохранять нас от восторгов и уныния, от страстей и удивления. Вместо того чтобы предлагать старость в качестве награды, нам говорят, чтобы мы были одинаково готовы и к долгой, и к короткой жизни.

Перед всеми остальными выделяются две заповеди, которые, как ни банальны они могут показаться, произнесены из самой души греческого опыта: "Будь умеренным" и "Познай самого себя". Их совместное соблюдение составляет характерную добродетель *Sôphrosynê*, которая означает все, что мы понимаем под воздержанностью, и многое другое; так много, на самом деле, что очень умные греки затруднялись дать ей определение, а очень мудрые греки могли молиться о ней как о самом прекрасном даре богов.⁴⁸ Предположим, что у каждого человека есть сфера деятельности, определенная для него его собственной природой и особым окружением; тогда ясно различать границы этой сферы и держаться в их пределах будет *Sôphrosynê*, а различение, взятое само по себе, - мудростью. Та же самоограниченность, действующая в качестве ограничителя вмешательства в другие сферы, будет справедливостью, а экспансивная сила, с помощью которой человек заполняет всю

свою сферу и защищает ее от агрессии, может быть названа мужеством. Таким образом, мы можем понять многогранное значение *Sôphrosynê*, увидеть, как оно может обозначать как конкретную добродетель, так и всю добродетель в целом. Нам достаточно взглянуть на поэмы Гомера, в частности на "Илиаду" - гораздо более глубокое и гениальное произведение, чем "Одиссея", чтобы понять, как рано это требование умеренности в сочетании с самопознанием воплотилось в греческой мысли. Агамемнон нарушает права Ахилла под влиянием неумеренной страсти и по незнанию того, как мало мы можем сделать без помощи героя. Ахилл, опять же, заходит слишком далеко в своей мстительности и в результате страдает. Но его самопознание абсолютно совершенно; сознавая, что он первый в поле, в то время как другие лучше держат совет, он никогда не берется за дело, которому его силы не вполне соответствуют; он также не приступает к своей последней работе мести без ясного сознания скорой смерти, которую ее завершение повлечет за собой. Гектор тоже, несмотря на зловещие предчувствия, знает свой долг и выполняет его, но гораздо менее справедливо оценивает свои силы, что заводит его слишком далеко, а затем, когда переломится, не позволяет ему вовремя отступить в стены Трои. Так и со второстепенными персонажами. Патрокл тоже переступает границы умеренности и расплачивается за это жизнью. Диомед молча сносит незаслуженные упреки Агамемнона, но впоследствии вспоминает о них в самый подходящий момент, когда встает, чтобы противостоять ничтожным советам великого царя. Греки называли это наблюдением за возможностью, а оппортунизм у них, как и у французских политиков, был формой умеренности.⁴⁹ На самом дне шкалы Терсит и Долон - яркие примеры людей, которые не знают своей сферы и страдают из-за своей глупости. В "Одиссее" Одиссей представляет собой почти идеальный тип мудрости и самообладания, ошибаясь, если мы правильно помним, только один раз, когда он оскорбляет Полифема, прежде чем корабль окажется вне опасности; в то время как его товарищи погибают от недостатка этих же даров.

Итак, добродетель у греков была тем, чем она неизбежно должна была быть у всех людей вначале: главным образом самооценкой, утонченной формой благоразумия. Более того, другие добродетели давали меньше возможностей для размышлений, поскольку изначально относились к повиновению закону. Однако существовали два обстоятельства, которые не могли долго оставаться незамеченными: во-первых, мошенничество и насилие часто, по крайней мере внешне, выгодны тем, кто их совершает, что с горечью отмечал Гесиод⁵⁰; во-вторых, общество не может держаться без справедливости. Прошло немало времени, прежде чем появились правительства, готовые и способные защитить своих подданных от взаимной агрессии; позитивное право не создает мораль, но подразумевает ее, и без него невозможно работать. Международные обязательства также не могут быть принудительно исполнены высшим трибуналом, поэтому они и по сей день остаются благодатной темой для этических дискуссий. Именно в этот момент мораль пересекается с религией, история которой очень интересна, но здесь можно проследить лишь вкратце. Олимпийские божества, какими их представил нам Гомер, не отличаются нравственностью. Их поведение по отношению друг к другу - это поведение беспутной знати, а по отношению к людям - беспринципных партизан и покровителей. Преданность друзьям и благодарность за жертвоприношения - вот их самые достойные уважения черты, уже немного возвышающие их над теми природными силами, от которых они произошли. Теперь обратите внимание на то, как они впервые становятся моралистами. Это происходит, когда их делают свидетелями клятвы. Любой, кто призван свидетельствовать об обещании, чувствует себя оскорбленным, если оно нарушено, рассматривая нарушение как оскорбление собственного достоинства. Как хорошо сказано в Третьей заповеди, его имя было использовано всуе. Так случилось, что те же боги, которые оставляли безнаказанным любое другое преступление, обрушили на лжесвидетельство суровое и быстрое возмездие, продолжавшееся даже после смерти

преступника.⁵¹ Соблюдение договора - это первичная форма моральных обязательств, и, похоже, она все еще имеет особую власть над необразованными умами. Мы каждый день видим, как многие люди воздерживаются от действий, которые, как им известно, безнравственны, потому что они дали слово об этом, а не потому, что сами действия неправильны. И по этой причине суды охотнее исполняют договоры, чем возмещают ущерб. Если, таким образом, один человек наносил ущерб другому, он мог впоследствии, чтобы избежать возмездия со стороны пострадавшего или его семьи, обязаться выплатить компенсацию, и суд заставлял его выполнить свое обещание.⁵² Таким образом, договор, обеспечивая возмещение всех видов вреда, постепенно распространял свой обязательный характер на воздержание от вреда вообще, и божественные санкции, на которые в первую очередь ссылались клятвы, распространялись вместе с ними на всю область морального поведения.

Но и это еще не все. Законы и справедливость, однажды установленные, требовали объяснения их происхождения и, в соответствии с обычным генеалогическим методом ранних греков, описывались как дети богов, которые, таким образом, были заинтересованы в их благополучии и мстили за их нарушение - этап размышлений, уже достигнутый в "Трудах и днях" Гесиода.

Опять же, когда оракулы, подобные дельфийским, приобрели широкую известность и авторитет, к ним обращались не только по церемониальным вопросам и вопросам политики, но и по спорным вопросам морали. Божественные ответы, не подверженные личным интересам, обязательно давались в соответствии с общепринятыми правилами поведения и были подкреплены всеми ужасами сверхъестественной санкции. Было бы даже опасно предполагать, что бог может поддерживать неправомерные действия. История, рассказанная Геродотом, доказывает, что так и было на самом деле.⁵³ В Спарте жил некий человек по имени Глаук, который приобрел столь высокую репутацию честного человека, что в смутные времена персидского завоевания один богатый милезиец счел целесообразным положить к нему на хранение большую сумму денег. Через некоторое время деньги потребовали его дети, но честность Глаука не устояла перед искушением. Он сделал вид, что забыл об этом деле, и потребовал три месяца отсрочки, чтобы решить, насколько обоснованно их требование. В этот промежуток времени он обратился к дельфийскому оракулу, чтобы узнать, может ли он получить деньги с помощью ложной клятвы. Ответ гласил, что это будет выгодно для него; все должны умереть, и верные, и лжецы; но у Горкуса (клятвопреступника) есть безымянный сын, который быстро преследует без ног, крепко хватает без рук, и который уничтожит весь род грешника. Глаук попросил прощения, но ему сказали, что искушение бога равносильно совершению преступления. Он вернулся домой и восстановил месторождение, но вся его семья полностью исчезла с лица земли, не дожив до трех поколений.

Оставалось сделать еще один шаг. Наказание должно быть перенесено с невинных детей человека на самого человека в будущей жизни. Но олимпийская теология, по крайней мере первоначально, была бессильна совершить этот переворот. Ее боги, будучи олицетворениями небесных явлений, не имели никакого отношения к темному подземному миру, куда люди спускались после смерти. Однако бок о бок с блестящей религией судов и лагерей, которую греческая поэзия сделала столь привычной для нас, существовала другая религия, более популярная среди простых деревенских жителей⁵³, для которых война означала разорение, суды - средство, придуманное царями для вымогательства взяток, морские путешествия - бессмысленное безрассудство, гонки на колесницах - греховную

трату денег, а красивые женщины - трутни в человеческом улье, демоны расточительности, придуманные Зевсом для вымещения своей злобы на человечестве. Какой интерес могли проявить эти несчастные люди к великолепным покровителям их наследственных угнетателей, к Херу и Афине, Аполлону и Посейдону, Артемиде и Афродите? Но у них были и другие боги, свойственные только им, поклонение которым было окутано тайной, отчасти для того, чтобы их объекты не были соблазнены привлекательностью более богатых подношений в других местах, отчасти потому, что деятельность этих хтонических божеств, как их называли, естественно ассоциировалась с темнотой и тайной. Олицетворяя рождение и смерть, время посева, сбора урожая и винограда, они олицетворяли морозный сон растительности зимой и ее возвращение из темного подземного мира весной. Из их поклонения выросли истории о том, как Персефонка, прекрасная дочь Деметра, или Матери-Земли, была унесена Плутоном, чтобы вместе с ним править подземными тенями, но после долгих поисков была возвращена своей матери на восемь месяцев в году; И как Дионис, бог вина, родился дважды, сначала сгоревшей земли и потеряв сознание под нестерпимым огнем летнего неба, соответственно олицетворенного Семелой и ее возлюбленным Зевсом, а затем из защитного тумана, окутавшего его божественного отца, частью которого он был. Дионис тоже был подвержен чередованию депрессии и триумфа, из пересказа которых развилась аттическая драма, и обрел опору в inferнальных областях, куда мы сопровождаем его в "Лягушках" Аристофана. Другим деревенским богом был Гермес, который, по-видимому, был связан с посадкой и владением, а также с разграничением и обменом собственности, и который также был проводником душ в Аид. Наконец, были Эринии, дети ночи и обитатели подземной тьмы; они могли порождать мор и раздоры, но могли и отвращать их; они могли уничтожать плоды земли или увеличивать ее пышность и плодородие; когда на землю проливалась кровь, они заставляли ее снова расцвести в жатве ответной ненависти; они преследовали виновных при жизни и не ослабляли своей хватки после смерти; Все законы, будь то физические или моральные, находились под их защитой; те же самые эринии, которые в "Одиссее" мстят Эдипу за самоубийство его матери, в "Илиаде" не позволяют чудесному говорению лошади продолжаться; и мы видели в прошлой главе, как, согласно Гераклиту, именно они не позволяют солнцу преступать установленные им пределы.⁵⁴ Деметра и Персефона, похоже, тоже были богинями-законодательницами, поскольку их великий праздник, отмечаемый только женщинами, назывался Тесмофория, а вечное счастье было обещано тем, кто был посвящен в их мистерии в Элевсисе; кроме того, мы видим, что на мраморных бюстах Гермеса, установленных вдоль каждой улицы в Афинах, были высечены моральные наставления. Таким образом, мы можем понять, почему нанесение увечий этим Гермесам вызвало такой гнев и ужас, сопровождаемый, по слухам, осквернением Элевсинских мистерий; ведь любое посягательство на божества, о которых идет речь, должно было предвосхитить посягательство на устоявшийся порядок вещей, на народные права, которые они символизировали и защищали.

Итак, здесь мы находим, главным образом среди деревенского населения, религию, тесно связанную с моралью и включающую в себя доктрину воздаяния после смерти. Но эта простая вера, хотя и хорошо приспособленная к немногим потребностям ее первоначальных приверженцев, не могла быть поднята до максимального расширения и чистоты, к которым она была способна, без того, чтобы не вступить в живительный контакт с другой олимпийской религией, которая, как мы уже видели, принадлежала в большей степени правящей аристократии. Бедные могут быть более нравственными, чем богатые, а деревенские - более городскими; тем не менее именно от жителей городов и высших классов, включающих большой процент образованных и открытых людей, всегда исходят импульсы к нравственному прогрессу. Если бы узость и жесткость примитивных социальных механизмов были преодолены; если бы справедливость была освобождена от уз кровного

родства и смягчена учетом неизбежных ошибок; если бы смертельная вражда была прекращена привычным обращением к арбитражу; если бы поклонение одному высшему идеалу было заменено слепым сочувствием к приливу и отливу земной жизни; если бы численность государств была увеличена за счет предоставления убежища беглецам; Если бы эллинская нация была создана и скреплена общей литературой и общей цивилизацией, оракулами, доступными для всех, и периодическими играми, в которых мог бы принять участие каждый свободнорожденный грек; и, наконец, если после смерти богоподобным героям, вышедшим из трижды повторенного испытания с незапятнанными грехом душами, была уготована более светлая обитель, чем дремотный сад Персефона⁵⁵, - все это было заслугой военных, а не промышленных классов, духа, дышащего через Гомера, а не более укрощенного вдохновения музы Гесиода. Но если справедливость была возведена на олимпийский трон; если праведное провидение, не менее чем творческая сила, стало неотъемлемым атрибутом Зевса; если лирическая поэзия, от Архилоха до Симонида и Пиндара, представляет собой один длинный гимн молитвы и хвалы, постоянно обращенный вверх в обожании Божественного; мы должны помнить, что Фемида была синонимом Земли, и что Прометей, первоначальный друг человечества, ради которого он изобрел все полезные искусства, включая авгуров, был ее сыном. Семена бессмертной надежды были впервые посеяны в плодоносящем лоне Деметры, а жизнь, покинутая Ариадной, укрылась в мистических объятиях Диониса от воспоминаний об обещании, которое манило ее предать. Таким образом, мы можем предположить, что между залом и фермой, между олимпийской и хтонической религиями происходила постоянная реакция, в ходе которой этические идеи постоянно расширялись и освобождались от суеверных элементов, связанных с их ранним теологическим выражением.

III.

Этот процесс был задуман Эсхилом как конфликт между двумя поколениями богов, заканчивающийся их полным примирением. В "Связанном Прометее" мы имеем начало конфликта, в "Эвменидах" - его завершение. Поначалу наши симпатии, по-видимому, предполагалось привлечь на сторону старших божеств, но в конце концов они оказываются востребованы исключительно младшими. В противовес Прометею Зевс явно не прав и стремится компенсировать свои недостатки произвольным насилием. В "Орестее" он выступает защитником справедливости от беззакония и через своего толкователя Аполлона насаждает пересмотренный моральный кодекс против древних притязаний эриний; последние, однако, в конце концов соглашаются стать хранителями нового социального порядка. Эсхилевская драма показывает нам греческую религию на самом высоком уровне, которого она могла достичь без помощи философских размышлений. С Софокла уже начался ощутимый спад. Мы не хотим говорить ничего, что могло бы показаться пренебрежительным по отношению к столь благородному поэту. Мы ничем не уступаем в восхищении тому, кто соединил в себе два высочайших качества искусства - сладость и силу - полнее, чем любой другой певец, исключая разве что Гомера, и дал первобытным привязанностям окончательное выражение на все времена. Но мы не можем не видеть в его драмах элемент суеверия, который пока что невыгодно отличает их от драматических произведений его титанического предшественника. У Софокла, когда боги вмешиваются, они наказывают за неуважение к себе, а не восстанавливают справедливость между человеком и человеком. Аякс погибает от собственной руки, потому что пренебрег просьбой о божественной помощи в битве. Лаий и Иокаст приходят к трагическому концу из-за неповиновения совершенно произвольному оракулу; и в рамках того же божественного замысла Эдип сталкивается с самыми ужасными бедствиями не по своей вине. Более того, боги вызывают исключительно страх; их единственное занятие - принуждать к исполнению

загадочных пророчеств; они не оказывают никакой помощи благочестивым и добродетельным героям. Антигоне позволяют погибнуть за то, что она исполнила последние обязанности по отношению к трупам брата. Неоптолем не получает никакой помощи в той борьбе между честолюбием, с одной стороны, и правдивостью и жалостью - с другой, которая делает его героя одним из самых интересных во всей образной литературе. Когда Афина предлагает Одиссею ликовать над унижением Аякса, великодушный итакиец отказывается ей в лицо и опирается на сознание общей человечности, объединяющей его в сочувствии к поверженному врагу.

Раскол внутри лютни все расширялся, пока вся ее музыка не превратилась в звенящий диссонанс. С третьим великим аттическим драматургом мы приходим к периоду полного распада. Мораль не только отделена от мифологической традиции, но и открыто враждует с ней. Религиозная вера, став почти монотеистической, скатилась к политеизму. У Еврипида боги не образуют, как у его предшественников, общего совета. Они ведут независимое существование, не мешая друг другу и преследуя свои личные цели, часто весьма неблагоприятные. Афродита внушает Федре кровосмесительную страсть к ее пасынку. Артемида умиливается человеческими жертвоприношениями. Геракл в припадке бреда убивает своих детей. Зевс и Посейдон обвиняются в нарушении собственных законов и подают дурной пример смертным. Аполлону, некогда столь почитаемому, приходится хуже всех. Он оскорбляет благородную девицу и подбрасывает ее ребенка мужчине, за которого она впоследствии выходит замуж. Он подстрекает к убийству раскаявшегося врага, пришедшего просить прощения в его святилище. Он не защищает Ореста от последствий отцеубийства, совершенного по его собственному неразумному предложению. Возможно, политическая вражда как-то связана с этими нападениями на бога, который, как считалось, выступал на стороне дорийской конфедерации против Афин. Несомненно, Еврипид также не верил во многие скандальные истории, которые он выбрал в качестве подходящего материала для драматического представления. Но сатира на аморальные верования была бы излишней, если бы они не были общепринятыми. Сам поэт также не был вольнодумцем. Одно из его последних и самых великолепных произведений, "Вакхи", представляет собой формальное подчинение ортодоксальному вероучению. Под влиянием безумного бреда Пенфей разорван на куски своей матерью Агавой и ее подручными Менадами за то, что осмелился воспротивиться введению в Фивах поклонения Дионису. Происхождение нового божества сомнительно, а характер его влияния на женское население крайне подозрителен. Тем не менее, на нечестивости Пентея делается большой акцент, и нам явно предлагают считать его судьбу заслуженной.

Еврипид не является истинным мыслителем, и именно по этой причине он как нельзя лучше характеризует период, когда религия была потрясена до основания, но все еще сохраняла прочное влияние на умы людей и в любой момент могла вновь обрести свой древний авторитет с неожиданной силой. Из его трудов мы также узнаем, что этические чувства претерпели параллельную трансформацию. Он вводит персонажи и поступки, которые старшие драматурги отвергли бы как недостойные трагедии, и не только вводит, но и сочиняет продуманные речи в их защиту. Наряду с примерами самоотверженного героизма мы находим такие наблюдения, как то, что каждый человек больше всего любит себя, и что наиболее преуспевают те, кто больше всего заботится исключительно о своих интересах. Так случилось, что в одном случае, когда Еврипид выбрал тему, уже рассмотренную Эсхилом, разница в трактовке показывает, насколько великий нравственный переворот произошел за это время. Конфликт, разгоревшийся между Этеоклизом и Полинеикезом за трон их отца,

является темой и "Семерых против Фив", и "Финикийских женщин". В обоих случаях Полиникес основывает свои притязания на праве. Было решено, что он и его брат будут поочередно управлять Фивами. Настал его черед, и Этеокл отказывается уступить. Полиникес пытается подтвердить свои притязания, приведя в Фивы чужеземное войско. Эсхил заставляет его появиться перед стенами с аллегорической фигурой Справедливости на щите, обещая вернуть ему место отца. Услышав это, Этеоклис восклицает: - "Да, если бы Юпитер был справедливым!

"Да, если девственная дочь Юстиции разделяла

Поступки и мысли его, то, может быть, так оно и было бы.

Но ни когда он вышел из темного чрева,

Ни в детстве, ни в юности, ни когда

Когда волосы впервые собрались вокруг его подбородка,

Справедливость не обращала на него одобрительных глаз;

И не считаю я, что она пришла как его союзник,

Теперь, когда он расточает войну на родной земле,

Или Справедливость, как несправедливо ее называют.

Если бы безжалостные сердца могли претендовать на ее содружество "56.

Еврипид с большим драматическим мастерством сводит двух братьев вместе в присутствии их матери Иокасты. Когда Полиникес заговорил, Этеокл отвечает ему: - "Честь и мудрость - лишь почет и мудрость.

"Честь и мудрость - лишь пустые имена.

Которыми пользуются смертные, каждое из которых имеет свой смысл,

Сходятся в звучании, но не в смысле.

Услышь, мать, нескрываемую мою решимость!

Была Суверенитет, главная богиня среди богов,

Далеко зашла, как восход звезды,

Или погребена глубоко в подземном мраке,

Там бы я искал и завоевал ее для себя.

Приди огонь, приди меч, запряги коней в повозку,

И заполните равнину вооруженными людьми, ибо я

Не отдам ему свою королевскую власть!

Пусть вся моя жизнь будет без вины виноватой, кроме этой:

Я осмелюсь совершить любое зло ради власти...

Великолепный гвердон великолепного греха "57.

Контраст не только прямой, но и намеренный, поскольку Еврипид имел перед собой работу своего предшественника и, несомненно, воображал, что совершенствует ее.

Точно такое же изменение тона мы наблюдаем при сравнении двух великих историков, которые описывали борьбу Греции с Персией и борьбу императорских Афин со Спартой и ее союзниками. Хотя Геродот и Фукидид родились в пределах пятнадцати лет друг от друга, их фактически разделяет интервал в два поколения, поскольку в то время как последний представляет самую передовую мысль своего времени, первый жил среди традиций, унаследованных от эпохи, предшествующей его собственной. Геродот отличается не столько искренней набожностью, сколько ясным чувством справедливости, которое проходит через все его произведения. Он не проводит различий между общественной и частной моралью. Тот, кто без провокации начинает войну с соседями или правит без согласия управляемых, по его мнению, не прав, хотя он прекрасно понимает, что такие нарушения совершаются постоянно. Фукидид не знает ничего о сверхъестественном вмешательстве в человеческие дела. Рассказав о трагическом конце Никия, он не без скепсиса замечает, что из всех живших тогда греков этот несчастный полководец меньше всего заслуживал такой участи, если судить по благочестию и респектабельности характера. Если боги существуют, то они занимают свое положение благодаря превосходству в силе. То, что сильные должны поработать слабых, - универсальный и необходимый закон природы. Спартанцы, наиболее скрупулезно соблюдающие традиционные обязательства, в отношениях с другими наиболее открыто отождествляют выгоду с честью, а целесообразность с правом. Даже если сам историк не разделял этих взглядов, очевидно, что они были широко распространены среди его современников, и он прямо сообщает нам, что греческая политическая мораль испортилась до ужаса в результате гражданских разногласий, разжигаемых конфликтом между Афинами и Спартой; в Афинах же, по крайней мере, аналогичное разложение частной морали началось с великой чумы 430 года, главным симптомом которой было безумное желание извлечь из жизни как можно больше удовольствия, для чего любые средства считались законными. В этом вопросе Фукидид подтверждает и дополняет свидетельства другого современного авторитета. По словам Аристофана, в его время античная дисциплина сильно ослабла. Богатые были праздны и экстравагантны, бедные бунтовали, молодые люди становились все более наглыми по отношению к старшим, религия подвергалась насмешкам, все классы были воодушевлены общим желанием делать деньги и тратить их на чувственные удовольствия. Только вместо того, чтобы объяснить эту глубокую деморализацию изменениями в социальной среде, Аристофан приписывает ее демагогам, доносчикам, популярным поэтам, но прежде всего новой культуре, которая тогда входила в моду. Физическая наука принесла атеизм, диалектическое обучение разрушило святость этических ограничений. Однако когда религиозный и добродетельный Сократ выдвигается в качестве типа обеих тенденций, наша уверенность в точности комического поэта, если не в его добросовестности, сильно пошатнулась; А весь его тон так живо напоминает аналогичные инвективы, раздающиеся сейчас из прессы и с кафедр против каждой философской теории, каждого научного открытия, каждой социальной реформы, противоречащей традиционным представлениям или угрожающей зловещим интересам, собравшимся вокруг незаконных институтов, что поначалу мы чувствуем искушение вслед за Гротом полностью отвергнуть его свидетельство. Однако, если говорить о самих явлениях, не считая их порождающих предшественников, Аристофан лишь придает более живописный вид тому, на что более серьезные наблюдатели довольствуются указанием и что Платон,

писавший поколением позже, рассматривает как неоспоримую реальность. Не является невероятным или беспрецедентным и тот факт, что понижение морального тонуса сопровождается ускоренной умственной деятельностью. Современная история знает, по крайней мере, два периода, примечательных подобной связью: Ренессанс и восемнадцатый век, первый из которых запятнан всеми мыслимыми преступлениями, второй - нечист насквозь, а в конце скатывается к кровавожадному насилию. Нравственный прогресс, как и любой другой вид движения, имеет свой ритм - эпохи суровой сдержанности сменяются эпохами мятежной свободы. И когда, в качестве усугубления реакции, от которой они периодически страдают, этические принципы становятся связанными с мифологией, чей упадок, сначала замедленный, в конце концов ускоряется их деятельностью, все же легче понять, как они могут разделить ее дискредитацию и восстановить свое превосходство, только связав себя с очищенной формой старой религии, пока они не могут быть отделены от компромиссной поддержки всех непроверенных теорий. У нас есть все основания полагать, что греческая жизнь и мысль действительно прошли через такой кризис во второй половине V века до н. э., и теперь нам предстоит разобраться со спекулятивными аспектами этого кризиса, в той мере, в какой они представлены софистами.

IV.

Слово "софист" в современных языках означает того, кто намеренно использует ложные аргументы. Наше определение, вероятно, было заимствовано из определения, данного Аристотелем в его "Топиках", но не полностью его повторяет. То, что мы называем софистикой, было у него эристикой, или искусством нечестного спора; а под софистом он подразумевает того, кто практикует эристическое искусство в корыстных целях. Он также определяет софистику как видимость без реальной мудрости. Очень похожий рассказ о софистах и их искусстве Платон приводит в одном из своих поздних диалогов; а другой диалог, вероятно, написанный несколько ранее, показывает нам, как на самом деле занимались эристикой два софиста, Эвтидокм и Дионисодор, которые научились этому искусству, представленному как очень легкое достижение, будучи уже пожилыми людьми. Их выступление не назидательно, и остается только удивляться, как можно было побудить любого грека заплатить за привилегию стать свидетелем такого зрелища. Но слово "софист" в своем первоначальном значении было очень почетным. Оно означало мудреца, мудрого и ученого человека, как Солон или, если уж на то пошло, как сами Платон и Аристотель. Промежуток между этими широко различающимися значениями заполняется и объясняется рядом лиц, о которых наша информация в основном, хотя и далеко не полностью, получена от Платона. Все они были профессиональными учителями, получавшими плату за свои услуги; все они занимались изучением языка, причем одни стремились к точности, другие - к красоте выражения. Хотя ни одно общее учение не может быть приписано им как классу, как личности они связаны между собой серией градуированных переходов, конечный результат которых позволит нам понять, как из титула уважения их имя могло превратиться в порицаемое слово. Софисты, о которых нам удалось узнать некоторые подробности, - это Протагор, Горгий, Продик, Гиппиас, Полус, Фрасимах и уже упомянутые эристики. Мы расположили их, насколько можно определить их возраст, в хронологическом порядке, но их логический порядок несколько иной. Первые двое в списке родились около 480 года до н. э., а вторая пара, возможно, на двадцать лет позже. Но ни Протагор, ни Горгий, похоже, не опубликовали свои наиболее характерные теории до довольно зрелого возраста, поскольку о них нигде не упоминает ксенофоновский Сократ, который, с другой стороны, хорошо знаком и с Продиком, и с Гиппием, тогда как Платон, наоборот, больше всего интересуется

первой парой. Мы также увидим, что скептицизм старших софистов лучше всего объясняется ссылкой на более догматические теории их младших современников, которые опять же легко примыкают к физическим спекуляциям более ранних мыслителей.

Продик родился на Сеосе, маленьком острове, принадлежавшем Афинской конфедерации, и, похоже, постоянно проживал в Афинах. Его здоровье было слабым, и он сильно осунулся, о чем мы узнаем из насмешек Платона, всегда безжалостного к валетудинам.^F Судя по двум упоминаниям у Аристофана, он преподавал естественные науки таким образом, чтобы примирить даже этого ярого врага новой науки.⁵⁸ Он также давал моральные наставления, основанные на традиционных представлениях своей страны, и сохранился приятный образец этого учения. Оно передано в форме апологии, озаглавленной "Выбор Гераклита", и в своем нынешнем виде было записано Ксенофонтом из уст Сократа, который процитировал его с полным одобрением для пользы своих учеников. Продик также читал лекции об употреблении слов, делая особый акцент на различии синонимов. Мы не без сочувствия слышим, что он пытался остановить беспорядочное использование "ужасного" (δεινός), которое было еще более распространено в Афинах, чем среди нас.^G Наконец, нам говорят, что, как и многие современные люди, он считал популярных божеств олицетворениями природных явлений. Гиппиас, уроженец Элиды, похоже, преподавал по той же системе. Судя по всему, он читал лекции в основном по астрономии и физике, но не пренебрегал и языком, и, как говорят, изобрел искусство запоминания. Его неутомимая любознательность проявлялась и в отношении древней истории, и его эрудиция в этом вопросе была доведена до предела во время посещения Спарты, где неграмотные люди все еще восхищались старыми историями, которые среди более просвещенных греков были вытеснены темами более живыми и свежими. В Спарте он также прочел, под бурные аплодисменты, этическое рассуждение в форме совета, данного Нестором Неоптолеми после взятия Трои. Нам достоверно известно, что Гиппий обычно проводил различие между естественным и обычным правом, причем первое, по его словам, было везде одинаковым, а второе менялось от государства к государству и в одном и том же государстве в разные времена. Естественное право он считал единственно обязательным и единственно полезным. По этому поводу Платон вложил в его уста следующие выражения, явно предназначенные для характеристики: "Всех вас, присутствующих здесь, я считаю родственниками, друзьями и согражданами, по природе, а не по закону; ибо по природе подобное сродни подобному, тогда как закон - тиран человечества и часто заставляет нас делать многое, что противоречит природе"⁵⁹. Привычка искать примеры и уроки в более простой жизни, чем их собственная, преобладала у греков с самого раннего периода и, по сути, была очень распространена в примитивных обществах. В качестве примера можно привести гомеровские уподобления; все, что нам рассказывают о невинности и благополучии аэтиопов и гиперборейцев, похоже, свидетельствует о глубоко укоренившейся вере в моральное превосходство дикарей над цивилизованными народами; а выдумка Гесиода о четырех веках, начинающихся с золотого века, проистекает из родственного представления о том, что интеллектуальный прогресс сопровождается моральным разложением. Симонид Аморгусский иллюстрирует различные типы женщин на примерах из мира животных, а басни Эзопа, датируемые первой половиной VI века, дают этические наставления под той же маскировкой. Мы уже указывали на то, как греческая сельская религия установила тесную связь между физическими и моральными явлениями, и как Гераклит следовал по тому же пути. Так вот, одним из великих результатов ранней греческой мысли, описанным в нашей первой главе, было объединение всех этих разрозненных бессвязных идей в единую концепцию, что позволило им прояснить и поддержать друг друга. Это была концепция природы как универсальной всесозидающей вечной силы, сначала превосходящей богов, а затем и вовсе вытеснившей их. Когда Гомер называл Зевса отцом богов и людей, когда Пиндар говорил, что обе расы, божественная и

человеческая, происходят от одной матери (Земли)⁶⁰, когда он снова говорил о законе как об абсолютном царе, или когда Эсхил ставил судьбу выше самого Зевса⁶¹, они были лишь предвестием более деспотичной власти, чье господство даже сейчас не исчезло, а, возможно, возобновляется под названием Эволюция. Слово "Природа" использовалось большинством философов, и все они подразумевали под ним сущность. Они не совершали ошибки, олицетворяя удобную абстракцию, но концепция, которую они подменяли богами, вскоре унаследовала бы все атрибуты божественной власти. Более того, философская природа обладала тремя фундаментальными атрибутами, которые можно было легко использовать в качестве этических стандартов. Она была везде одинакова; огонь горел и в Греции, и в Персии. Она стремилась к упорядоченной системе, где каждый агент или элемент ограничен своей сферой. Она действовала по принципу всеобщей компенсации, когда все достижения в одном направлении оплачивались потерями в другом, а любое нарушение в конечном итоге исправлялось восстановлением равновесия. Действительно, нет ничего удивительного в том, что истины, обобщенные из опыта греческой общественной жизни, теперь возвращаются, чтобы подтвердить упорядоченность этой жизни санкцией всепроникающего закона.

Еврипид дает нам интересный пример того, в каком стиле можно было бы применить этическое применение физической науки. Мы видели, как Этеокл выражает свою решимость сделать и отважиться на все ради власти. Его мать, Иокаста, мягко упрекает его следующим образом

"Чти равенство, кто связывает воедино
И друзей, и города, и союзников,
Ибо равенство - закон, закон - равенство;
Меньший - враг большего",
И ущемленный всегда начинает вражду.
От нее исходят наши меры, веса и числа,
Определены и упорядочены Равенством;
Так и слепой глаз ночи и яркий шар солнца
Идут равными путями в своем годовом круге,
И ни один из них не страдает от поражения;
И свет и тьма служат человечеству.
Не будешь ли ты в доме своем равным?"⁶²

При рассмотрении апологии Продика мы обнаруживаем, что она характеризуется несколько схожим стилем рассуждений. В ней, правда, нет ссылок на физические явления, но Добродетель настойчиво повторяет истину о том, что ничего нельзя получить даром и что удовольствие нужно либо покупать трудом, либо искупать его томлением, пресыщением и преждевременным упадком сил. Мы также знаем, что киническая школа, представленная Антисфеном, отвергала все удовольствия на том основании, что они всегда оплачиваются равным количеством боли; а Геракл, продицейский тип юноши, который следует

добродетели, предпочитая порок, замаскированный под счастье, также был любимым героем киников. Опять же, Платон упоминает в "Филебе" о неких мыслителях, считающихся "великими в области физики", которые отрицают само существование удовольствия. Критики не смогли идентифицировать этих людей и довольно неохотно согласились с объяснением, что речь идет об Антистенесе и его школе. Антистенес был другом Продика и, возможно, в свое время разделял его научные занятия, что и дало повод для ассоциации, о которой говорит Платон. Но разве не так же возможно, что Продик оставил после себя учеников, которые, как и он, сочетали мораль с физикой; и, идя немного дальше, не можем ли мы предположить, что их оппозиция гедонизму была унаследована от самого мастера, который, как и последующие стоики, возможно, основывал ее на применении физических рассуждений к этике?

Еще более важной была антитеза между природой и условностью, которая, насколько нам известно, возникла исключительно благодаря Гиппиасу. Мы уже отмечали, что универсальность и необходимость были у греков постоянными признаками естественности. Обычаи разных стран, напротив, отличались крайним разнообразием, доходившим порой до диаметральной противоположности. Геродот любил обращать внимание на такие контрасты; только из них он делал вывод, что закон, чтобы быть столь произвольным, должен обладать верховным и священным авторитетом. Согласно более правдоподобной интерпретации Гиппия, разнообразие и, по крайней мере, в греческих демократиях, изменчивость закона доказывают, что он не является ни священным, ни обязательным. Он также считал искусственные социальные институты единственной причиной раздоров и разногласий между людьми. Здесь мы уже видим зачатки космополитизма, который впоследствии проповедовали философы-кинники и стоики. Более того, чтобы открыть естественное правило права, он сравнивал законы разных народов и выбирал те, которые были общими для всех, в качестве основы этической системы.⁶³ Именно это и было сделано римскими юристами много позже под влиянием стоического учения. По свидетельству сэра Генри Мейна, они отождествляли *Jus Gentium*, то есть законы, которые должны соблюдать все народы, с *Jus Naturale*, то есть кодексом, которым управлялись люди в их первобытном состоянии невинности. Именно постепенное применение этого идеального стандарта позволило устранить многочисленные неравенства между различными классами людей, навязанные древнеримским правом, и заменить договор статусом. Прежде всего, отмена рабства была если не напрямую вызвана, то, во всяком случае, в значительной степени поддержана убеждением, что оно противоречит природе. В начале XIV века мы видим, как Людовик Утин, король Франции, в качестве причины для предоставления права на рабство своим крепостным называет то, что, "согласно естественному праву, все должны родиться свободными", и хотя сэр Х. Мэн считает, что это ошибочное толкование юридической аксиомы "все люди от природы равны", которая означает не идеал, которого нужно достичь, а первобытное состояние, от которого мы отошли, тем не менее она очень точно воспроизводит теорию тех греческих философов, от которых произошла идея естественного права. То, что, по крайней мере, во времена Аристотеля существовала партия, выступавшая против рабства на теоретических основаниях права, совершенно очевидно из языка "Политики". "Некоторые, - говорит Аристотель, - считают, что рабовладение противоречит природе, поскольку один человек является рабом, а другой - свободным по закону, тогда как по природе между ними нет никакой разницы, по этой причине оно несправедливо, поскольку является результатом силы"⁶⁴. Эта же доктрина естественного равенства привела к важным политическим последствиям, способствовав, опять же по словам сэра Х. Мэна, как американской Декларации независимости, так и Французской революции.

Есть еще один аспект, заслуживающий нашего внимания, под которым теория природы была представлена как в древние, так и в современные времена. Диалог, который, справедливо или нет приписывается Платону, может быть принят как хорошее свидетельство по теме, которой он [касается](#)⁶⁵, выставляет Гиппия в образе универсального гения, который не только может преподавать все науки и заниматься всеми видами литературного творчества, но также изготовил все одежды и другие предметы, связанные с его персоной. Здесь мы имеем именно ту универсальность, которая характерна для нецивилизованного общества и которую верующие в естественное состояние природы любят поощрять во все времена. Разделение труда, уводя нас все дальше от варварства, делает нас более зависимыми друг от друга. Одиссей владеет многими искусствами, Фемистокл - двумя, Демосфен - только одним. Норвежский крестьянин может сделать для себя больше, чем английский соотечественник, и поэтому он лучший колонист. Если мы должны вернуться к природе, то первым нашим шагом должно стать обучение нескольким ремеслам, чтобы иметь возможность самим себя обслуживать. Таков был идеал Гиппия, и таков же был идеал восемнадцатого века. Его литература начинается с "Робинзона Крузо", истории о человеке, который случайно вынужден в течение многих лет обеспечивать себя всем необходимым для жизни. Ее учебные пособия - во Франции "Эмиль" Руссо, в Англии - "Сэндфорд" и "Мертон" Дэя, которые учат, что молодые люди должны быть как можно больше брошены на собственные силы. Один из его типов - Дидро, который учится ремеслам, чтобы описать их в "Энциклопедии". Два его великих представителя - Вольтер и Гете, которые, изучив все разделы литературы, берут на вооружение и государственное управление. И последнее слово - "Письма об эстетической культуре" Шиллера, в которых тотальность бытия рассматривается как высший идеал, к которому следует стремиться.

Нет никаких оснований полагать, что Гиппиас использовал свое различие между природой и условностями в качестве аргумента в пользу деспотизма. Скорее можно предположить, что он и его школа стремились к установлению более полного равенства между людьми. Однако другие риторы и практические государственные деятели не замедлили сделать противоположный вывод. Они видели, что там, где не признается закон, как между разными народами, не может быть ничего, кроме насилия и права более сильного. Когда-то считалось, что агрессия, на которую не способен человеческий закон, не находит поддержки у богов, и страх перед божественным неудовольствием, возможно, что-то сделал для ее сдерживания. Но религия была частично уничтожена новой культурой, частично превратилась в санкцию на совершение злодеяний. По какому праву, спрашивали, царствует сам Зевс? Не он ли незаконно сверг своего отца Кроноса и не он ли теперь владеет властью просто в силу своей силы? Подобные рассуждения вскоре были применены и к внутреннему управлению каждого государства. Утверждалось, что самые способные граждане могут претендовать на бесконтрольное верховенство на основании титула, более древнего, чем любая социальная фикция. Правила права означали не что иное, как постоянный заговор слабых с целью вывести себя из-под законного господства своего прирожденного хозяина и заставить его добровольно отказаться от своих естественных привилегий. Сентименты, имеющие поверхностное сходство с этими, время от времени звучат и среди нас. Тем не менее, было бы несправедливо сравнивать Карлайла и мистера Фруда с Критием и Калликлесом. Мы считаем, что их предпочтение деспотизма представительному правительству является полной ошибкой. Но мы знаем, что для них, как и для нас, благо управляемых - единственная желанная цель. Афинские джентльмены стремились к верховной власти только как к средству беспрепятственного удовлетворения своих худших страстей; и ради этого они были готовы вступить в союз с любым иностранным

врагом или льстить капризам Демона, если эта политика обещала дать одинаково хороший ответ. Антиобщественные теории этих "молодых львов", как их называли враги, а иногда и они сами, похоже, не были поддержаны ни одним общественным учителем. Если верить Платону, сицилийский ритор Полюз действительно относился к Архелаю, более умному Луи-Наполеону своего времени, с симпатией и завистливым восхищением, но не пытался оправдать преступления своего героя апелляцией к естественному праву. Разращение теоретической морали среди платных учителей приняло более тонкую форму. Вместо того чтобы противопоставлять один принцип другому, они утверждали, что все законы имеют один и тот же источник, являясь эманацией воли более сильного и направленными исключительно на удовлетворение его интересов. Справедливость, по словам Фрасимаха в "Республике", есть благо другого, что достаточно верно, и практиковать ее иначе как по принуждению - глупость, которая, что бы ни говорил Грот, является грубо аморальной доктриной.

V.

Мы видели, как идея природы, впервые разработанная физической философией, была взята некоторыми, по крайней мере, софистами, в качестве основы для их этического учения; затем, как практические люди дали ей совершенно противоположное толкование, и как это второе толкование было настолько обобщено молодыми риториками, что стало означать отрицание всякой морали. Тем временем другая, не менее важная концепция, которой суждено было вступить в быстрый и длительный антагонизм с идеей природы и, подобно ей, оказать мощное влияние на этические размышления, почти одновременно разрабатывалась из материалов, которые поставляли более ранние спекуляции. Начиная с Парменида и Гераклита, каждый философ, выдвинувший теорию мира, более или менее решительно настаивал на том, что его теория сильно отличается от общепринятых представлений. Те, кто считал, что изменения невозможны, и те, кто учил, что все непрерывно меняется; те, кто утверждал неразрушимость материи, и те, кто отрицал ее непрерывность; те, кто лишал объективной реальности все качества, кроме протяженности и сопротивления, и те, кто утверждал, что мельчайшие молекулы в большей или меньшей степени обладают всеми признаками, открывающимися чувству, - все они, как бы сильно они ни расходились между собой, сходились в том, что принятые человечеством мнения были абсолютным заблуждением. Таким образом, было проведено резкое различие между обманчивыми ощущениями и объективной реальностью, в которую может проникнуть только мысль. Именно из сочетания этих двух элементов, ощущений и мысли, первоначально и возникла идея разума. И разум при таком понимании не мог быть объяснен ни одной из материалистических гипотез, предложенных вначале. Чувства должны глубоко отличаться от того, о чем они дают столь неверный отчет; а разум, который Анаксагор так тщательно отделял от всех других форм существования, перенес свое отличие в субъективную сферу и облекся новой духовностью, когда вновь вошел в сознание человека.

Первым результатом этого разделения человека и мира стал полный разрыв со старой физической философией, проявившийся, с одной стороны, в отказе от спекулятивных исследований, с другой - в замене условностей на природу в качестве признанного стандарта права. К обоим последствиям пришел Протагор, самый выдающийся из софистов. Теперь нам предстоит более подробно рассмотреть, какова была его роль в великой драме, о которой мы пытаемся дать вразумительный отчет.

Протагор родился около 480 г. до н. э. Он был односельчанином Демокрита и, хотя и не без оснований, считался учеником этого выдающегося мыслителя. По всей видимости, именно изучение Гераклита наиболее решительно определило его философские взгляды, в той

мере, в какой они были заимствованы у других. В любом случае, главным занятием его жизни была практика, а не теория. Он давал платные уроки по высшим отраслям гуманитарного образования и принял имя софиста, которое раньше означало просто мудрец, как почетный титул для своего нового призвания. Протагор был очень популярным учителем. Весть о его прибытии в незнакомый город вызвала огромный энтузиазм, и за ним из одного места в другое следовала группа жаждущих учеников. В Афинах он был удостоен дружбы таких людей, как Перикл и Еврипид. Именно в доме великого трагического поэта он зачитал работу, начинающуюся со зловещего заявления: "Я не могу сказать, существуют ли боги или нет; жизнь слишком коротка для таких сложных исследований".⁶⁶ Афинский фанатизм сразу же встревожился. Книга, содержащая это откровенное признание в агностицизме, была публично сожжена, а все покупатели были вынуждены отдать имеющиеся у них экземпляры. Сам автор был либо изгнан, либо бежал и погиб в результате кораблекрушения на пути в Сицилию, не дожив до семидесяти лет.

Скептицизм Протагора выходил за рамки теологии и распространялся на все науки. Такова, по крайней мере, сила его знаменитого заявления о том, что "человек есть мера всех вещей, как в отношении их существования, так и в отношении их несуществования".⁶⁷ Согласно Платону, эта доктрина вытекала из отождествления знания с чувственным восприятием, которое, в свою очередь, было основано на модифицированной форме гераклитовской теории вечного потока. Ряд внешних изменений, составляющих природу, воздействуя на ряд внутренних изменений, составляющих личность каждого человека, порождает особые ощущения, и только они являются истинной реальностью. Они меняются при каждом изменении факторов, и поэтому не являются одинаковыми для отдельных индивидуумов. Восприятия каждого человека истинны для него самого, но только для него самого. Платон легко показывает, что такая теория истины расходится с обычным мнением, и что если все мнения истинны, то она обязательно должна быть самоосуждена. Можно также заметить, что если ничего нельзя знать, кроме ощущений, то ничего нельзя знать и об их условиях. Однако было бы несправедливо обвинять Протагора в том, что он говорит глупости, опираясь на ничем не подкрепленный авторитет "Теэтета". Сам Платон предполагает, что инкриминируемое учение можно было бы лучше обосновать, если бы его автора выслушали в порядке самозащиты. Можно предположить, что Протагор не очень точно различал существование, знание и применимость к практике. Если мы предположим, а для этого есть все основания, что в великом споре между природой и законом Протагор встал на сторону последнего, его позиция сразу же станет ясной. Когда поборники природы приписывали ей стабильность и авторитет, превосходящие те, на которые могут претендовать чисто человеческие механизмы, было разумным шагом перенести войну на их территорию и спросить, на каком же основании стоит сама природа? Разве она тоже не вечно меняется, и разве мы не знакомимся с ней исключительно благодаря нашим собственным чувствам? Разве не эти чувства должны быть приняты за окончательный стандарт во всех вопросах добра и зла? Индивидуальное мнение - это факт, с которым необходимо считаться, но который можно изменить убеждением, а не апелляцией к чему-то, о чем никто из нас ничего не знает. *Человек* - мера всех вещей, а не воля богов, само существование которых неопределенно, и не чисто гипотетическое состояние Природы. Человеческие интересы должны превалировать над всеми другими соображениями. Гектор не имел в виду ничего другого, когда предпочел очевидные веления патриотизма умозаключениям, сделанным на основе полета птиц.

Теперь мы понимаем, почему Протагор в платоновском диалоге, носящем его имя, презрительно смотрит на метод обучения, которого придерживается Гиппиас с его лекциями по астрономии, и почему он предпочитает обсуждать непонятные отрывки из поэтов. Спор

между классическим и научным образованием только начинался, и Протагор, как гуманист, встал на сторону классиков. Опять же, он не слишком высокого мнения о "великой, разумной и благородной расе животных". Он не хотел бы, подобно киникам, брать их за образец поведения. Человек, говорит он, по природе своей обеспечен хуже любого животного; даже божественный дар мудрости не спасет его от вымирания без бесценных социальных добродетелей - справедливости и благоговения, то есть уважения к общественному мнению, которое мистер Дарвин тоже представлял как самую сильную морализирующую силу в первобытном обществе. И как обладание этими качествами составляло фундаментальное различие между людьми и животными, так и преимущество цивилизации над варварством основывалось на их превосходном развитии - развитии, обусловленном этическим воспитанием каждого гражданина с самого раннего младенчества, усиленным в течение всей последующей жизни более суровым исправлением законных наказаний и завершенным устранением всех индивидов, явно непригодных для жизни в общественном государстве. Протагор не симпатизировал тем, кто предпочитает простоту дикарей надуманной испорченности цивилизации. Послушайте, как он отвечает Русею и Дидроту своего времени: - "Я хотел бы, чтобы вы считали, что он - дикарь.

"Я хотел бы, чтобы вы подумали, что тот, кто кажется вам худшим из тех, кто воспитан в законах и гуманитарных науках, окажется справедливым человеком и мастером правосудия, если его сравнить с людьми, у которых не было ни образования, ни судов, ни законов, ни каких-либо ограничений, принуждающих их к добродетели - с дикарями, например, которых поэт Ферекрат выставил на сцене на прошлогоднем Ленеевском фестивале. Если бы вы жили среди людей, подобных человеконенавистникам из его хора, вы были бы только рады встретиться с Эврибатом и Фринондасом, и вам бы с горечью захотелось вернуться к безрассудству этой части мира" [68](#).

Эту же теорию воспроизводит и подтверждает весомыми иллюстрациями великий историк той эпохи. Неизвестно, обязан ли Фукидид какой-либо частью своей культуры Протагору, но введение к его истории дышит тем же духом, что и только что приведенные нами наблюдения. Он тоже характеризует античность как сцену варварства, изоляции и незаконного насилия, особенно отмечая, что пиратство тогда не считалось позорной профессией. Он указывает на племена за пределами Греции, а также на самых отсталых греков, как на представителей низкого состояния, из которого Афины и родственные им государства вышли только в сравнительно недавнее время. А в погребальной речи, которую он вкладывает в уста Перикла, легендарная слава Афин обходится без малейших [упоминаний](#) [69](#), в то время как исключительное внимание уделяется ее гордому положению интеллектуального центра Греции. Очевидно, со времен Геродота в представлениях людей произошли радикальные перемены. Они учились презирать мифическую славу своих предков, возвеличивать настоящее за счет прошлого, концентрировать свое внимание исключительно на насущных человеческих интересах и, возможно, предвидеть приход более высокой цивилизации, чем та, которую еще не видели.

Эволюция греческой трагической поэзии свидетельствует о той же трансформации вкуса. При сравнении Софокла с Эсхилом нас поражает изменение тона, аналогичное тому, которое отличает Фукидида от Геродота. В нашей первой главе было показано, как старший драматург любит проследивать события и институты до их первоисточков и проследивать их развитие по ступеням генеалогической последовательности. Софокл же ограничивается тщательным анализом непосредственно изображаемого действия, мотивов, которыми

руководствуются его герои, и аргументов, с помощью которых их поведение оправдывается или осуждается. Мы уже касались совершенно разного отношения к религии у этих двух великих поэтов. Остается добавить, что если Эсхил наполняет свои драмы сверхъестественными существами и часто ограничивает своих смертных актеров толкованием или исполнением божественного повеления, то Софокл, представляющий дух греческого гуманизма, лишь однажды выводит на сцену бога и останавливается исключительно на эмоциях гордости, честолюбия, мести, ужаса, жалости и привязанности, которыми руководствуются мужчины и женщины возвышенного типа. Опять же (и это одно из его поэтических превосходств), Эсхил обладает открытым чувством внешнего мира; его воображение простирается далеко и широко от земли к земле; его страницы наполнены огнем и светом, музыкой и движением природы в южной стране. Он ведет перед нами в великолепном шествии звездную ночь; ярких властителей, сменяющих друг друга зимой и летом; ослепительный солнечный свет; вилообразные вспышки молний; раскаты грома; белокрылые снежные хлопья; дождь, падающий на жаждущие цветы; море, то зыблущееся от бесконечного смеха, то стонущее на галечнике, охрипшее от жестоких ударов, с восточными волнами, бьющимися о вновь восходящее солнце, или, опять же, убаюканное безвольной, безветренной, полуденной дремой; вулкан с его залпами огнедышащих брызг и свирепой пастью пожирающей лавы; вихри пыли; неудержимый горный поток; луговые росы; цветы весны и плоды лета; вечнозеленая олива и деревья, дающие лиственный приют от зноя собачьих звезд. На весь этот мир чудес и красоты Софокл предлагает лишь несколько скупых намеков на явления, представляемые солнечным светом и бурей. Ни один поэт не концентрировал так полно свое внимание на человеческих поступках и страстях. Только Колонийская роща, переплетенная с его собственными ранними воспоминаниями, способна вызвать у него в глубокой старости песню, подобную той, которую мог бы запеть соловей в тех неприкосновенных уголках, где плющ и лавр, виноградная лоза и олива давали неизменное убежище от солнца и ветра. Но даже это лиственное укрытие - лишь образ собственного воображения поэта, не потревоженного внешними влияниями, самозабвенного, самозащищенного и самодостаточного. Конечно, мы лишь повторяем на другом языке то, что давно известно: эпический элемент поэзии, прежде столь заметный, был у Софокла полностью вытеснен драматическим; но если Софокл стал величайшим драматургом древности, то именно потому, что ни один другой писатель не мог, подобно ему, создать катастрофу исключительно благодаря действию разума на разум, без какого-либо вмешательства физической силы; И если он обладал этой способностью, то лишь потому, что греческая мысль в целом была обращена внутрь; потому что он разделял преданность психологическим исследованиям, примером которой в равной степени служили его младшие современники, Протагор, Фукидид и Сократ, все из которых могли бы взять своим девизом благородные строки

"На земле нет ничего великого, кроме человека,

В человеке нет ничего великого, кроме разума".

Мы уже говорили, что Протагор был сторонником номоса, или конвенции, против природы. Это была консервативная сторона его характера. Тем не менее, номос не был для него тем, чем он был для древних греков, - неизменной традицией, неотличимой от физического закона. Он был творением человека и представлял собой результат унаследованного опыта, всегда допускающий изменения к лучшему. Отсюда то огромное значение, которое он придавал образованию. Это, несомненно, было превознесением его собственной должности, ведь обучение молодежи было его профессией. Но, несомненно, чувства его более либеральных современников были с ним заодно. За поколение до него Пиндар

презрительно отзывался об интеллектуальной культуре как о тщетной попытке компенсировать отсутствие гениальности, которую могли дать только боги. Однако сам Пиндар всегда не забывал об услугах, которые профессиональные тренеры оказывали победоносным атлетам, чьи дифирамбы он воспевал, и на самом деле не было причин, почему гений и культура должны быть навсегда разделены. Фемистокл мог принять решение по поставленным перед ним вопросам на скорую руку; Перикл, имеющий дело с гораздо более сложными интересами, уже нуждался в более тщательной подготовке.

С другой стороны, консерваторы вроде Аристофана продолжали с яростным рвением выступать против распространения образования. Некоторые из их аргументов имеют до боли знакомое звучание. Интеллектуальные занятия, говорили они, вредны для здоровья, ведут к безрелигиозности и безнравственности, делают молодых людей совсем не похожими на своих дедов и так или иначе связаны со свободными компаниями и разгульной жизнью. Последнее утверждение в одном отношении было прямо противоположным. Если говорить о личной нравственности, то для нее не было ничего лучше, чем введенный Протагором переход от любительского к платному преподаванию. До этого времени греческий юноша, желавший получить что-то лучшее, чем элементарное обучение в школе, мог лишь привязаться к какому-нибудь более старшему и мудрому другу, беседа с которым могла быть очень полезной, но который наверняка вносил в их отношения сентиментальный элемент, в равной степени дискредитирующий [обоих](#)⁷⁰. Подобная опасность всегда существовала в отношении высокоинтеллектуальных женщин, хотя, возможно, она угрожала меньшему числу людей; и те усилия, которые сейчас предпринимаются для того, чтобы дать им систематическое образование под официальным руководством, случайно спасут наших будущих Элоиз и Жюли от обучения у Абеяра или Сен-Пре.

Именно их привычка преподавать риторику как искусство подняла самую яростную бурю негодования против Протагора и его коллег. Стремление выработать правила обращения к трибуналу или народному собранию таким образом, чтобы наилучшим образом завоевать их одобрение, возникло совершенно независимо от какой-либо философской теории. При восстановлении порядка, то есть народного правления, на Сицилии возникло множество судебных тяжб, связанных с событиями, произошедшими много лет назад, а из-за прошедшего времени наглядные доказательства были недоступны. Поэтому обе стороны прибегали к аргументам, обладающим большей или меньшей степенью вероятности. Искусство приводить такие вероятные умозаключения, чтобы убедить, требовало большого технического мастерства, и два сицилийца, Коракс и Тизиас, написали трактаты на эту тему. Судя по всему, новорожденное искусство было подхвачено Протагором и развито в направлении увеличения диалектической тонкости. Нам сообщают, что он пытался заставить худшее казаться лучшим; и очень скоро это стало считаться достижением, которому обучались все философы, и Сократ в том числе. Но если Протагор имел в виду, что он просто учит искусству рассуждать, то вряд ли можно представить, как он мог выразить себя иначе, в соответствии с антитетическим стилем своей эпохи. Проще сказать, что аргументация укрепляется умением правильно ее аргументировать. Не было показано, что протагоровская диалектика предоставляла исключительные возможности для поддержания несправедливых притязаний. Однако, взятая в сочетании с гуманистическим учением, она имела тревожную и скептическую тенденцию. Вся вера и вся практика покоились на законе, а закон был результатом конвенции, заключенной между людьми, и в конечном счете порожден индивидуальным убеждением. То, что сделал один человек, другой мог отменить. Религиозная традиция и естественное право, единственные внешние стандарты, уже исчезли. Оставался критерий самосогласованности, и против него была направлена вся тонкость новой диалектики. Триумф эристики заключался в том, чтобы показать, что

говорящий противоречит сам себе, как бы ни были сформулированы его высказывания. Более того, теперь, когда ссылка на объективную реальность была запрещена, слова были поставлены на место вещей и рассматривались как конкретные реалии. Следующим шагом было вырвать их из грамматической конструкции, где только они и обладали истиной или смыслом, причем каждому из них одновременно приписывались все те функции, которые в любой момент можно было заставить его выполнять. Например, если человек знал что-то одно, он знал все, потому что обладал знанием, а знание - это знание всего, что можно познать. Многое, что кажется нам утомительным или излишним в изложениях Аристотеля, было призвано защитить от этого бесконечного пустословия. Наконец, само отрицание было устранено вместе с возможностью ложности и противоречия. Ведь утверждалось, что "ничто" не имеет бытия и не может быть объектом [мысли](#)⁷¹.

VI.

От полного замешательства до крайнего нигилизма был всего один шаг. Этот шаг сделал Горгий, сицилийский ритор, который относился к западной Элладе и элеатской школе так же, как Протагор - к восточной Элладе и философии Гераклита. Он, как и его выдающийся современник, выступал против мыслителей, которых, заимствуя полезный термин из номенклатуры прошлого века, мы можем назвать греческими физиократами. Чтобы опровергнуть их, он написал книгу с многозначительным названием "О природе или ничто": утверждая, во-первых, что ничего не существует; во-вторых, что если что-то и существует, мы не можем этого знать; в-третьих, что если мы это знаем, то нет никакой возможности передать наше знание другим. Первый тезис был установлен путем продвижения элеатских аргументов против движения и изменения немного дальше; второй - путем доказательства того, что мысль и существование различны, иначе все, о чем думают, существовало бы; третий - путем установления аналогичной несоизмеримости между словами и ощущениями. Гроте попытался показать, что Горгий всего лишь утверждал против существования нумена, лежащего в основе явлений, как это отрицают все идеалисты. Целлер, однако, убедительно доказал, что Горгий, как и все другие мыслители до Платона, не знал об этом [различии](#)⁷²; и мы можем добавить, что это оставило бы второй и третий тезисы абсолютно неповрежденными. Мы должны рассматривать все вместе как объявление войны против науки, утверждение, выражаясь еще более сильным языком, агностицизма, которому учил Протагор. Дело в том, что греческий спорщик обычно чрезмерно доказывал свою правоту и, чтобы одолеть противника, сносил весь дом, даже рискуя сам оказаться погребенным под развалинами. Современный рассуждающий, взяв пример с Горгия, не доводя дело до такой крайности, мог бы вести свою атаку по линиям, параллельным тем, которые изложил сицилийский софист. Он начал бы с отрицания существования "состояния природы"; ведь такое состояние должно быть либо переменным, либо постоянным. Если оно постоянно, то как могла возникнуть цивилизация? Если оно изменчиво, то что тогда делать с фиксированным стандартом, к которому апеллируют? И опять же, если предположить, что такое состояние когда-либо существовало, то как достоверная информация о нем могла дойти до нас через века коррупции, которые, как предполагается, имели место? И, наконец, если допустить, что состояние природы, доступное исследованию, когда-либо существовало, то как мы можем реорганизовать общество на основе таких противоречивых данных, как представленные нам физиократами, ни один из которых не согласен в отношении первых принципов естественного порядка; один говорит, что это равенство, другой - аристократия, а третий - деспотизм? Мы не утверждаем, что эти аргументы убедительны, мы лишь хотим сказать, что применительно к современной мысли они весьма справедливо представляют собой диалектическую артиллерию, пущенную в ход греческим гуманизмом против своих натуралистических оппонентов.

Мы видели, как Продик и Гиппиас исповедовали преподавание всех наук, всей литературы и всех добродетельных достижений. Мы видели, как Протагор отвергал все виды знаний, не связанных с социальной культурой. Теперь мы видим, что Горгий пошел еще дальше. По крайней мере, в последние годы своей жизни он заявляет, что не будет учить ничему, кроме риторики или искусства убеждения. Мы говорим "в поздние годы", потому что одно время он, кажется, преподавал также этику и психологию.⁷³ Но Горгиас из знаменитого диалога Платона ограничивает себя способностью убеждать словом на все возможные темы, даже на те, о которых он ничего не знает. Где бы ритор ни вступал в соревнование с профессионалом, он победит его на его собственной почве и будет предпочтен ему на любой государственной должности. Этот тип ни в коем случае не вымер, а процветает среди нас, как зеленое лавровое дерево. Подобно Пенденнису, писатель такого рода будет рецензировать любую книгу с высоты превосходных знаний, приобретенных в результате двухчасового чтения в Британском музее; или, если он достаточно ловок, обойдется даже без этой незначительной подготовки. Ему даже не нужно утруждать себя чтением книги, которую он критикует. Поверхностное знакомство с журнальными статьями позволит ему выносить суждения обо всей жизни, всей религии и всей философии. Но именно в политике его ждет лучшая карьера. Он поднимается к власти, нападая на меры настоящих государственных деятелей, и остается там, принимая их. Он становится канцлером казначейства благодаря грубым экономическим просчетам, а премьер-министром - благодаря счастливой смеси эпиграмм и низкопоклонства.

В старых Афинах риторика обладала еще большей властью, чем в современной Англии. Владение риторикой не только позволяло получить государственную службу, но и, поскольку каждому гражданину по закону разрешалось выступать перед собравшимися соотечественниками и предлагать меры для их принятия, она становилась прямым пропуском к верховной политической власти. Но и это еще не все. В Афинах не разрешалось нанимать профессиональных адвокатов, и преследовать противника под самыми легкомысленными предлогами было легко. Если подсудимый оказывался богатым, а осуждение влекло за собой потерю имущества, присяжные были настроены против него: конфискация рассматривалась как удобный ресурс для пополнения государственной казны. Таким образом, обладание риторическими способностями становилось грозным оружием в руках недобросовестных граждан, которые могли вымогать большие суммы одной лишь угрозой предать богатых людей суду за какое-либо реальное или мнимое преступление. Это систематическое использование риторики в целях самовозвеличивания имело такое же отношение к учению Протагора и Горгия, как открытый и насильственный захват верховной власти на основании естественного превосходства к теориям их противников, будучи способом применения практическими людьми принципа, согласно которому истина определяется убеждением. Кроме того, он был сопряжен с гораздо меньшей опасностью, чем откровенная апелляция к праву сильного, по крайней мере, для аристократической партии. Ведь они получили урок, который нелегко забыть после падения олигархий, установленных в 411 и 404 годах; а вторая катастрофа особенно наглядно доказала, что в Афинах невозможно ничего, кроме народного правительства. Поэтому вельможи занялись изучением новых методов достижения своей конечной цели, которой всегда было обладание бесконтрольной властью над жизнью и судьбой своих сограждан. При наличии богатства, позволявшего приобретать уроки у софистов, досуга, позволявшего заниматься ораторским искусством, и способностей, часто сопутствовавших высокому происхождению, не было причин, по которым преемники Чармиджа и Крития не могли бы наслаждаться всеми удовольствиями тирании, не сопровождавшимися ее недостатками. Здесь снова напрашивается параллель между Древней Грецией и современной Европой. На континенте, где теории естественного права гораздо более распространены, чем у нас, справедливость

попирается грубой силой: единственная цель каждого честолюбивого интригана - завладеть военной машиной, его единственный ужас, что более сильный человек может преуспеть в борьбе с ним; в Англии политический авантюрист смотрит на риторику как на свой единственный ресурс и на вершине власти должен бояться града эпиграмматических инвектив, направленных против него более сильными или молодыми соперниками.⁷⁴

Помимо влияния на формирование и направление политического красноречия, доктрина, исповедуемая Протагором, оказала далеко идущее воздействие на последующее развитие мысли. Как кинизм развился из теории Гиппия, так и учение, отрицавшее природу и сосредоточившее все изучение на субъективных явлениях, с тенденцией к индивидуалистической замкнутости, привело к системе Аристиппа. Основателя киренейской школы Аристотель называет софистом, и в справедливости этого названия сомневаться не приходится. Он, правда, был другом и соратником Сократа, но интеллектуально он более близок к Протагору. Аристипп отвергал физические науки, сводил все знания к осознанию собственных ощущений и делал немедленное удовлетворение целью жизни. Протагор мог бы возразить против последнего принципа, но он был лишь продолжением его собственных взглядов, поскольку вся история доказывает, что гедонизм постоянно связан с сенсуализмом. Теория о том, что знание строится на основе чувств, имеет факультативное сходство с теорией о том, что действия определяются или должны определяться в последнюю очередь наиболее яркими чувствами, которыми являются удовольствие и боль. С тех пор обе теории укрепились благодаря введению в каждую из них нового, более идеального элемента. Мы убедились, что знание формируется не одними ощущениями, а ощущениями, сгруппированными в соответствии с определенными законами, которые, по-видимому, неотделимы от существования любого сознания. И точно так же мы научились принимать во внимание не только сиюминутные удовольствия индивида, но и счастье всей его жизни, и не только его, но и всего сообщества, к которому он принадлежит. Тем не менее, в обоих случаях справедливо считается, что элемент чувства преобладает, и доктрины таких мыслителей, как Дж. С. Милль, можно с полным основанием отнести через Эпикура и Аристиппа к Протагору как первоисточнику.

Несмотря на важность этого импульса, он не отражает всего влияния, оказанного Протагором на философию. Его эристический метод был подхвачен мегарской школой, сначала в сочетании с другими элементами, заимствованными у Парменида и Сократа, но в конце концов вычленен из них и использован в качестве критического растворителя всякого догматизма поздними скептиками. Из их трудов, после долгого периода вынужденного молчания, она перешла к Монтеню, Бейлю, Юму и Канту, с какими сомнительными последствиями для принятых мнений, здесь не нужно уточнять. Наша цель - просто проиллюстрировать преемственность мысли и мощное влияние, оказанное Древней Грецией на ее последующее развитие.

Все разнообразие мнений софистов сводится, в конечном счете, к их фундаментальному антитезису между природой и законом, причем последний несколько двусмысленно понимается его сторонниками как человеческий разум или человеческая воля, или, в более общем случае, как оба вместе, объединяющиеся для утверждения своей независимости и освобождения от внешнего авторитета. Эта антитеза была предвосхищена в различии между хтоническими и олимпийскими божествами. Продолжая впоследствии вдохновлять соперничество враждующих школ, киников против киренаиков, стоиков против эпикурейцев, скептиков против догматиков, она была частично преодолена посредническими схемами Сократа и его преемников. Затем пришел католицизм, одинаково

противный притязаниям любой из сторон, и удерживал их своим удушающим давлением более тысячи лет.

Natur und Geist, so spricht man nicht zu Christen,

Darum verbrennt man Atheisten;

Natur ist Sünde, Geist ist Teufel.

И то, и другое медленно возвращалось в сознание в судорожных грезах средневекового сна. Природа была представлена астрологией с ее фаталистическим предопределением событий; идеализм - алхимическими преданиями, которые должны были дать их обладателю вечную молодость и неисчерпаемое богатство. С полным возрождением классической литературы и временной нейтрализацией теологии внутренними разногласиями обе они вновь ожили и породили великое искусство шестнадцатого века, великую науку и философию семнадцатого. Позже, осознав себя, они разделяются, и их сторонники разбиваются на две враждующие армии: Руссо против Вольтера, Гердер против Канта, Гете против Шиллера, Юм против самого себя. Вместе они совершают Революцию; но, пройдя рука об руку до разрушения всех существующих институтов, они снова расходятся и, надев на себя причуды мертвой веры, противостоят друг другу, каждый со своим ритуалом, своими аколитами, своей нетерпимостью, с праздниками Природы и богинями Разума, во взаимной и убийственной вражде. Когда буря утихла, были проложены новые линии разграничения, и дело политической свободы было отделено от, казалось бы, полностью дискредитировавших себя фигм. Тем не менее, образная литература все еще хранит следы старого конфликта, и, рассмотрев четырех величайших английских романистов последних пятидесяти лет, мы обнаружим, что Диккенс и Шарлотта Бронте, хотя лично они совершенно не похожи, сходятся в изображении произвольной, субъективной, идеальной стороны жизни, подчинении вещей себе, а не себя вещам; он преображает их в свете юмора, фантазии, чувств; она преображает их алхимией внутренней страсти; В то время как Теккереи и Джордж Элиот представляют триумф природных сил над мятежными индивидуальностями; один писатель изображает зачастую грубую реальность, противоречащую условностям и самомнению, а другой, обладая если не внутренне большим гением, то, по крайней мере, более высокой философской культурой, раскрывает нам первобытные потребности существования, безжалостные соответствия обстоятельств, перед которыми эгоизм, невежество, иллюзии и нерешительность должны склониться или быть разбитыми вдребезги, если они сопротивляются.

VII.

Теперь перед нашими читателями предстало все самое важное, что известно о софистах, и еще кое-что, что не известно наверняка, но, как нам кажется, может быть обоснованно предположено. Если взять весь класс вместе, то они представляют собой сочетание трех различных тенденций: стремление обеспечить энциклопедическую подготовку молодежи, культивирование политической риторики как особого искусства и поиск научного фундамента для этики, полученного из результатов предшествующей философии. Что касается последнего пункта, то они сходятся в проведении фундаментального различия между природой и законом, но одни берут за основу одно, а другие другое. Сторонники природы склоняются на сторону более всестороннего образования, в то время как их оппоненты все больше и больше делают упор исключительно на ораторское мастерство. Обе школы в конце концов оказываются заражены моральным разложением современности: естественное право отождествляется с интересами более сильного, а гуманизм приводит к

отрицанию объективной реальности, подмене знания иллюзией и смешению сиюминутного удовольствия с моральным благом. Диалектическая привычка рассматривать каждый вопрос в противоречивых аспектах вырождается в эристическую борьбу за приз и сознательное игнорирование условий, которые только и делают возможным спор. Наконец, составные элементы софистики цизма отделяются друг от друга и либо развиваются отдельно, либо переходят в новые комбинации. Риторика, помимо спекуляций, поглощает все время и талант Исократы; общая культура прививается профессорским сословием без оригинальности, но и без упрека; натурализм и чувственный идеализм доводятся до систематического завершения ради одного лишь философского интереса; а название софистики Аристотель по несчастью прикрепил к платным выставкам словесных перепалок, к которым великие софисты отнеслись бы с негодованием и отвращением.

Нам остается взглянуть на споры, которые долгое время велись относительно истинного положения софистов в греческой жизни и мысли. Мы уже упоминали о далеко не благоприятном суждении, которое вынесли о них некоторые современники. Сократ сурово осудил их,⁷⁴ но только потому, что они получали плату за свои уроки; и это мнение, вероятно, разделяли многие, кто не обладал ни его бескорыстием, ни его бережливостью. Получение прибыли от интеллектуального труда не было чем-то необычным в Греции. Фидий продавал свои статуи, Пиндар всю жизнь писал за деньги, Симонида и Софокла обвиняли в том, что они проявляют слишком большое рвение в погоне за выгодой.⁷⁵ Но беседа человека с друзьями всегда была безвозмездной, и новая идея взимать за нее высокую плату вызвала немалое возмущение. Сократ назвал это проституцией - продажей того, что должно быть бесплатным даром любви, не учитывая, вероятно, в достаточной степени, что та же привилегия раньше покупалась более бесчестной ценой. Он также считал, что свободный человек деградирует, отдавая себя в распоряжение другого, хотя, судя по всему, софисты сами выбирали время для чтения лекций и были не большими рабами, чем скульптор или поэт, получивший заказ на исполнение. Также утверждалось, что тот, кто действительно преуспел в улучшении сообщества, настолько выиграл от результата, что несправедливо с его стороны требовать какого-либо дополнительного вознаграждения. Предположим, что популярный проповедник приехал из Нью-Йорка в Англию, колесил по главным городам, назначая высокую цену за вход на свои проповеди, и, наконец, вернулся домой, обладая огромным состоянием, мы можем себе представить, что сарказм по поводу такого выгодного благочестия был бы не лишним. Этот гипотетический случай поможет нам понять, как многие честные афиняне, должно быть, относились к показушным колониальным чужакам, которые делали такой прибыльный бизнес на обучении умеренности и справедливости. Платон, выступая от имени своего хозяина, но не с его точки зрения, выдвинул совершенно иное возражение. Он не видел причин, по которым софисты не могли бы продавать свою мудрость, если бы у них была мудрость, которую можно продать. Но именно это он и отрицал. Он подверг их притязания тщательному перекрестному допросу и, как он считал, осудил их как никчемных притворщиков. В этом методе была определенная несправедливость, поскольку ни его собственное позитивное учение, ни учение Сократа не выдержали бы подобной проверки, как быстро продемонстрировал Аристотель в следующем поколении. В сущности, он лишь делал для Протагора и Горгия то, что они сделали для ранних греческих спекуляций, и то, что каждая школа обычно делает для своих предшественников. Еще только предстояло узнать, что эта растворяющаяся диалектика составляет сам закон философского прогресса. Это открытие было сделано Гегелем, и именно ему софисты обязаны своей реабилитацией в наши дни. В его лекциях по истории философии содержится многое из того, что впоследствии с той же стороны отстаивал Гроте. За пять лет до появления знаменитой шестидесятой седьмой главы Гроте, Льюс также опубликовал работу в защиту софистов, возможно, написанную под влиянием работ Гегеля, к которым он, несомненно, обращался

при подготовке своей истории. Однако есть одно существенное различие: в то время как оба английских критика пытаются свести к минимуму скептическую и новаторскую тенденцию софистов, немецкий философ, напротив, преувеличивает ее. Мы только что отметили, что окончательный распад софизма произошел благодаря отдельному развитию каждой из различных тенденций, которые он временно объединял. Теперь каждый из трех наших апологетов берет одну из этих тенденций и рассматривает ее как составляющую все обсуждаемое движение. Для Гегеля софисты - это, прежде всего, субъективные идеалисты. Для Льюиса они - риторы, подобные Исократу. Для Грота они те, кем на самом деле были софисты Римской империи, - учителя, представляющие стандартные мнения своей эпохи. И Льюис, и Грот особенно стремятся доказать, что первоначальные софисты не развратили греческую мораль. Современная немецкая критика признает, что это не больше, чем было замечено Платоном давным-давно. Далее Грот утверждает, что подразумеваемое разложение нравов - иллюзия, и что в конце Пелопоннесской войны афиняне были не хуже своих предков, сражавшихся при Марафоне. Его мнение разделяет такой опытный ученый, как профессор [Джоуэтт](#)⁷⁶; но здесь против него выступает совокупный авторитет Фукидида, Аристофана и Платона. Однако мы уже рассмотрели этот вопрос, и нам нет необходимости к нему возвращаться. Можно ли доказать, что кто-то из софистов преподавал аморальные доктрины, - еще один спорный вопрос. Грот защищает их всех, включая Полуса и Фрасимаха. Здесь мы также выразили свое несогласие с выдающимся историком, который, как мы можем предположить, упустил весь смысл аргументации Платона. Льюис занимает другую позицию, когда обвиняет Платона в том, что он неверно представляет своих оппонентов. Действительно, софисты не могут быть заслушаны в порядке самозащиты, но в обвинениях, выдвинутых против них, нет никакой внутренней неправдоподобности. Греческих риториков не обвиняют в том, что они сказали что-то такое, что не было сказано снова и снова их современными представителями. Должен ли одиоз подобный настроений распространяться на весь класс софистов - совсем другой вопрос. Грот отрицает, что они придерживались какой-либо общей доктрины. Немецкие критики, напротив, настаивают на рассмотрении их как школы с общими принципами и тенденциями. Брандис называет их "несколькими людьми, действительно одаренными, но не стремящимися к знаниям ради них самих, которые занимались обучением как средством достижения внешних и эгоистических целей и подменяли настоящую науку простым техническим мастерством"⁷⁷. Не совсем понятно, каким внешним или корыстным целям служила физическая философия, которую преподавали Продик и Гиппий, и почему всеобъемлющие исследования Протагора об условиях цивилизации и границах человеческого познания должны быть презрительно отвергнуты из-за того, что он сделал их основой своей почетной профессии. Целлер в том же духе определяет софиста как того, кто исповедует себя учителем мудрости, в то время как его целью является индивидуальная культура (*die formelle und praktische Bildung des Subjekts*), а не научное исследование истины.⁷⁸ Мы не знаем, удовлетворило ли Грота объяснение, которое потребовало бы лишь незначительного изменения его собственных утверждений для точного соответствия с ними. Оно должно было вполне удовлетворить Льюиса. Для себя мы должны признать, что нас очень мало интересует, софисты исследовали истину ради нее самой или как средство самосовершенствования. Мы считаем, и в следующей главе надеемся показать, что Сократ, во всяком случае, не рассматривал знание в отрыве от практики как самоцель. Но история философии не занимается такими тонкостями, как эти. Мы утверждаем, что стоическая, эпикурейская и скептическая школы могут быть прослежены через Антисфена и Аристиппа к Гиппиасу и Протагору гораздо более непосредственно, чем к Сократу. Если Целлер согласится с этим, то он больше не сможет рассматривать софизм как простой растворитель старой физической философии. Если же он это отрицает, то нам остается только апеллировать к его собственной истории, которая

здесь, как и в наших дискуссиях о ранней греческой мысли, оказалась более полезной, чем любая другая работа на эту тему. Наши обязательства перед Гротом носят более общий характер. У него мы научились смотреть на софистов без предубеждения. Но нам кажется, что он также недооценивает их далеко идущее интеллектуальное значение, а его защита их моральной ортодоксии кажется, в отношении некоторых представителей этого класса, несовместимой с любой верой в историческую верность Платона. То, что самые выдающиеся софисты ничего не сделали для развращения греческой морали, теперь признается почти всеми. Если нам удастся показать, что они не испортили, а плодотворно развили греческую философию, то цель этого исследования будет в достаточной мере достигнута.

Название этой главы, возможно, обещало нечто большее, чем случайное упоминание мыслителя, в котором греческий гуманизм достиг своего самого высокого и чистого выражения. Но в истории, не менее чем в жизни, Сократ должен всегда стоять отдельно от софистов. Помимо всех особенностей преподавания, трансцендентное достоинство персонажа, олицетворявшего саму философию, требует отдельного рассмотрения. Читатели, которые следили за нами до сих пор, возможно, почувствуют интерес к попытке пролить новый свет на того, кто был загадкой для своих современников и остался загадкой для последующих веков.

ГЛАВА III. МЕСТО СОКРАТА В ГРЕЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ.

I.

Если не считать легендарных репутаций, в мировой истории нет имени более знаменитого, чем имя Сократа, а в истории философии - ни одного столь же знаменитого. Единственный мыслитель, который приближается к нему по известности, - это его собственный ученик Платон. Каждый, кто слышал о Греции или Афинах, слышал о нем. Каждый, кто слышал о нем, знает, что он был в высшей степени добрым и великим. Каждое последующее поколение подтверждает дельфийский оракул о том, что не было человека мудрее Сократа. Только он, а также еще один или два человека приблизились к воплощению идеала стоического мудреца. Христиане не считают неуважением сравнивать его с основателем своей религии. Если несколько несогласных голосов и нарушили общее единодушие, то они, сознательно или нет, были вдохновлены сократовским принципом, согласно которому ни одно мнение не должно оставаться бесспорным и недоказанным. Более того, так получилось, что эта удивительная фигура известна даже широкой публике не только по имени, но и по виду. Бюсты, камеи и гравюры познакомили всех с физиономией, похожей на Силенуса, толстыми губами, вздернутым носом и выдающимися глазами, которые произвели столь странное впечатление на воображение расы, которую обвиняют в том, что она не заботилась ни о чем, кроме физической красоты, поскольку справедливо считала ее естественным сопровождением нравственной красоты. Те, кто хочет узнать, что за ум скрывается под этой непривлекательной внешностью, могут легко удовлетворить свое любопытство, ведь Сократ лично известен лучше, чем любой другой персонаж античности. Сам доктор Джонсон не является более знакомой фигурой для изучающего литературу.

Только среди классиков его застольная беседа сохранилась для нас, а искусство написания мемуаров, кажется, было создано специально для него.⁷⁹ Мы можем последовать за ним в любую компанию и проверить его поведение в самых разных обстоятельствах. Он общался со всеми сословиями и на все темы, представляющие человеческий интерес, с ремесленниками, художниками, генералами, государственными деятелями, профессорами и профессиональными красавицами. Мы встречаем его в мастерской оружейника, в мастерской скульптора, в будуарах *деми-монды*, в пиршественных залах усыпанной цветами и вином афинской молодежи, сочетающего в себе самообладание Антисфена с пластическим изяществом Аристиппа; или, в более серьезные моменты, подбадривающего своих товарищей во время катастрофического отступления из Делиума; отстаивая святость закона в качестве председателя собрания перед обезумевшим народом; с непобедимой иронией противостоя олигархическим террористам, державшим в своих руках жизнь и смерть; ратуя не за себя, а за разум и справедливость перед глупым и фанатичным трибуналом; и в последней печальной сцене обмениваясь аттическими любезностями с невольным орудием своей смерти.⁸⁰

Такой характер в любом случае был бы примечателен; он становится необычайно интересным или, скорее, уникальным, если учесть, что Сократ мог быть и делать так много не вопреки тому, что он был философом, а потому, что он был философом, главным, хотя и не единственным зачинателем огромной интеллектуальной революции; тем, кто, как учитель, представлял собой верховенство разума, а как человек сделал разум своим единственным руководством в жизни. Он сразу же открыл новые принципы, популяризировал их на благо других и привел их в пример в своем собственном поведении; но он не добился этих результатов по отдельности; они были лишь различными аспектами одного и того же систематизирующего процесса, который тождественен самой философии. Однако сам успех Сократа в гармонизации жизни и мысли еще больше затрудняет построение полной картины его личности. Разные наблюдатели выбирали из сложной комбинации то, что лучше всего соответствовало их собственным душевным склонностям, вытесняя из поля зрения другие элементы, которые вместе с ним служили для исправления и дополнения. Сама популярность, прикрепившаяся к его имени, служит тому подтверждением; ведь толпа редко может оценить одновременно более одного совершенства, да и то, как правило, высшего порядка. Гегель жалуется, что Сократа сделали святым покровителем морального пустословия.⁸¹ Мы на пятьдесят лет дальше, чем Гегель, от золотого века банальностей; пустословие нашего времени наполовину цинично, наполовину эстетично и совершенно безнравственно; однако нет никаких признаков уменьшения популярности, с которой всегда относились к Сократу. Человек мира, остроумец, *виверр*, восторженный поклонник юношеской красоты, презрительный критик демократии - он желанен для многих, у кого нет вкуса к этическим рассуждениям и тонким аргументам.

Не только личность Сократа подвергалась столь различным толкованиям; его философия, насколько ее можно отделить от его жизни, также давала повод для противоречивых интерпретаций, и даже отрицалось, что у него, собственно говоря, вообще была какая-либо философия. Эти разноречивые представления его учения, если его можно назвать учением, начинаются с двух учеников, которым мы почти полностью обязаны своим знанием о нем. Любопытно, что между "Воспоминаниями" Ксенофонта и теми платоновскими диалогами, где Сократ выступает в качестве главного представителя, существует такое же внутреннее несоответствие, как и между Синоптическими и Иоганнинскими Евангелиями. Первое дает нам отчет, безусловно, подлинный, но, вероятно, неполный; второе, вне всяких сомнений, является крайне идеализированным портретом, но, похоже, содержит некоторые черты, прямо скопированные с оригинала, которые вполне могли ускользнуть от менее философски

настроенного наблюдателя, чем Платон. Аристотель также снабжает нас некоторыми скудными заметками, которые могут быть полезны при выборе между двумя конкурирующими версиями, хотя мы не можем быть уверены, что он имел доступ к лучшим источникам информации, чем те, которые открыты для нас. По-разному комбинируя и рассуждая на основе этих данных, современные критики создали третьего Сократа, который зачастую является не более чем воплощением их собственных любимых мнений.

В Англии наиболее общепринятым является метод, которого придерживается Грот. Он состоит в том, чтобы принять платоновскую "Апологию" как достаточно точный отчет о защите, фактически сделанной Сократом на суде, и дополнить ее деталями, предоставленными Ксенофонтом, или, по крайней мере, столькими из них, которые можно сделать подходящими, без слишком очевидного изменения их смысла. Если же мы спросим, на каком основании "Апологии" приписывается большая историческая достоверность, чем "Республике" или "Федоту", то не сможем предложить ничего, кроме кажущейся прозрачной правдивости самого повествования - аргумент, который не будет иметь большого веса для тех, кто помнит, насколько блестящим был талант Платона к вымыслу и насколько бессовестно он мог быть использован в назидательных целях. В "Фаэдо" в уста Сократа вкладывается автобиографическое высказывание, которое, как мы знаем, является вымышленным только потому, что предполагает принятие теории, неизвестной реальному Сократу. Почему же Платон не считал нужным ввести столь же вымышленные детали в речь своего учителя перед дикастерией, если, действительно, речь, как мы ее имеем, не является выдуманной от начала до конца?

Прежде чем мы придем к решению по этому вопросу, необходимо вкратце пересказать высказывания, о которых идет речь. Сократ защищается от обвинения в смертной казни. Он опасается, что в умах присяжных может возникнуть предубеждение против него, и пытается объяснить, как оно возникло без его вины, следующим образом: "Один его друг спросил у оракула в Дельфах, есть ли человек мудрее Сократа? Ответ был таков: нет никого мудрее. Не обладая ни большой, ни малой мудростью, он был очень удивлен, услышав это заявление, и решил уличить бога в неправде, найдя кого-нибудь мудрее себя. Сначала он обратился к одному выдающемуся политическому деятелю, который, однако, при ближайшем рассмотрении оказался совершенно невежественным, и еще один недостаток заключался в том, что его невозможно было убедить в его невежестве. Применив тот же тест к другим, был получен точно такой же результат. Только ремесленники могли удовлетворительно рассказать о себе, а их знание одного ремесла заставляло их воображать, что они одинаково хорошо разбираются и во всем остальном. Таким образом, смысл оракула сводился к тому, что только Бог по-настоящему мудр и что из всех людей мудрее всего тот, кто, подобно Сократу, понимает, что человеческая мудрость не стоит ничего или почти ничего. С тех пор Сократ стал отстаивать истинность божественных истин, выискивая и разоблачая всех претендентов на знание, которых он мог найти. Такая линия поведения сделала его крайне непопулярным в Афинах, но в то же время снискала ему репутацию мудрого человека, поскольку люди полагали, что вопросы, по которым он уличал других в невежестве, были совершенно ясны ему самому.

Первое затруднение, которое возникает в связи с этой необычной историей, связано с оракулом, на котором все держится. Если бы такое заявление действительно было сделано пифией, разве Ксенофонт не процитировал бы его в качестве доказательства высокой благосклонности своего героя к богам? [82](#) И как мог Сократ приобрести столь высокую репутацию до того, как приступил к перекрестному допросу, который только и позволил ему

осознать свое превосходство над другими людьми и только и завоевал восхищение сограждан? Наши сомнения еще более усиливаются, когда мы обнаруживаем, что исторический Сократ отнюдь не исповедовал скептицизма, который приписывает ему Платон. Он не считал, что невежество - это общий и необходимый удел всех людей, в том числе и его самого, и утверждал, что действия должны, насколько это возможно, полностью определяться [знанием](#)⁸³; что человек, который не всегда знает, о чем он говорит, похож на раба; что различные добродетели - это лишь различные формы знания; что он сам обладает этим знанием и вполне способен поделиться им со своими друзьями. Мы действительно видим, что он готов убедить невежественных и самонадеянных людей в их недостатках, но только для того, чтобы направить их, если они хорошо настроены, на путь правильного понимания. Он также считал, что существуют определенные тайны, которые навсегда останутся недоступными для человеческого интеллекта, факты, связанные с устройством Вселенной, которые боги оставили для своего исключительного познания. Однако это, по его мнению, было такое знание, которое, даже если бы его можно было получить, не стоило бы особенно иметь, и поиски которого не оставили бы нам досуга для более полезных приобретений. Платоновский Сократ, похоже, тоже не утруждал себя аргументами против естественных наук. Предметами его эленха являются профессора таких искусств, как политика, риторика и поэзия. Кроме того, мы имеем нечто более сильное, чем простое умозаключение из фактов, записанных Ксенофонтом; мы имеем его прямое свидетельство о том, что Сократ не ограничивался опровержением людей, которые воображали, что знают все; здесь мы должны иметь либо прямую ссылку на Апологию, либо на теорию, идентичную той, которую она воплощает.¹ Некоторый акцент был сделан на фразе, цитируемой самим Ксенофонтом как использованная Гиппиасом, которая на первый взгляд кажется поддерживающей мнение Платона. Элианский софист обвиняет Сократа в том, что он постоянно иронизирует, опровергая других и не позволяя себе сомневаться в [себе](#)⁸⁴; обвинение, которое, как мы можем заметить мимоходом, не подтверждается дискуссией, которая впоследствии происходит между ними. Здесь, однако, мы должны помнить, что Сократ обычно передавал наставления в форме серии наводящих вопросов, ответы на которые показывали, что его собеседник понял и согласился с изложенной доктриной. Такой метод легко мог бы породить ошибочное представление о том, что он отказывался раскрывать свои собственные мнения и довольствовался выяснением чужих. Наконец, следует отметить, что идея выполнения религиозной миссии или разоблачения человеческого невежества *ad maiorem Dei gloriam*, на которой так акцентирует внимание Грот, не имеет места в представлении Ксенофонта о своем учителе, хотя, если бы такая идея действительно существовала, трудно представить, как она могла пройти мимо писателя, для которого благочестие было равносильно суеверию. С другой стороны, это идея, которая, естественно, должна была прийти в голову великому религиозному реформатору, предложившему основать свое переустройство общества на вере в сверхъестественный порядок и желании реализовать его здесь, внизу.

До сих пор мы противопоставляли "Апологию" и "Меморабилии". Теперь нам предстоит рассмотреть, в каком отношении она находится к другим сочинениям Платона. Конструктивный догматический Сократ, который является главным представителем в некоторых из них, сильно отличается от скептического Сократа из знаменитой "Защиты", и это различие приводится в качестве аргумента в пользу исторической подлинности последней.⁸⁵ Платон, как подразумевается, не бы так далеко отходить от своей обычной концепции мудреца, если бы не хотел воспроизвести реальные слова, сказанные по столь торжественному случаю. Есть, однако, несколько диалогов, которые, кажется, были написаны с явной целью проиллюстрировать негативный метод, предположительно описанный Сократом своим судьям, расследования, единственным результатом которых

является расстройство теорий других мыслителей, или показать, что обычные люди действуют, не будучи в состоянии указать причину своего поведения. Даже "Республика", как утверждается, носит предварительный характер и лишь развивает мысль, которая почти случайно попала в компанию. В отличие от шотландца Чарльза Лэмба, ведущий представитель не приносит, а находит, и вам предлагается плакать вполголоса над всем, что окажется в его компании.

По правде говоря, у Платона была концепция науки, которую не могли полностью удовлетворить никакие достигнутые в то время знания - возможно, можно добавить, что и никакие когда-либо достижимые знания. Даже строгость математической демонстрации не удовлетворяла его, поскольку сама математическая истина покоилась на недоказанных предположениях, как мы, кстати, тоже недавно обнаружили. Возможно, гегелевская система удовлетворила бы его требования, а возможно, и нет. Более того, чтобы установить новый порядок, который он задумывал, необходимо было начать с чистого листа, перечеркнув все существующие мнения. С урбанистичностью афинянина, благочестием ученика и инстинктом великого драматического артиста он предпочел допустить, что эта необходимая задача уже выполнена другим. А кто из всех предшествующих мыслителей был так хорошо подготовлен к этому делу, как Сократ? Кто еще с таким мастерством владел оружием негативной диалектики? Кто так критически относился к верованиям своих современников? Кто так стремился найти точку опоры для каждой новой истины в умах своих собеседников? Кто же мог с таким правдоподобием выступать под видом человека, не претендующего на собственную мудрость? Сын Фенаретки, казалось бы, должен был стать Крестителем греческого Мессии; но Платон, рассматривая его как такового, незаметно завесил всю положительную сторону учения своего предшественника, и чтобы узнать, что это было, мы должны руководствоваться более верным сообщением Ксенофонта.

Не то чтобы Ксенофонт был абсолютно точным выразителем сократовской философии. Следует помнить, что его работа была направлена в первую очередь на защиту Сократа от обвинений в нечестивости и безнравственном учении, а не на изложение системы, которую он, возможно, был неспособен оценить или понять. Мы обязаны принять все, о чем он рассказывает; мы обязаны включить ничего, о чем он не рассказывает; но мы можем справедливо изменить пропорции его наброска. Именно здесь разумное использование Платона окажет нам самую ценную помощь. Он постиг сократизм во всех его частях и развил его во всех направлениях, так что, проследив линии его системы до их истоков, мы встанем на правильный путь и будем знать, где искать предложения, которым суждено было столь великолепно [реализоваться](#)⁸⁶.

II.

Прежде чем приступить к реконструкции, мы должны рассмотреть, с каким успехом то же самое было предпринято современной немецкой критикой, особенно ее главным современным представителем, последним и самым выдающимся историком греческой философии. Целлер, следуя за Шлейермахером, приходит к тому, что великим достижением Сократа было выдвижение адекватной идеи знания; другими словами, показать, какой должна быть истинная наука и какой она до сих пор не была, с добавлением требования, что все действия должны основываться на таком научном знании как на единственном надежном фундаменте.⁸⁷ Знать вещь - значит знать ее сущность, ее понятие, совокупность качеств, которые вместе составляют ее определение и делают ее тем, что она есть. Прежние мыслители также стремились к знанию, но не *как* к знанию, не имея четкого представления о

том, чего они действительно хотели. Сократ же требовал, чтобы люди всегда были готовы дать строгий отчет о цели, которую они преследуют, и о средствах, с помощью которых они надеются ее достичь. Далее, было принято выделять для исключительного внимания то качество предмета, которое произвело на наблюдателя наиболее сильное впечатление, обходя все остальные; следствием этого стало то, что философы стали односторонне рассматривать факты, в результате чего впали в безнадежные разногласия между собой; софисты обратили эти противоречивые точки зрения друг против друга и тем самым произвели их взаимное уничтожение; растворение объективной определенности привело к соответствующему растворению моральной истины. Сократ принимает софистический скептицизм в той мере, в какой он применим к существующему состоянию науки, но не доводит его до такого же фатального сцепления; он признает, что существующие убеждения должны быть тщательно просеяны и, если необходимо, отброшены, но только для того, чтобы заменить их более прочными убеждениями. Здесь находится место для его метода самоанализа и для самосознательного невежества, которое приписывает ему Платон. Сравнивая свои представления о конкретных предметах со своим представлением о том, каким должно быть знание в целом, он обнаруживает, что они его не удовлетворяют; он понимает, что ничего не знает. Тогда он прибегает к помощи других людей, которые заявляют, что обладают знанием, которое он ищет, но их притворная уверенность исчезает при применении его диалектического теста. Это знаменитая сократовская ирония. Наконец, он пытается прийти к реальному знанию, то есть к построению определений, используя тот индуктивный метод, изобретение которого приписывает ему Аристотель. Этот метод заключается в том, чтобы собрать воедино ряд простых и знакомых примеров из общего опыта, сделать из них обобщение и скорректировать обобщения путем сравнения с отрицательными примерами. Причины, побудившие Сократа ограничить свои исследования человеческими интересами, Целлер обходит довольно легко; он, кажется, в растерянности, как примирить предполагаемую реформу научного метода с полным отказом от физических исследований, которые, как нам говорят, так сильно пострадали от того, что культивировались по другой системе.

В этой весьма изобретательной теории, которую мы постарались изложить настолько полно, насколько позволяет место, есть три основных момента. Целлер, очевидно, хочет привести Сократа в соответствие с великой традицией ранней греческой мысли, заметно отличить его от софистов и проследить за его инициативой интеллектуальный метод Платона и Аристотеля. Мы не можем признать, что эта тройная попытка увенчалась успехом. Нам кажется, что картина, в которую было внесено так много платоновской окраски, только по этой причине и без всяких других возражений будет вызывать серьезные подозрения. Но даже если принять историческую точность всего, что сказал Платон, или столько, сколько потребуется, выводы нашего критика не оправдываются его авторитетами. Ни ксенофоновский, ни платоновский Сократ не стремится к знанию ради него самого, ни один из них не предлагает удовлетворительного определения знания, да и вообще никакого определения. Аристотель был первым, кто объяснил, что такое наука, и сделал он это не путем развития сократовского понятия, а путем включения его в другие методы, самостоятельно разработанные физической философией. Чем была бы наука без изучения причинности? И разве не этим демонстративно пренебрег основатель концептуализма? Опять же, Платон в "Теэтете" заставляет своего Сократа критиковать различные теории познания, но даже не намекает, что у критика в запасе есть теория лучше, чем любая из них. Автор "Фаэдо" и "Республики" был не столько заинтересован в реформировании методов научного исследования, сколько в том, чтобы направить его на то, что, по его мнению, только и стоит знать, - на вечные идеи, лежащие в основе явлений. Исторический Сократ не подозревал о существовании трансцендентных реальностей; но он считал, что знание

физики недостижимо, а если бы и было достигнуто, то ничего не стоило бы. Под знанием он понимал искусство, а не науку, и его метод определения предназначался не для последней, а для первой. По его словам, те, кто может ясно выразить то, что они хотят сделать, лучше всего защищены от неудач и лучше всего могут донести свое умение до других. Он вывел, что различные добродетели - это различные виды знания, но не из какого-то экстраординарного мнения о его ценности, а потому что считал, что знание - это переменный элемент воления, а все остальное - постоянный. Целлер много внимания уделяет сократовскому отождествлению познания с поведением; но как мог тот, кто с первого шага впал в такую путаницу идей, быть пригоден для того, чтобы объяснить значение науки или выступить в качестве реформатора ее методов? Нельзя сказать, что Сократ подходил к объекту со всех точек зрения и отмечал все его характерные качества. Напротив, склонны были бы обвинить его в противоположной тенденции, в том, что он фиксировал свой взгляд исключительно на каком-то одном качестве, которое для него, как учителя, было наиболее интересным. Его отождествление добродетели со знанием - прекрасный пример такой привычки. Также как и его отождествление красоты с полезностью, и его общая склонность судить обо всем по довольно узкому стандарту полезности. С другой стороны, греческая физическая спекуляция ничего бы не выиграла от пристального внимания к определениям, а скорее всего, даже была бы озорно затруднена. Аристотель, во всяком случае, предпочитает метод Демокрита методу Платона; да и сам Аристотель гораздо ближе к истине, когда идет по ионийскому или сицилийскому пути, чем когда пытается определить то, что при существовавшем тогда уровне знаний не могло быть удовлетворительно определено. Говорить о различных элементах - земле, воздухе, огне и воде - как о вещах, с которыми все уже знакомы, было, возможно, грубой ненаучной процедурой; анализировать их на различные сочетания горячего и холодного, легкого и тяжелого, сухого и влажного было не только ошибочно, но и фатально неверно; это мешало исследованию и делало именно то, в чем обвиняли софистов, то есть подменяло мнимость реальностью мудрости. Несомненно, математические термины должны быть определены, но где сказано, что геометры должны были учиться этой истине у Сократа? Науки о количестве, которые вряд ли смогли бы продвинуться хоть на шаг без помощи точных концепций, успешно культивировались еще до его рождения, и его влияние использовалось скорее для того, чтобы препятствовать, чем способствовать их точному изучению. Что касается всестороннего изучения объектов, на котором Целлер делает такой большой акцент и который он, кажется, считает чем-то особенным для концептуального метода, то им, несомненно, пренебрегали Парменид и Гераклит; но разве этот недостаток не был уже восполнен их ближайшими преемниками? Что еще представляет собой философия Эмпедокла, атомистов и Анаксагора, как не попытку - добавим, отнюдь не безуспешную - соединить противоположные аспекты природы, на которых слишком настаивали в Эфесе и Элеи? Опять же, утверждать, что софисты уничтожили физическую спекуляцию, противопоставив друг другу эти частичные аспекты истины, на наш взгляд, в равной степени ошибочно. Прежде всего, Целлер впадает в старую ошибку, давно исправленную Гротом: он рассматривает рассматриваемый класс так, как будто все они придерживались одинаковых взглядов. В предыдущей главе мы показали, если это действительно требовалось показать, что софисты делились на две основные школы, одна из которых была посвящена изучению физики. Протагор и Горгий были единственными скептиками; и их скептицизм был достигнут не путем противопоставления одной теории другой, а путем разработки одной теории до ее последних следствий; и, надо заметить, не с большим эффектом, чем тот, который оказал Пирр на науку своего времени. Ведь два великих мыслителя, с помощью выводов которых пытались дискредитировать объективную реальность, уже остались далеко позади в конце V века; и ни их рассуждения, ни рассуждения, основанные на них, не могли оказать большого влияния на поколение, имевшее в руках "Анаксагор о природе" и энциклопедию Демокрита.

Однако был один критик, который действительно делал то, в чем обвиняли софистов; он высмеивал и осуждал физическую науку на том основании, что ее профессора безнадежно спорили друг с другом; и этим критиком был не кто иной, как сам Сократ. На чисто популярных и поверхностных основаниях он придерживался того же скептического отношения, которому Протагор дал хотя бы подобие психологического обоснования. И он хотел, чтобы внимание было сосредоточено на тех самых предметах, которые Протагор взялся преподавать, а именно на этике, политике и диалектике. И опять же, утверждение о том, что Сократ сознавал, что не соответствует своему собственному стандарту истинного знания, не согласуется с рассказом Ксенофонта, где он представлен как человек, готовый ответить на любой вопрос и дать определение всему, что он считал достойным определения. Его скептицизм, если он и существовал, был таким же искусственным и недолговечным, как и скептицизм Декарта.

Истина заключается в том, что ни один человек, занимавшийся философией, не был более свободен от мучительных сомнений и самоистязаний; ни один человек не был более удовлетворен собой, чем Сократ. Добавим, что, с эллинской точки зрения, ни у одного человека не было больше оснований для самоудовлетворения. Никто, заметил он в последние дни своей жизни, не прожил жизнь лучше и счастливее. Обладая от природы мощным телосложением, он так укрепил его привычной умеренностью и постоянными тренировками, что вплоть до самой смерти, в возрасте семидесяти лет, наслаждался прекрасным телесным и душевным здоровьем. Ни лишения, ни облучение, ни воздержание, ни потворство тому, что для других людей было бы излишеством, не могли наложить никакого отпечатка на этот адамантовый каркас. Мы не знаем, сколько правды в истории о том, что в свое время он отличался жестокостью страстей; во всяком случае, когда наши основные информаторы знали его, он отличался легкостью, с которой он противостоял искушениям, и невозмутимым спокойствием своего нрава. Его потребности, систематически сводившиеся к минимуму, легко удовлетворялись, а жизнерадостность никогда не подводила. Ему так нравилось афинское общество, что ничто, кроме воинского долга, не могло отвлечь его от него. Ведь Сократ был ветераном, прошедшим три тяжелые кампании, и мог читать лекции об обязанностях полководца, о которых столь высокий авторитет, как Ксенофонт, счел нужным сообщить. Похоже, что он был в прекрасных отношениях со своими согражданами, никогда не участвуя в судебных процессах ни в качестве истца, ни в качестве ответчика, вплоть до рокового обвинения, которое положило конец его карьере. В этом случае он мог отказаться от подготовки защиты, гордо заявив, что вся его жизнь была подготовкой, что никто никогда не видел, чтобы он совершил несправедливый или нечестивый поступок. Мучительные крики сомнений, произносимые итальянскими и сицилийскими мыслителями, не имели никакого значения для того, кто принципиально воздерживался от онтологических спекуляций; неопределенность человеческой судьбы, нависшая, как грозная туча, над Пиндаром и трагическими поэтами, растаяла под солнечным светом аргументов, доказывающих, к его удовлетворению, реальность и благодетельность сверхъестественного Провидения. Ведь он верил, что боги дадут совет в сомнительных ситуациях всем, кто обратится к их оракулам в благоговейном духе; а помимо божественных советов, доступных всем людям, его лично сопровождал оракульный голос, таинственный монитор, который говорил ему, чего следует избегать, но не что делать, - обстоятельство, достойное внимания, ибо оно показывает, что он, подобно Платону, не приписывал все виды правильных действий божественному вдохновению.

Можно сказать, что все это лишь доказывает, что Сократ был, по его собственной оценке, хорошим и счастливым, но не обязательно мудрым человеком. Однако для него последнее из этих условий было неотделимо от двух других. Он был готов шаг за шагом доказывать, что

его поведение регулируется неизменными и очевидными принципами и что оно наилучшим образом приспособлено для обеспечения счастья как для себя, так и для других. Можно с готовностью признать, что в его этической теории были недостатки. Идея универсального благодеяния, похоже, никогда не зарождалась на его горизонте; целомудрие было для него тем же, чем для нас является трезвость, - в основном самоохранительной добродетелью. Мы не находим, чтобы он когда-либо рекомендовал мужьям супружескую верность; он относился к проституции так же, как к ней до сих пор, к несчастью, относятся люди мира среди нас; и, выступая против темных пороков своих соотечественников, он осуждал именно избыток, а не извращение аппетита. Однако эти моменты не мешают нашему общему утверждению, что Сократ принял этический стандарт своего времени, что он принял его на рациональных основаниях, что, приняв его, он действовал в соответствии с ним и что, рассуждая и действуя таким образом, он удовлетворял своему собственному идеалу абсолютной мудрости.

Даже в том, что касается физических явлений, Сократ, отнюдь не исповедуя полное невежество, придерживался весьма позитивной теории, которой был готов поделиться со своими друзьями. Он преподавал то, что называется доктриной конечных причин; и, насколько нам известно, он был либо первым, кто преподавал ее, либо, во всяком случае, первым, кто доказал существование божественных сил с ее помощью. Старые поэты время от времени приписывали происхождение человека и других животных сверхъестественному разуму, но, очевидно, не руководствуясь при этом никакими доказательствами замысла, проявляющегося в строении организованных существ. Сократ же с особой тщательностью исследовал различные внешние органы человеческого тела и, к своему удовлетворению, показал, что они являются результатом работы мудрого и благодетельного Художника. В дальнейшем мы еще многое скажем об этом аргументе; здесь же мы хотим лишь заметить, что по своей сути он мало чем отличается от спекуляций, которые его автор высмеял как плод дерзкого любопытства, и что никто из тех, кто сейчас использует его, ни на минуту не станет агностиком или скептиком.

Должны ли мы, таким образом, заключить, что Сократ был, в конце концов, ничем иным, как своего рода прославленным греком Палеем, чьим главным достижением было изложение популярных идей своего времени о морали и политике в форме довольно грубого утилитаризма; и чьи "доказательства естественной и явленной религии" имели такое же отношение к греческой мифологии, какое соответствующие прозрения достойного архидиакона имели к христианской теологии? Даже если бы это было полной правдой, следует помнить, что между двумя учителями был промежуток в двадцать три столетия, который необходимо учитывать при оценке их относительной важности. Сократ с его тщательно обоснованными, ярко иллюстрированными этическими изложениями получил тактическое преимущество перед туманными декларациями гномической поэзии и разрозненными афоризмами семи мудрецов, сравнимое с тем, которым обладал Ксенофонт со своими десятью тысячами в борьбе с громоздкими массами персидской пехоты и недисциплинированными горцами Кардукии; В то время как его идея единообразного благодетельного Творца знаменует собой еще больший прогресс по сравнению с ревнивыми божествами Геродота. С другой стороны, в сравнении с Юмом и Бентамом псевдонаучные атрибуты Пэли были подобны мушкетам и пушкам азиатской армии в противостоянии с английскими завоевателями Индии. И если бы Сократ сделал не больше, чем внес в философию только что упомянутую идею, его место в эволюции мысли, хотя и почетное, не было бы тем, чем оно по праву считается - уникальным.

III.

До сих пор мы были заняты оспариванием чужих взглядов; теперь настало время изложить нашу собственную точку зрения. Мы утверждаем, что Сократ впервые выдвинул идею не знания, а разума в ее полном значении; что он впервые изучил весь круг человеческих интересов, затрагиваемых разумом; что, создав диалектику, он дал этому изучению его надлежащий метод и одновременно дал своему методу единственный предмет, на котором он мог бы с пользой применяться; Наконец, что этими бессмертными достижениями была создана философия, получившая тройное подтверждение, во-первых, из жизни ее основателя; во-вторых, из успеха, с которым его дух был передан группе последователей; в-третьих, из всей последующей истории мысли. Прежде чем обосновать эти утверждения, целесообразно взглянуть на внешние влияния, которые, как можно предположить, сформировали великий интеллект и великий характер, рассматриваемые сейчас.

Сократ был, прежде всего, афинянином. Чтобы понять его, мы должны сначала понять, каким был афинский характер сам по себе и независимо от мешающих обстоятельств. Наша оценка этого характера слишком склонна быть предвзятой из-за совершенно исключительного положения, которое занимали Афины в пятом веке до н. э. Обладание империей развило в ее детях качества, которые они не проявляли в более ранний период и которые перестали проявлять, когда империя была утрачена. К ним следует отнести военный гений, авантюрный и романтический дух, высокую способность к поэтическому и художественному творчеству - качества, проявлявшиеся, правда, у каждой греческой расы, но у одних дольше, а у других короче. Похоже, что традиция величия не так уж далеко ушла от Афин. Ее легендарная история, которую мы имеем, необычайно неинтересна. Одни и те же довольно однообразные, хотя и назидательные истории о предоставлении убежища преследуемым беглецам, об успешном сопротивлении иностранным вторжениям и о самоотверженном служении государству встречаются нам снова и снова. Аттическая драма сама по себе показывает, насколько более захватывающими были легендарные предания других племен. Достаточно взглянуть на немногие сохранившиеся произведения, посвященные патриотическим темам, чтобы оценить разницу; английский читатель может легко убедиться в этом, сравнив "Эрехтея" мистера Суинберна с "Аталантой" того же автора. Во всем чувствуется недостаток яркой индивидуальности. Даже Тесей, великий национальный герой, кажется довольно скромным персонажем по сравнению с Персеем, Гераклом и Ясоном. Ни один афинянин не занимает видного места в "Илиаде"; и только в двух случаях, когда Пиндару приходилось отмечать победу афинян на Панэллинских играх, он, кажется, не мог связать ее с легендарной славой в прошлом. Обстоятельства, которые долгое время делали историю Аттики такой бессодержательной, - те же самые, которыми объясняется ее последующее значение. Отношение, в котором Аттика находилась к остальной Греции, было в чем-то схоже с отношением, в котором Тоскана, много времени спустя, находилась к остальной Италии. Она была регионом, наименее потревоженным иностранной иммиграцией, и поэтому стала местом более медленного, но стабильного умственного развития. Именно среди тех, кому война, революция, колонизация и торговля принесли самый разнообразный опыт, интеллектуальная деятельность созревала быстрее всего. Литература, искусство и наука с необычайным успехом культивировались в греческих городах Малой Азии и даже в некоторых частях старой страны, прежде чем Афины смогли похвастаться хоть одним гениальным человеком, кроме Солона. Но вместе с наслаждением спокойствием в Афинах утверждались привычки к самоуправлению, упорядоченности и разумному размышлению, что в конце концов позволило ей унаследовать все, чего достигли ее предшественники в расе, и добавить то, чего не хватало только им, - венчающее освящение самосознающего разума. Одновременно в ней росли патриотические

настроения, отчасти вызванные долгой независимостью Аттики, отчасти, как мы полагаем, объединением в ранний период ее различных поселений в единый город. Те же причины, однако, способствовали определенной любви к комфорту, веселому нраву, стремящемуся к удовольствиям, часто переходящему в грубую чувственность, бережливости и склонности хвататься за любой источник прибыли, в сочетании с крайним легковерием, когда надежды на прибыль были возбуждены, что вместе формирует элемент прозаической комедии, который странно смешивается с трагическим величием Афин в ее императорский век, и становится более заметным после ее падения, пока не становится преобладающей характеристикой ее поздних дней. Именно контраст между этими двумя аспектами афинской жизни, как мы можем заметить, придает пьесам Аристофана их беспрецедентный комический эффект, и именно их неловкое сочетание делает Еврипида таким неравным и разочаровывающим поэтом. Итак, мы видим, что первоначальный афинский характер отличается здравым размышлением, патриотизмом и склонностью к самопожиранию материализму. Давайте обратим внимание на эти три качества, поскольку мы еще не раз встретимся с ними в философии Сократа.

Империя, когда она пришла в Афины, была почти не востребуемой. Персидские нашествия сделали ее великой морской державой; свободный выбор союзников поставил ее во главе великой морской конфедерации. Внезапное распоряжение огромными ресурсами и напряжение, накопленное за века покоя, стимулировали все ее способности к сверхъестественной активности. Ее дух закалился почти до дорийского темперамента и вступил в победоносное соперничество с дорийской музой. Не только ее флот бороздил морские просторы, но и ее армия, в который раз, одержала победу над фиванскими гоплитами в поле. Величественные хоровые гармонии сицилийской песни, сицилийские речитативы эпических приключений были свернуты в рамки для зрелища отдельных душ, встречающихся друг с другом в спорах, извинении, мольбах и пренебрежении; более благородное дорийское сооружение возвышалось, чтобы противостоять эгинетскому храму Афины; напряженная энергия эгинетских бойцов расслаблялась в позы покоя, а вечная улыбка на их лицах углублялась в печаль непостижимой мысли. Но для города с фиолетовым венцом Афина была скорее дарителем богатства и мудрости, чем доблести; ее империя держалась на пожертвованиях невольных союзников и на техническом мастерстве, на которое со временем обязательно должны были равняться другие; так что коринфские ораторы могли с полным правом сказать, что афинское мастерство приобретается легче, чем дорийская доблесть. Одновременно восприимчивые и общительные, Афины впитывали все, чему могла научить их Греция, а затем возвращали это в более совершенной форме, но без свежести своего раннего вдохновения. И все же была одна область, в которой еще можно было проявить творческую оригинальность. Привычки к анализу, хотя и губительные для спонтанного творчества, были благоприятны, а точнее, необходимы для роста новой философии. После исчерпания всего ограниченного идеализма оставалась та высшая идеализация, которая заключается в сведении всего прошлого опыта к методу, доступному для руководства всеми будущими действиями. Для осуществления этого последнего начинания необходимо было, чтобы один человек собрал в себе дух, распространенный в целом народе, наделив его этой самой концентрацией способностью к бесконечно более широкому распространению, когда его временный представитель сойдет со сцены.

Сократ представляет народный афинский характер так же, как Ричардсон, в другой сфере, представляет характер английского среднего класса - представляет его, то есть возвышенным до трансцендентного гения. Кроме этого возвышения, в нем не было ничего аномального. Если он был исключительно критичным, рационалистичным, не склонным к приключениям, прозаичным, одним словом, как говорят немецкие историки, чем-то вроде

филистера, то, как мы можем подозревать, таковыми были и большинство его соотечественников. Его иллюстрации были взяты из таких плебейских занятий, как скотоводство, сапожное дело, ткачество и мореплавание. Это были его "прикосновения к обыденным вещам", которые в конце концов "поднялись, чтобы коснуться сфер". Он и практиковал, и прививал добродетели, ценность которых особенно очевидна в скромной жизни - бережливость и выносливость. Но он также представляет Дêмос в его суверенном качестве законодателя и судьи. Не стремясь быть оратором или государственным деятелем, он оставляет за собой высшую власть арбитража и выборов. Он подвергает кандидатов на должность суровой проверке и требует от всех людей еще более строгого отчета о своей жизни, чем отставные магистраты должны были давать отчет о своем поведении перед народом, когда находились у власти. Он применяет судебный метод перекрестного допроса для выявления ошибок и парламентский метод совместного обсуждения для установления истины. Он следует демократическим принципам свободы слова и самоуправления, вынося каждый возникающий вопрос на публичное обсуждение и не настаивая ни на одном выводе, который не получил бы добровольного согласия аудитории. Наконец, его беседа, популярная по форме, была популярна и в том отношении, что каждый, кто решил послушать, мог получить пользу от нее безвозмездно. Здесь мы сильно отличаемся от презрительного догматизма Гераклита и практически олигархической исключительности учителей, требовавших высокую плату за свое обучение.

Быть свободным и править свободными людьми было для Сократа, как и для каждого афинянина, целью честолубия, только свобода означала абсолютную неподвластность страстям или привычкам; правление означало превосходное знание, а правление свободными людьми - власть над интеллектуальными убеждениями. В его глазах обладатель любого искусства был пока что правителем, причем единственным истинным правителем, которому под суровыми наказаниями подчинялись все, кто нуждался в его мастерстве. Но царское искусство, которым он сам занимался, не претендуя на него, было тем, которое отводит каждому искусству свою сферу и предоставляет каждому человеку то занятие, которого требуют его особые способности. Это афинская свобода и афинский империализм, перенесенные в образование, но настолько идеализированные и очищенные, что их трудно распознать с первого взгляда.

Философия Сократа более очевидно связана с практическими и религиозными тенденциями его соотечественников. Ни он, ни они не испытывали симпатии к космологическим спекуляциям, которые казались не связанными с человеческими интересами и затрагивали вопросы, недоступные человеческому познанию. Старые аттические настроения были против авантюры любого рода, будь то политические или интеллектуальные. Однако новый дух исследования, пробужденный ионийской мыслью, не мог не оказать сильного влияния на самого умного человека среди самых умных людей Эллады. Прежде всего, одна первостепенная идея, выходящая за рамки старой философии, была развита путем отделения знания от его объекта и была представлена, хотя и в материализованной форме, Анаксагором афинскому обществу. Сократ подхватил эту идею, выражавшую то, что было самым высоким и отличительным в национальном характере, и применил ее к развитию этической спекуляции. В предыдущей главе мы видели, как была предпринята попытка основать моральную истину на результатах натурфилософии и как с этой попыткой боролась гуманистическая школа. Не могло быть сомнений в том, какую сторону займет Сократ в этом споре. То, что он обратил внимание на учение Протагора и Горгия, действительно, весьма проблематично, поскольку их имена ни разу не упоминаются Ксенофонтом, а платоновские диалоги, в которых они фигурируют, явно вымышлены. Тем не менее, он в определенной степени пришел к тому же выводу, что и они, хотя и другим путем. По религиозным

соображениям он выступал против теорий, которые они отвергли благодаря острому психологическому анализу. Соответственно, идея природы почти полностью отсутствует в его разговоре, и, подобно Протагору, он руководствуется исключительно интересами человека. На возражение, что позитивные законы постоянно меняются, он победоносно отвечал, что это потому, что они непрерывно приспосабливаются к меняющимся потребностям.⁸⁸ Как и Протагор, он был постоянным учеником древнегреческой литературы и старательно искал практические уроки, которыми она изобилвала. Для него, как и для ранних поэтов и мудрецов, *Sôphrosynê*, или самопознание и самообладание вместе взятые, была первой и самой необходимой из всех добродетелей. Однако, в отличие от них, он не просто принимает его из традиции, но дает ему философское обоснование - вновь установленное различие между разумом и телом; это различие не следует путать со старым психизмом, хотя Платон в своих реформаторских целях вскоре после этого соединил их вместе. Бесплотный дух мифологии был всего лишь тенью или воспоминанием, в равной степени лишенным твердости и понимания; у Сократа разум означал личное сознание, сохраняющее свою непрерывную идентичность при каждом изменении и вопреки каждому мимолетному импульсу. Как и гуманисты, он сделал его местом знания - в большей степени, чем гуманисты, он дал ему контроль над аппетитом. Другими словами, он добавляет идею воли к идее интеллекта; но вместо того, чтобы рассматривать их как отдельные факультеты или функции, он абсолютно отождествляет их. Разум, признанный вначале как познающая сила, перенес свою ассоциацию с познанием в волевую сферу, и впервые эти два понятия были разделены Аристотелем, хотя даже он был очень несовершенен. Однако ни один мыслитель не помог так сильно сделать эту путаницу очевидной, как тот, кому она принадлежала. Сократ намеренно настаивал на том, что те, кто знает добро, обязательно должны быть добрыми сами. Он учил, что каждая добродетель - это наука; например, мужество - это знание того, чего следует или не следует бояться; воздержание - знание того, чего следует или не следует желать, и так далее. Такое представление о добродетели было бы, пожалуй, достаточным, если бы все люди делали то, что, по их мнению, они должны делать; и, как бы странно это ни казалось, Сократ предполагал, что так оно и есть на самом деле.⁸⁹ Этот парадокс, даже если бы его друзья-юноши в тот момент согласились с ним, был бы непременно отвергнут при рассмотрении более холодными головами, и его отвержение доказало бы, что вся доктрина по сути своей несостоятельна. Различные причины мешали Сократу понять то, что казалось столь ясным для более тупых умов, чем его. Прежде всего, он не отделял долг от личных интересов. Как истинный афинянин, он рекомендовал умеренность и праведность в основном из-за материальных преимуществ, которые они обеспечивали. То, что приятное и почетное, целесообразное и справедливое часто сталкиваются, было в те времена риторическим общим местом; и можно было предположить, что, если показать, что они совпадают, не может существовать никаких мотивов для проступков, кроме невежества. Кроме того, привыкнув сравнивать поведение любого рода с занятиями такими искусствами, как игра на флейте, он стал понимать знание в довольно широком смысле, подобно тому, как мы говорим, безразлично, что человек знает геометрию и что он умеет рисовать. Сам Аристотель не видел яснее Сократа, что нравственные привычки можно приобрести только путем непрерывной практики; только более ранний мыслитель заметил бы, что знания любого рода приобретаются путем такого же кропотливого повторения определенных действий. На очевидное возражение, что в этом случае мораль, как и теоретическая истина, не может быть передана учителем ученикам, а должна быть добыта самим учеником, он, вероятно, ответил бы, что всякая истина действительно вырабатывается разумом из самого себя, и что именно по этой причине он отказался от имени учителя и ограничился, казалось бы, более скромной задачей пробуждения дремлющих способностей в других.

Дополнительным влиянием, не менее сильным, потому что не признанным, была та же тяга к принципу единства, которая побуждала раннюю греческую мысль искать единственную субстанцию или причину физических явлений в каком-то одном материальном элементе, будь то вода, воздух или огонь; и как эти различные принципы были в конце концов разложены на множество атомов Лейциппом, так же, но гораздо быстрее, общий принцип знания имел тенденцию разлагаться на бесчисленные познания частичных целей или полезностей, на достижение которых было направлено действие. Необходимость всеобъемлющего обобщения снова дала о себе знать, и все хорошее было подведено под понятие счастья. Те же трудности повторились в другой форме. Определить счастье оказалось не менее сложно, чем определить пользу или практическое знание. Предлагалось три точки зрения, и все три были в той или иной степени предвосхищены Сократом. Счастье могло означать неизменное удовольствие, или исключительное культивирование высшей природы человека, или добровольное подчинение большому целому. Основатель афинской философии представлял каждую из них по очереди как цель, не признавая возможности конфликта между ними; и, конечно, было бы ошибкой представлять их как постоянно противоположные. Однако подлинно научный принцип должен либо доказать их идентичность, либо сделать свой выбор между ними, либо открыть что-то лучшее. Платон, похоже, рассматривал три метода, один за другим, не приходя ни к какому удовлетворительному выводу. Аристотель выделил первые два, но не смог или, скорее, не попытался согласовать их с третьим. Последующие школы пробовали различные комбинации, делая больший или меньший акцент на разных принципах в разные периоды, пока воля всемогущего Творца не была заменена всеми человеческими стандартами. С упадком догматического богословия мы наблюдаем, как все они вновь оживают, и старая битва все еще продолжается на наших глазах. Если говорить в целом, то можно сказать, что метод, который мы поставили на первое место в этом списке, в большей степени представлен в Англии, второй - во Франции, а последний - в Германии. Тем не менее, они отказываются быть разделенными какой-либо жесткой линией демаркации, и каждый из них стремится либо объединиться с одной из конкурирующих теорий, либо перейти в одну из них или обе. Современный утилитаризм в изложении Джона Стюарта Милля, хотя и исходит из первостепенной ценности удовольствия, признавая качественные различия между удовольствиями и подчиняя индивидуальное благо общественному, вводит принципы действия, которые, собственно говоря, не являются гедонистическими. Идея целого также отнюдь не лишена двусмысленности. У нас есть партия, церковь, нация, порядок, прогресс, раса, человечество, совокупность чувствительных существ - все они претендуют на роль этого целого. Если стремление к какой-либо одной цели порождает противоречивые притязания, мудрый человек проверит их, сославшись на другие аккредитованные стандарты, и будет лелеять небезосновательное ожидание, что эволюция жизни стремится привести их все к окончательному согласию.

Возвращаясь к Сократу, отметим, что его отождествление добродетели с наукой, хотя и не выражает всей истины, но составляет значительную ее часть, тем более что для него поведение было гораздо более сложной проблемой, чем для некоторых современных учителей. Только те, кто верит в существование интуитивных и непогрешимых моральных представлений, могут последовательно утверждать, что нет ничего проще, чем знать свой долг, и ничего сложнее, чем его исполнить. И даже в этом случае интуиция должна выходить за рамки общих принципов, а также сообщать нам, как и где их применять. О том, что такого внутреннего озарения не существует, достаточно свидетельствует опыт; настолько, что беды, причиняемые глупыми людьми с добрыми намерениями, стали достоянием поговорки. Современные казуисты действительно проводят различие между намерением и поступком, делая нас ответственными за чистоту первого, а не за последствия второго. Хотя это

различие основано на сократовском разделении между разумом и телом, оно не понравилось бы Сократу. Его целью было не спасение душ от греха, а спасение отдельных людей, семей и государств от гибели, которую влечет за собой незнание фактов.

Если мы расширим нашу точку зрения, чтобы охватить моральное влияние знания на общество в целом, то его относительная важность значительно возрастет. Когда Огюст Конт приписывает высшее направление прогресса развитию науки, а Бакл, вслед за Фихте, ставит все человеческие действия в зависимость от всего человеческого знания, они фактически приписывают интеллектуальному образованию еще более решающую роль, чем та, которую оно играло в сократовской этике. Даже те, кто отвергает эту теорию, если довести ее до такой крайности, признают, что то же самое количество самоотверженности должно дать гораздо больший эффект, если оно направляется более глубоким пониманием условий существования.

Тот же принцип может быть распространен и в другом направлении, если мы заменим знание в его более узком значении более общей концепцией ассоциированного чувства. Тогда мы увидим, что вера, привычка, эмоция и инстинкт - это лишь различные стадии одного и того же процесса - процесса, в ходе которого опыт организуется и подчиняется жизненной активности. Простейший рефлекс и высочайшая интеллектуальная убежденность одинаково основаны на сенсомоторном механизме и пока что различаются лишь относительной сложностью и нестабильностью задействованных нервных связей. Знание - это жизнь в процессе становления, и когда оно не может контролировать практику, то терпит неудачу только потому, что вступает в конфликт со страстью, то есть с консолидированными результатами предыдущего опыта. Физиология предлагает еще одну аналогию сократовскому методу, которую нельзя упускать из виду. Сократ рекомендовал формировать определенные концепции, поскольку, помимо прочих преимуществ, они способствовали распространению полезных знаний. Так и организованные ассоциации чувств не только полезны для отдельных людей, но и могут передаваться потомству с регулярностью, пропорциональной их определенности. Насколько естественно эти выводы следуют из рассматриваемой доктрины, можно судить по тому, что они в определенной степени уже были сделаны Платоном. Его план систематического воспитания чувств под научным наблюдением соответствует первому; его план выведения улучшенной расы граждан путем постановки брака под контроль государства - второму. Однако сомнительно, что предшественник Платона одобрил бы любую схему, направленную на то, чтобы заменить внешнее принуждение, ощущаемое или нет, свободой и индивидуальной инициативой, а слепой инстинкт - самосознанием, которое может дать отчет о своих действиях на каждом шагу. Он вернул бы нас от социальной физики и физиологии к психологии, а от психологии - к диалектической философии.

IV.

Для самого Сократа самым веским основанием для веры в тождество убеждений и практики было, пожалуй, то, что он сам сделал это живой реальностью. Для него знать, что правильно, и делать это было одним и тем же. В этом смысле мы уже говорили, что его жизнь была первым подтверждением его философии. И как результаты его этического учения могут быть идеально отделены от их применения в его поведении, так и сами эти результаты не могут быть отделены от метода, которым они были достигнуты; и процесс, которым он достиг их для себя, не может быть отличим от процесса, которым он передал их своим друзьям. Затрагивая этот вопрос, мы затрагиваем то, что является самым большим и оригинальным в сократовской системе, или, скорее, в сократовском порыве к систематизации любого рода. Что это было, станет яснее, если мы вернемся к центральному понятию ума. У Протагора

разум означал постоянно меняющийся поток чувств, у Горгия - принцип безнадежной изоляции, а обмен мыслями между одним сознанием и другим посредством знаков был иллюзией. Сократ, напротив, приписывал ему непоколебимый контроль над страстями и объединяющую функцию в обществе благодаря его по сути синтетической деятельности, потребности в сотрудничестве и отзывчивой уверенности. Он видел, что разум, побеждающий животное желание, стремится объединить людей, в то время как чувственность стремится привести их к враждебному столкновению. Если он рекомендовал воздержание из-за увеличения эгоистического удовольствия, которое оно обеспечивает, то он рекомендовал его и как делающее человека более эффективным инструментом для служения обществу. Если он призывал к повиновению установленным законам, то, несомненно, отчасти из просвещенных собственных интересов, а также потому, что таким образом обеспечивались единство и гармония между гражданами. И если он настаивал на необходимости формирования определенных понятий, то с той же двойной ссылкой на личную и общественную пользу. Наряду с рассеянным, социальным характером разума он признавал его необходимую спонтанность. В содружестве, где все граждане свободны и равны, должны быть также свобода и равенство разума. Разработав для себя теорию жизни, он хотел, чтобы все остальные люди, насколько это возможно, прошли через ту же бодрящую дисциплину. Здесь кроется секрет его знаменитого эротического метода. Он не читал, как софисты, непрерывных лекций, не отвечал, как некоторые из них, на все вопросы, которые ему задавали. Напротив, он задавал всем, кто попадался ему на пути, ряд вопросов, как правило, в форме альтернативы, одна сторона которой казалась самоочевидно истинной, а другая - самоочевидно ложной, выстроенной таким образом, чтобы шаг за шагом привести отвечающего к выводу, который он должен был принять. Сократ не изобрел этот метод. Он уже давно практиковался в афинских судах как средство получения от противной стороны признаний, которые невозможно было получить иным способом, откуда перешел в трагическую драму и в обсуждение философских проблем. Нигде больше аналитическая мощь греческой мысли не проявлялась так блестяще; ведь прежде чем подвергнуть спорное предложение такому способу обработки, его нужно было тщательно отделить от путаных дополнений, рассмотреть во всех различных смыслах, которые ему можно придать, разделить, если оно было сложным, на два или более отдельных утверждения и связать их тонкой цепочкой демонстраций с признанием, с помощью которого устанавливалась или опровергалась его истинность.

Сократ, таким образом, не создал перекрестный допрос эленха, но он дал ему два новых и очень важных применения. Насколько мы можем судить, до сих пор он использовался (опять же по примеру судов) только для выявления ошибки или намеренного обмана. Он сделал его инструментом для внедрения своих убеждений в умы других людей, но так, что собеседники, казалось, сами открывали их для себя и, несомненно, учились, как, в свою очередь, практиковать тот же дидактический допрос в будущем. Кроме того, он использовал его в целях логической самодисциплины, о чем мы сейчас расскажем. Конечно, Сократ также использовал эротический метод как средство опровержения, и в его руках он мощно иллюстрировал то, что мы называли негативным моментом греческой мысли. Чтобы подготовить почву для новой истины, необходимо было очистить ее от заблуждений, которые могли помешать ее принятию; или, если самому Сократу нечего было передать, он мог, во всяком случае, очистить неоформившиеся умы от ложного представления о знании и удержать их от попыток решать трудные задачи, пока они не будут должным образом подготовлены к этому делу. Например, некий Глауко, брат Платона, попытался выступить в общественном собрании, когда ему еще не было двадцати лет, и, естественно, оказался совершенно непригоден для этой задачи. В Афинах, где каждый гражданин имел право голоса в делах своей страны, препятствия, намеренные или нет, решались очень жестко.

Ораторов, которым нечего было сказать, чтобы их выслушали, полиция насильно удаляла с бемы; такая участь уже не раз постигала молодого оратора, к досаде его друзей, которые не могли убедить его воздержаться от повторения эксперимента, когда Сократ взял дело в свои руки. Один или два ловких комплимента по поводу его амбиций привлекли Глауко к беседе с ветераном-диалектиком о целях и обязанностях государственного деятеля. Было решено, что его первой целью должно быть благо страны, и что хорошим способом достижения этой цели будет увеличение ее богатства, что, опять же, может быть сделано либо путем увеличения поступлений, либо путем уменьшения расходов. Может ли Глауко сказать, каковы нынешние доходы Афин и откуда они берутся? Нет, он не изучал этот вопрос. Тогда, возможно, он мог бы предложить какие-нибудь полезные сокращения. Нет, он не изучал и этого. Но государство, по его мнению, может обогатиться за счет своих врагов. Хорошая идея, если мы будем уверены, что сможем победить их первыми! Только, чтобы не рисковать, нападая на того, кто сильнее нас, мы должны знать, каковы военные ресурсы противника по сравнению с нашими собственными. Начнем с последнего: Может ли Глауко сказать, сколько кораблей и солдат в распоряжении Афин? Нет, сейчас он не помнит... Тогда, может быть, у него все это где-то записано? Признаться, нет. И так продолжается до тех пор, пока Сократ не уличил своего честолюбивого друга в том, что тот не обладает никакой достоверной информацией по политическим вопросам.⁹⁰

Ксенофонт записал еще один диалог, в котором молодому человеку по имени Евтидем, который тоже готовился стать государственным деятелем и, как он полагал, узнал из книг гораздо больше, чем мог научить его Сократ, дают понять, как мало он знает об этической науке. Его спрашивают: "Может ли человек быть хорошим гражданином, не будучи справедливым? Нет, не может. Может ли Евтидем сказать, какие поступки справедливы? Да, конечно, а также несправедливые.- Под какую голову он ставит такие действия, как ложь, обман, причинение вреда, порабощение? Под голову несправедливости.- Но если предположить, что с враждебным народом обращаются различными указанными способами, разве это несправедливо? Нет, но ведь подразумевались только друзья.-Ну, а если генерал ободряет свою армию ложными заявлениями, или отец обманом заставляет своего ребенка принять лекарство, или ваш друг, похоже, собирается покончить с собой, а вы выхватываете у него смертоносное оружие, разве это несправедливо? -Нет, мы должны добавить к нашему определению "с целью причинения вреда". Сократ, однако, не останавливается на этом, а продолжает перекрестный допрос, пока несчастный ученик не приходит в состояние безнадежного недоумения и стыда. Тогда он приходит к пониманию необходимости самопознания, которое объясняется как знание собственных сил. В качестве следующего упражнения Евтидемус проходит через свои личины на тему добра и зла. В качестве неоспоримых благ упоминаются здоровье, богатство, сила, мудрость и красота. Сократ показывает в стиле, давно подражавшем Ювеналу, что - это лишь средства достижения цели, и они могут принести вреда не меньше, чем пользы.- Счастье, во всяком случае, является неоспоримым благом.- Да, если только мы не заставим его состоять из сомнительных благ, подобных тем, что только что перечислили.⁹¹

Именно в этом последнем разговоре исторический Сократ больше всего похож на Сократа из "Апологии" Платона. Однако вместо того, чтобы оставить Евтидема наедине с сознанием своего невежества, как поступил бы тот, он, по рассказу Ксенофонта, направляет обучение юноши по самым простым и ясным принципам; и у нас есть еще один разговор, где религиозные истины прививаются тем же катехизическим способом.⁹² Здесь эротический метод, очевидно, является простым дидактическим приемом, и Сократ мог бы легко изложить свой урок в форме обычной демонстрации. Но нет сомнений, что в других случаях он использовал его как средство для придания большей точности своим собственным

идеям, а также для проверки их обоснованности, что, одним словом, привычка к устному общению дала ему знакомство с логическими процессами, которое невозможно было приобрести иным способом. Тот же перекрестный допрос, который действовал как шпора на ум респондента, действовал как узда на ум допрашиваемого, обязывая его заранее убедиться в каждом выдвигаемом им утверждении, изучить взаимные связи своих убеждений, проанализировать их на составные элементы и исследовать, в каком отношении они находятся к общепринятым мнениям. Уже говорилось, что Сократ дал эротическому методу два новых применения; теперь мы видим, в каком направлении они развивались. Он превратил его в средство позитивного обучения, а также в инструмент самодисциплины, помогающий выполнить дельфийское предписание: "Познай самого себя". Второе применение было даже более важным, чем первое. У нас литературное обучение, то есть практика непрерывного чтения и сочинения, так широко распространена, что беседа стала скорее помехой, чем помощью в воспитании способности к аргументации. При жизни Сократа все было наоборот. Длительное знакомство с дебатами было неблагоприятно для искусства письма; и речи Фукидида показывают, как трудно было до сих пор представлять глубокие рассуждения в форме непрерывного изложения. В риторической прозе сохранились традиции разговорных выпадов и парирования, а скрещенные мечи языкового заграждения были представлены оцетинившимися *шево-де-фризами* искусной антитетической схемы, где каждое положение получало новую силу и смысл от контраста со своим противоположным соседом.

Объединив различные предложенные здесь соображения, мы придем к более ясному пониманию скептической позиции, обычно приписываемой Сократу. Прежде всего, это негативная и критическая функция, выполняемая им совместно со многими другими конструктивными мыслителями и тесно связанная с фундаментальным законом греческой мысли. Затем аттическая вежливость и демократический дух, заставляющие его избегать любого предположения о превосходстве над теми, чьи мнения он рассматривает. И, наконец, глубокое чувство, что истина - это общее достояние, которое ни один человек не может присвоить себе как свою особую привилегию, потому что она может быть открыта, проверена и сохранена только объединенными усилиями всех.

V.

Таким образом, сократовский диалог имеет двойной аспект. Как и вся философия, он представляет собой вечный перенос жизни в идеи и идей в жизнь. Жизнь поднимается на более высокий уровень благодаря мысли; мысль, вступая в контакт с жизнью, обретает движение и рост, ассимилирующую и репродуктивную силу. Чтобы действие было гармоничным, мы должны регулировать его универсальными принципами; чтобы наши принципы были эффективными, они должны быть приняты; чтобы они были приняты, мы должны продемонстрировать их к удовлетворению наших современников. Язык, состоящий, как , почти полностью из абстрактных терминов, предоставляет материалы, из которых только и может быть создан такой идеальный союз. Но люди не всегда используют одни и те же слова, особенно если это абстрактные слова, в одном и том же смысле, и поэтому в этом отношении необходимо достичь предварительного согласия; этот факт первым признал Сократ. Аристотель рассказывает, что именно он ввел в философию обычай построения общих определений. Потребность в точных словесных объяснениях ощущается в обсуждении этических проблем больше, чем где бы то ни было, если мы принимаем этику в том единственном смысле, который принял бы Сократ, как охватывающую всю область умственной деятельности. Правда, определения используются также в математических и физических науках, но там они сопровождаются иллюстрациями, заимствованными из

чувственного опыта, и без них были бы непонятны. Поэтому эти отрасли знания смогли добиться огромного прогресса, в то время как элементарные понятия, на которых они основываются, еще не были удовлетворительно проанализированы. Ситуация полностью меняется, когда приходится принимать во внимание ментальные диспозиции. Здесь абстрактные термины играют ту же роль, что и разумные интуиции в других местах, в поддержании наших представлений, но не обладают той же неизменной ценностью; опыт, на основе которого формируются эти представления, чрезвычайно сложен и, более того, может быть нарушен в результате непредвиденных обстоятельств. Таким образом, пренебрегая рядом мельчайших изменений, одно и то же название может стать обозначением групп явлений, не сходных по тем качествам, которые оно обозначало изначально. Не один пример такой постепенной метаморфозы уже приводился в ходе нашего исследования, и в дальнейшем будут встречаться и другие. Там, где речь идет о разграничении добра и зла, огромное практическое значение имеет то, что словам придается определенное значение и что им нельзя позволять, по крайней мере без явного согласия, отходить от общепринятого: ведь такие слова, означающие одобрение или неодобрение человечества, оказывают мощное влияние на поведение, так что их неправильное применение может привести к катастрофическим последствиям. Там, где преобладает власть писаного закона, важность определения этических терминов сразу же становится очевидной, поскольку в противном случае под видом судебного толкования восстанавливается личное правление. Римская юриспруденция была первой масштабной попыткой ввести строгую систему определений в законодательство. В предыдущей главе мы видели, как она стремилась придать практическую форму выводам греческой натурфилософии. Теперь мы видим, как с формальной стороны его определения связаны с принципами Сократа. И мы не будем недооценивать это обязательство, если будем помнить, что точная формулировка правовых актов не менее важна, чем сущностная справедливость их содержания. Точно так же развитие католического богословия требовало постепенного определения его фундаментальных концепций. Только это позволило сохранить интеллектуальный характер католицизма в эпоху невежества и суеверий, а также помогло сохранить разум, с помощью которого суеверия были в конце концов низвергнуты. Моммзен назвал теологию незаконнорожденным ребенком религии и науки. Это нечто такое, что в отсутствие родителя-робаста должно напоминать о его особенностях и поддерживать его традиции даже с помощью незаконнорожденного отпрыска.

До сих пор мы говорили так, будто сократовские определения были только словесными; однако они были гораздо больше, и их автор не совсем точно различал то, что на том этапе развития мысли не могло быть разделено - объяснения слов, практические реформы и научные обобщения. Например, определяя правителя как того, кто знает больше других людей, он отходил от общепринятых языковых норм и показывал не то, что было, а то, что должно быть правдой.⁹³ А определяя добродетель как мудрость, он выдвигал собственную теорию, а не формулировал принятое значение термина. И все же, сделав все выводы, мы не можем не понять, какую огромную услугу оказало точной мысли введение всевозможных определений в тот отдел исследований, где они были особенно необходимы. Мы можем также заметить, что общий закон греческого интеллекта реализовывался здесь в новом направлении. Потребность в точном определении ощущалась всегда, но до сих пор она действовала в более элементарных формах времени, пространства и причинности, или, если воспользоваться более высоким обобщением современной психологии, в форме смежных ассоциаций. Все ранние космологии были процессами очерчивания; они были попытками установить границы Вселенной, и, соответственно, тот элемент, который должен был окружать другие, также представлялся как их производящая причина, или, иначе (в теории Гераклита), как типизация обоснования их непрерывной трансформации. По этой причине

Парменид, отождествляя существование с протяженностью, был вынужден заявить, что протяженность обязательно ограничена. Из всех физических мыслителей Анаксагор, который непосредственно предшествует Сократу, с объективной стороны наиболее близок к его точке зрения. Ибо управляющий *Nous* выводит порядок из хаоса, разделяя спутанные элементы, отделяя непохожее и соединяя подобное, что в точности соответствует определению наших понятий. Тем временем греческая литература выполняла ту же задачу в более ограниченной области, сначала фиксируя события в соответствии с их географическим и историческим положением, затем определяя для каждого из них соответствующую причину, затем, как это делает Фукидид, выделяя наиболее важные группы событий из их внешних связей и анализируя причины сложных изменений по различным классам предшественников. Окончательный переворот, произведенный Сократом, заключался в замене упорядочивания по различию и сходству на упорядочивание по смежности в сосуществовании и преемственности. Сказать, что таким образом он создал науку, неточно, поскольку наука требует рассмотрения природы во всех аспектах, включая те, которыми он систематически пренебрегал; но мы можем сказать, что он ввел метод, который наиболее применим к психическим явлениям, метод идеального анализа, классификации и рассуждения. Ибо, заметьте, Сократ не ограничивался поиском Единого во Многих, он также, и, возможно, более привычно, искал Многое в Едином. Он брал в руки какую-нибудь концепцию и анализировал ее на различные составляющие, выкладывая их, как бы по частям, перед собеседником для отдельного принятия или отвержения. Если, например, они не могли договориться о сравнительных достоинствах двух граждан, Сократ разлагал характер хорошего гражданина на составные части и сводил сравнение к ним. Хороший гражданин, говорил он, увеличивает национальные ресурсы, управляя финансами, побеждает врага за границей, завоевывает союзников своей дипломатией, умиротворяет раздоры своим красноречием дома.⁹⁴ Когда застенчивый и одаренный Чармид постеснялся выступить перед публикой по общественным вопросам, Сократ попытался преодолеть его нервозность, безжалостно разделив августейшую Экклесию на составляющие ее классы. "Кого ты боишься - набивщиков?" - спрашивал он, - "или резчиков кож, или каменщиков, или кузнецов, или земледельцев, или торговцев, или низшего класса плутов?"⁹⁵ Здесь аналитическая сила греческой мысли проявляется с еще большим эффектом, чем при применении ее к пространству и движению Зеноном.

Сократ не только рассматривал целое понятие в связи с его частями, но и группировал понятия по родам, основывая логическую классификацию. Чтобы оценить влияние этой идеи на человеческие интересы, достаточно изучить диспозицию кодекса. Мы увидим, насколько легче подвести отдельные случаи под общее правило и удержать в памяти весь свод правил, когда мы можем шаг за шагом переходить от наиболее универсальных к наиболее частным категориям. Так, именно юристы, сведущие в стоической философии, кодифицировали римское право, и именно стоицизм наиболее верно сохранил традиции сократической философии.

Однако логическое деление - это процесс, который не может быть полностью представлен каким-либо фиксированным и формальным распределением тем, равно как и расположением родов и видов в соответствии с их естественным родством, как в восхитительных системах Жюссье и Кювье. Это нечто гораздо более гибкое и тонкое, доведение до мельчайших деталей того психологического закона, который требует, как условие совершенного сознания, чтобы чувства, представления, суждения и, вообще говоря, все психические модусы воспринимались вместе с их противоречивыми

противоположностями. Гераклит смутно воспринимал эту истину, когда учил тождеству антитетических пар, и она более или менее ярко иллюстрируется всей греческой классической литературой после него; но Сократ, кажется, был первым, кто превратил ее из закона существования в закон познания; При нем знание и невежество, разум и страсть, свобода и рабство, добродетель и порок, добро и зло (πολλὰ ὁνομάτων μορφή μία) были восприняты в неразрывной связи и использовались для взаимного разъяснения не только в широких массах, но и через их последние подразделения, подобно тонкой настройке света и тени на венецианском холсте. Этот метод классификации с помощью градуированного спуска и симметричного контраста, как и вся диалектическая система, частью которой он является, подходит только для психических явлений, для которых он был первоначально разработан; и Гегель совершил роковую ошибку, когда применил его для объяснения порядка внешнего сосуществования и преемственности. Мы уже касались субъективного характера сократовского определения, и нам придется сделать аналогичное ограничение при рассмотрении сократовской индукции. Что касается последнего рассмотренного вопроса, то наши пределы не позволяют нам, да и не входит в рамки нашего настоящего исследования, продолжать размышления, которые никогда не были полностью разработаны ни афинскими философами, ни их современными преемниками, по крайней мере, не в единственном законном направлении.

После определения и деления следует рассуждение. Мы объединяем предметы в классы, чтобы, зная один или несколько, познать все. Аристотель приписывает Сократу первое систематическое применение индукции, а также общих определений.⁹⁶ Тем не менее, его метод не был исключительно индуктивным и не имел более чем отдаленного сходства с индукцией современной науки. Его принципы были получены не из конкретных классов явлений, которые они определяли или должны были определять, а из других аналогичных явлений, которые уже были приведены к порядку. Заметив, что все ремесла выполняются по четко определенным разумным правилам, приводящим, насколько это возможно, к удовлетворительным результатам, он потребовал, чтобы жизнь во всей ее полноте была систематизирована подобным образом. Это было не столько рассуждение, сколько требование более широкого применения рассуждений. Это был истинно философский постулат, ибо философия не является наукой, но предшествует ей и лежит в ее основе. Вера и действие имеют тенденцию разделяться на две области, из которых одна более или менее организована, а другая более или менее хаотична. Мы философствуем, когда пытаемся привести одну из них в порядок, а также когда проверяем основы, на которых зиждется порядок другой, борясь как с бессвязным мистицизмом, так и с традиционной рутинной. Такова цель, которую ставили перед собой самые выдающиеся мыслители современности - Фрэнсис Бэкон, Спиноза, Юм, Кант, Огюст Конт и Герберт Спенсер, - как бы сильно они ни расходились в своих взглядах, все они, в соответствии со своими взглядами, ставили перед собой задачу достижения этой цели. Несомненно, между Сократом и его последними преемниками существует огромная разница, заключающаяся в том, что физическая наука - это великий тип уверенности, на уровень которой они хотели бы поднять все спекуляции, в то время как для него она была типом заблуждения и невозможности. Аналогия с художественным творчеством в применении к природе привела его на совершенно ложный путь, приписывая сознательному замыслу то, что на самом деле является результатом механической причинности.⁹⁷ Но теперь, когда отношения между известным и неизвестным полностью изменились, нет никакого оправдания для повторения заблуждений, которые навязывали его энергичному пониманию; и подлинный дух Сократа лучше всего представляют те, кто, начиная, как и он, с данных опыта, приходят к диаметрально противоположному заключению. Можно добавить, что сократовский метод аналоговых рассуждений дал ретроспективное обоснование ранней греческой мысли, о котором сам

Сократ не знал. Его смелые обобщения на самом деле были умозаключением от известного к неизвестному. Интерпретировать все физические процессы в терминах материи и движения - значит лишь предполагать, что изменения, в которые не могут проникнуть наши органы чувств, однородны с изменениями, которые мы можем ощущать и видеть. Когда Сократ утверждал, что, поскольку человеческое тело одушевлено сознанием, материальная вселенная должна быть одушевлена аналогичным образом, Демокрит мог бы ответить, что мир не имеет никакого вида, что он устроен подобно животному. Когда он утверждал, что, поскольку известно, что статуи и картины - дело рук разума, живые модели, с которых они скопированы, должны быть так же созданы, Аристодему следовало ответить, что первые, как видно, изготовлены, а другие, как видно, растут. Можно было бы также заметить, что если наш собственный интеллект требует объяснения со стороны причины, подобной ему самому, то и творческая причина также должна быть объяснена, и так далее через бесконечный регресс предшественников. Телеология была уничтожена дарвиновской теорией; но до появления "Происхождения видов" малейшее исследование могло бы показать, что она является шатким основанием для религиозной веры. Если многие вдумчивые люди сейчас отворачиваются от теизма, "естественную теологию" можно поблагодарить за это дезертирство. "Я верю в Бога, - говорит немецкий барон в Торндейле, - пока ваши философы не докажут Его существование". "А потом?" - спрашивает друг. "А потом я не верю в демонстрацию".

В какие бы ошибки ни впадал Сократ, он не совершил роковой ошибки, скомпрометировав свою этическую доктрину неразрывной связью с метафизическими взглядами. Религия, вместо того чтобы быть источником и санкцией всех обязанностей, просто привносила дополнительную обязанность - благодарность богам за их доброту. Завершив обзор диалектического метода, с которым он был так тесно связан, мы увидим, где он искал конечное основание морали. Индукция Сократа, когда она выходила за рамки аналоговых рассуждений, которые мы только что рассматривали, была в основном абстракцией, процессом, с помощью которого он получал те общие понятия или определения, которые играли столь большую роль в его философии. Так, сравнивая различные добродетели, как их принято различать, он обнаружил, что все они сходятся в том, что требуют знания, которое, как он заключил, и есть суть добродетели. Так и другие моралисты пришли к выводу, что правильные поступки похожи друг на друга по своим положительным качествам, и только по ним. Точно так же политэкономы находят, или раньше находили (ибо мы не хотим быть позитивными в этом вопросе), что общей характеристикой всех промышленных занятий является стремление обеспечить максимальную прибыль при минимуме хлопот. Другое сравнение показывает, что стоимость зависит от соотношения между спросом и предложением. Эстетические удовольствия всех видов похожи друг на друга тем, что включают в себя элемент идеальных эмоций. Общей характеристикой всех познаний является то, что они построены по ассоциации из элементарных чувств. Для всех обществ характерно более или менее развитое разделение труда. Это типичные обобщения, к которым пришли с помощью сократовского метода. Все они взяты из философских наук, то есть наук, занимающихся явлениями, которые частично определяются разумом, и систематическая обработка которых настолько схожа, что они часто изучаются в сочетании одним мыслителем, и неизменно - величайшими мыслителями из всех. Но если бы мы изучили историю физических наук, то обнаружили бы, что этот метод широкого сравнения и быстрого абстрагирования не может быть успешно применен к ним, как это представлял себе Фрэнсис Бэкон. Факты, с которыми они имеют дело, не прозрачны, не поддаются прямому воздействию мысли; следовательно, к ним нужно подходить дедуктивно. Вместо фронтальной атаки мы должны, так сказать, зайти им в тыл. Бэкон никогда не делал более неудачного замечания, чем когда говорил, что силлогизм далеко не соответствует тонкости

природы. Природа даже проще силлогизма, поскольку она достигает своих результатов, продвигаясь от уравнивания к уравниванию. То, что действительно не дотягивает до ее тонкости, - это как раз бэконовская индукция с ее поверхностным сравнением примеров. Никакие наблюдения не смогут обнаружить никакого сходства между раскатом грома и притяжением груза, или между горением угля и ржавлением гвоздя.

Но хотя философы не могут предписать метод физической науке, они могут в определенной степени подчинить ее своему знанию, отделив ее фундаментальные концепции и предположения и показав, что они являются функциями разума; расположив специальные науки в систематическом порядке для целей изучения; и исследовав закон их исторической эволюции. Кроме того, поскольку психология является центральной наукой философии и тесно связана с физиологией, которая, в свою очередь, опирается на неорганические науки, определенное знание объективного мира необходимо для любого познания себя. Наконец, поскольку субъективная сфера не только раз и навсегда опирается на объективную, но и находится в состоянии постоянного действия и реакции с ней, никакая философия не может быть полной, если не принимает во внимание конституцию вещей, как они существуют независимо от нас, чтобы установить, насколько они неизменны и насколько они могут быть изменены к нашей пользе. Итак, мы видим, что Сократ, ограничивая философию человеческими интересами, руководствовался справедливым тактом; что, создавая метод диалектической абстракции, он создал инструмент, адекватный этому исследованию, но только этому; и, наконец, что человеческие интересы, понимаемые в самом широком смысле, охватывают ряд вспомогательных исследований, которые либо не существовали, когда он преподавал, либо которые неизбежные суеверия его века не позволяли ему преследовать.

Остается рассмотреть еще один аспект диалектического метода, впервые широко разработанного Платоном и впервые полностью определенного Аристотелем, но уже игравшего определенную роль в сократовском учении. Это проверка общих предположений путем доведения их до логического завершения и отбрасывания тех, которые приводят к последствиям, не согласующимся с ними самими. В таком понимании диалектика означает полное устранение несоответствий и с тех пор остается самым мощным оружием философской критики. К примеру, ее постоянно используют такие радикально разные мыслители, как Герберт Спенсер и профессор Т. Х. Грин, а Гегель и его школа с ослепительным, хотя и кратковременным успехом обобщили ее в объективный закон природы и истории.

VI.

Последовательность - вот слово, которое лучше, чем какое-либо другое, выражает весь характер Сократа, а также всю философию. Здесь высшая концепция разума вновь предстает в своем самом строгом, но в то же время самом благотворном аспекте. Это воздержанность, которую не могут удивить никакие соблазны; стойкость, которую не может пробить никакой ужас; справедливость, которая исключает все личные соображения, как эгоистические, так и альтруистические; правдивость, которая с точной гармонией согласует слова со значениями, значения с мыслями, а мысли с вещами; логика, которая не потерпит никакого самопротиворечия; убежденность, которая не ищет никакого согласия, не одобренного разумом; либерализм, который работает через свободные агентства для свободы; любовь, которая желает добра другому только ради этого [другого](#)⁹⁸. Именно интеллектуальная страсть к последовательности сделала Сократа таким великим и соединила его жизнь в безупречное целое; но это была неосознанная движущая сила, и поэтому он приписывал простому знанию то, чего само знание не могло дать. Ясное

представление о правильном не может само по себе обеспечить послушание нашей воли. Высокие принципы не имеют никакой ценности, разве что для тех, в ком несоответствие между практикой и профессией вызывает самую острую боль, на которую способна их природа; чувство, подобное, хотя и неизмеримо более сильное, чем то, которое испытывают женщины с утонченной чувствительностью, когда видят криво поставленную свечу или неровно накрытый стол. Как возникли моральные законы и почему они предписывают или запрещают определенные виды действий - это вопросы, которые до сих пор разделяют школы, хотя все чаще авторитет на стороне утилитаристов: их окончательную санкцию - то, что, чем бы они ни были, делает повиновение им действительно моральным, - вряд ли можно искать где-то еще, кроме как в том же сознании логической строгости, которое определяет или должно определять наши абстрактные убеждения.

Как бы то ни было, мы смеем надеяться, что здесь был предложен принцип, достаточно глубокий и сильный, чтобы воссоединить две половины, на которые историки до сих пор делили сократовскую систему, или, скорее, начало той универсальной систематизации, называемой философией, которая еще не завершена и, возможно, никогда не будет завершена; принцип, который внешне проявляется в характере самого философа. С ним этика и диалектика становятся почти неразличимыми благодаря смешению процессов и параллельности целей. Целостность убеждений входит, как средство и как элемент, в совершенную целостность поведения, и она не может быть сохранена там, где отсутствует любой другой элемент правильности. Ясность, последовательность и согласованность - это мораль убеждений; а умеренность, справедливость и благодеяние, взятые в самом широком смысле и вместе взятые, составляют высшую логику жизни.

Уже было замечено, что мысли Сократа обретали форму в процессе общения, что они становились определенными только при живительном контакте с другим интеллектом. Это особенно характерно для его метода этической диалектики. Вместо того чтобы давать советы в форме лекции, как это во все времена любили делать другие моралисты, он выискивал какие-то уже существовавшие чувства или мнения, несовместимые с поведением, которое он не одобрял, а затем постепенно переходил от пункта к пункту, пока теория и практика не выставлялись в непосредственном контрасте. Здесь его рассуждения, о которых иногда говорят как об исключительно индуктивных, были строго силлогистическими, представляя собой применение общего закона к конкретному случаю. С ростом эмансипации разума мы можем наблюдать возвращение к сократовскому методу морализации. Вместо наград и наказаний, которые поощряют эгоистичный расчет, или примеров, которые стимулируют озорную ревность, если они не создают дух подражания, рассудительный тренер найдет свою движущую силу в зарождающейся склонности ученика к формированию моральных суждений, которые, отражаясь на собственных действиях человека, становятся тем, что мы называем совестью. В предыдущей главе упоминалось, что знаменитое золотое правило справедливости было сформулировано греческими моралистами уже в IV веке до н. э. Возможно, впервые его сформулировал Сократ. Во всех случаях оно встречается в трудах его учеников и удачно выражает суть всей его философии. Эта обобщающая тенденция была настолько естественной для благородного грека, что ее примеры встречаются задолго до возникновения философии. Мы находим ее в знаменитом вопросе Ахилла: "Не из-за женщины ли началась вся эта война? Разве только Атреиды любят своих жен?"⁹⁹ и в не менее знаменитой апострофе к Ликаону, напоминающей ему, что ранняя смерть - удел гораздо более достойных людей, чем он¹⁰⁰ - интонации, которые обрушиваются на нас с ужасающим эффектом вспышки молнии, освещающей весь горизонт существования, в то время как они парализуют или уничтожают отдельную жертву.

Сила, которой обладал Сократ, пробуждая другие умы к самостоятельной деятельности и апостольской передаче духовных даров, была, как мы уже говорили, вторым подтверждением его доктрины. Даже те, кто, подобно Антисфену и Аристиппу, черпал свои позитивные теории скорее у софистов, чем у него, предпочитали считаться его последователями; а Платон, у которого его идеи получили свое самое великолепное развитие, признал этот долг, сделав эту почитаемую фигуру центром своих бессмертных "Диалогов". Третьим подтверждением служит субъективная, практическая, диалектическая тенденция всей последующей философии, которую так принято называть. В этом вопросе мы ограничимся лишь одним примером из многих - недавним заявлением мистера Герберта Спенсера о том, что вся его система была построена ради ее этического [вывода](#)¹⁰¹.

Однако, помимо абстрактных спекуляций, идеальный метод, по-видимому, оказал непосредственное и сильное влияние на искусство, влияние, которое предвидел сам Сократ. В двух беседах, о которых сообщает [Ксенофонт](#)¹⁰², он внушает художнику Паррасию и скульптору Крито, что важно так одушевлять лица и фигуры, которые они изображают, чтобы они выражали человеческие чувства, энергию и склонности, особенно те, которые наиболее интересны и возвышенны. И именно в таком направлении развивалось подражательное искусство после Фидия, хотя и не без вырождения в сенсуализм, который Сократ сурово осудил бы. Другое и еще более примечательное доказательство влияния, оказанного на пластическое изображение идеальной философией, возможно, не было предусмотрено ее основателем. Мы имеем в виду замену греческой скульптурой на поздних этапах ее развития абстрактных и родовых сюжетов историческими, причем не только скульптурой, но и драматической поэзией. Ибо раннее искусство, независимо от того, обращалось ли оно к глазу или к воображению, и независимо от того, брались ли его сюжеты из истории или из вымысла, всегда было историческим в том смысле, что оно показывало выполнение конкретных действий конкретными людьми в определенном месте и в определенное время; способ представления, наиболее естественный для тех, чьи идеи в основном определяются смежными ассоциациями. Школы, возникшие после Сократа, отбросили ограничения конкретной реальности и нашли объединяющий принцип своих произведений в ассоциации по сходству, сделав свои фигуры олицетворением одного атрибута или группы атрибутов, и объединив формы, отличающиеся общностью характеристик или сходством функций. Так, Афродита больше не фигурировала как возлюбленная Ареса или Анхисека, но как олицетворение женской красоты; ее статуи группировались вместе с изображениями еще более прозрачных абстракций - Любви, Тоски и Желания. Аналогичным образом Аполлон стал олицетворением музыкального энтузиазма, а Дионис - вакхического вдохновения. Так и драматическое искусство, некогда полностью историческое, даже у Аристофана, теперь выбирало для своих сюжетов такие постоянно повторяющиеся типы, как пылкий любовник, суровый отец, искусный раб, хвастливый солдат и пресыщенный [паразит](#)¹⁰³.

Но и это было еще не все. Мысль, оторвавшись, казалось бы, от реальности в поисках пустых абстракций, с помощью этих самых абстракций вновь овладела конкретным существованием и приобрела гораздо более полное представление о его сложных проявлениях. Ведь каждый отдельный персонаж - это совокупность качеств, и понять его можно только тогда, когда эти качества, после того как они были изучены по отдельности, наконец-то соединяются воедино. Таким образом, биография - это очень позднее порождение литературы, и хотя биографии являются любимым чтением тех, кто больше всего презирует философию, они никогда не были бы написаны без ее помощи. Более того, прежде чем описывать персонажей, они должны существовать. Отчасти именно философия вызывает характер к существованию, настойчиво прививая самопознание и самокультуру, укрепляя индивидуальность человека в нечто независимое от обстоятельств, так что она

становится не фигурой в барельефе, а тем, что скульпторы называют круглой фигурой. Таким был сам Сократ, и такими были фигуры, которые он научил Ксенофонта и Платона распознавать и изображать. С них начинается рисование характеров, а "Меморабилии", в частности, являются самой ранней попыткой биографического анализа, которой мы располагаем. От них до "Жизни" Плутарха предстояло проделать еще долгий путь, но промежуток между ними не столь значителен, как тот, что разделяет Ксенофонта и его непосредственного предшественника Фукидида. И когда мы вспомним, как тесно связано содержание христианского учения с литературной формой его первой записи, мы еще лучше оценим всепроникающее влияние эллинской мысли, соперничающей, как и она, с силами природы в тонкости и всеобщем распространении.

Помимо преобразования искусства и литературы, диалектический метод помог совершить революцию в общественной жизни, и импульс, переданный в этом направлении, еще далеко не исчерпан. Мы уже упоминали о его влиянии на женское образование. Интеллектуальному расцвету Афин на первых порах способствовало полное разделение полов. Было очень мало друзей, с которыми афинский джентльмен говорил бы так мало, как со своей женой.¹⁰⁴ Полковник Мюре метко сравнивает ее положение с положением английской экономки, имеющей гораздо меньше свободы, чем та, которой пользуется последняя. Тем не менее союз нежного восхищения с потребностью в разумном сочувствии и желанием пробудить интерес к благородным занятиям существовал в Афинах в полной силе и создавал поле для его реализации. Вильгельм фон Гумбольдт заметил, что в это время рыцарская любовь поддерживалась обычаями, которые для нас являются крайне отталкивающими. Сохранение и направление столь ценного чувства в более законное русло было задачей первостепенной важности. Натуралистический метод этики сделал многое, но не мог сделать все, ибо требовалось нечто большее, чем возвращение к первобытной простоте. Здесь на помощь пришел метод разума, который восполнил недостаток. Взаимность была душой диалектики, как ее практиковал Сократ, а диалектика любви требует взаимности страсти, которая может существовать только между полами. Но в обществе, где свободное общение современной Европы было недопустимо, современные чувства не могли быть достигнуты одним махом; и те, кто искал общения с умными женщинами, должны были искать его среди класса, высшим представителем которого была Аспазия. Такие женщины играли большую роль в позднем афинском обществе; они посещали философские лекции, поставляли героинь для "Новой комедии" и в целом придавали литературе более здоровый тон. Их преемницы, Делии и Синтии из римской элегической поэзии, вызвали в сердцах возвышенные чувства, которые нуждаются лишь в более достойном объекте, чтобы поставить их в один ряд с самыми благородными выражениями нежности, которые звучали с тех пор. По крайней мере, здесь понять - значит простить; и мы будем менее скандальны, чем некоторые критики¹⁰⁵, мы даже откажемся признать, что Сократ пал ниже достоинства моралиста, когда услышим, что он однажды посетил знаменитую красавицу этого класса, Феодотку по имени¹⁰⁶, что он вовлек ее в игривую беседу; и что он учил ее больше внимания уделять своей профессии; привлекать чем-то более глубоким, чем личное обаяние; проявлять хотя бы видимость заинтересованности в благополучии своих любовников; и стимулировать их пыл искусной сдержанностью, не оказывая никаких услуг, которых они не просили неоднократно и страстно.

Ксенофонт придает тому же интересу более назидательное направление, когда оживляет сухие подробности своей "Киропедии" трогательными эпизодами супружеской любви или преподносит уроки домашнего хозяйства в форме бесед между новобрачными.¹⁰⁷ Платон в некоторых отношениях превосходит, а в других не дотягивает до своего менее одаренного современника. Ведь его доктрина любви как воспитательного процесса - истинная доктрина,

несмотря на все насмешки и извращения, - хотя и легко применима к отношениям полов, не применяется им самим; а его проект общего обучения мужчин и женщин, хотя и предполагает большой прогресс по сравнению с существующей системой, если его правильно осуществить, был, с его точки зрения, ретроградным шагом к дикой или даже животной жизни, попыткой переложить половину бремени военной организации общества на тех, кто стал абсолютно неспособен их нести.

К счастью, диалектический метод оказался сильнее своих создателей и, пустившись в ход, ввел в горизонт философского сознания чувства и переживания, о которых они и не мечтали. Оказалось, что если женщинам есть чему учиться, то и от них можно многому научиться. Их пожелания нельзя было учсть, не придав значительно большего значения в руководстве поведением таким чувствам, как верность, чистота и жалость; и в этой степени религия, которую они помогли основать, по крайней мере в принципе не оставила места для дальнейшего прогресса. С другой стороны, только благодаря разуму более исключительно женские импульсы могут быть освобождены от своей примитивной узости и возведены в ранг истинно человеческих чувств. Любовь, предоставленная сама себе, причиняет больше боли, чем удовольствия, ибо слова старой идиллии, которые до сих пор остаются верными, связывают ее с ревностью, жестокой как могила; жалость, лишенная предвидения, создает больше страданий, чем облегчает; а слепая верность инстинктивно противостоит даже самым благотворным изменениям. Мы все еще страдаем от чрезмерного перевеса, который католицизм дал идеям женщин; но нам не нужно слушать тех, кто говорит нам, что разнообразный опыт человечества не может быть организован в рациональное, последовательное, самоподдерживающееся целое.

Обзор сократовской философии был бы неполным, если бы мы не прокомментировали один из элементов жизни Сократа, который на первый взгляд кажется совершенно не относящимся к философии. В его истории нет более достоверного факта, чем то, что он считал, что его постоянно сопровождает *Daemonium*, божественный голос, часто сдерживающий его даже в мелочах, но никогда не побуждающий к позитивным действиям. То, что это не была ни совесть в нашем понимании этого слова, ни предполагаемый знакомый дух, теперь общепризнанно. Даже те, кто верит в сверхъестественное происхождение и авторитет наших нравственных чувств, не наделяют их способностью предсказывать случайные добрые или злые последствия, которые могут повлечь за собой наши самые банальные и безразличные поступки; с другой стороны, эти чувства обладают не только положительной, но и отрицательной функцией, которая проявляется всякий раз, когда совершение добрых дел становится долгом. То, что демониум не был личным сопровождающим, доказывается неизменным использованием для его обозначения неопределенного прилагательного среднего рода. Как следует объяснять сам феномен - вопрос для профессиональных патологоанатомов. Нам же предстоит объяснить интерпретацию, которую дал этому явлению Сократ, и это, на наш взгляд, вполне естественно вытекает из характерного для него образа мыслей. То, что боги должны выражать свое благоволение видимыми знаками и публичными оракулами, было знакомо каждому греку. Сократ, представляя себе Бога как разум, распространяющийся по всей вселенной, искал следы Божественного присутствия в своем собственном разуме и с готовностью истолковывал любое внутреннее внушение, не поддающееся иному объяснению, как проявление этой всепроникающей силы. Почему она неизменно должна проявляться в форме запрета, менее очевидно. Единственное объяснение, по-видимому, заключается в том, что на самом деле такие загадочные чувства, независимо от того, являются ли они продуктом бессознательного опыта или нет, привычно действуют как сдерживающие, а не как стимулирующие факторы.

VII.

Этот *Daemonium*, чем бы он ни был, стал одним из мнимых оснований, по которым его обладатель был привлечен к суду и приговорен к смерти за нечестие. Мы могли бы избежать необходимости подробно разбирать обстоятельства, связанные с этим трагическим событием, если бы в некоторых известных работах не были предприняты попытки смягчить значение необычайно жестокого преступления. Дело обстоит следующим образом. В 399 году до н. э. Сократу, которому тогда было уже за семьдесят и который никогда в жизни не представал перед судом, было предъявлено тройное обвинение: введение новых божеств, отрицание уже признанных государством и развращение юношей. Его главным обвинителем был поэт Мелет, которого поддерживал ритор Ликон и гораздо более влиятельный сторонник Анит, один из ведущих граждан восстановленной демократии. Обвинение рассматривалось перед большим народным трибуналом, насчитывавшим около пятисот человек. Сократ отнесся к этому делу с глубоким безразличием. Когда ему предложили подготовить защиту, он справедливо ответил, что готовился к этому всю свою жизнь. Он и в самом деле не мог предвидеть, какую линию займут обвинители. Наши собственные сведения на этот счет достаточно скудны, в основном они основаны на упоминаниях Ксенофонта, который сам не присутствовал на суде. Однако, думается, будет несправедливо заключить, что обвинение в иррелигиозности не было и не могло быть обоснованным. Свидетельства Ксенофонта вполне достаточны для того, чтобы утверждать о безупречной ортодоксальности его друга. Если в Афинах действительно считалось преступлением верить в непризнанных государством богов, то Сократ не был виновен в этом преступлении, поскольку его Демон был не новым божеством, а откровением от установленных божеств, таким, какое во все времена разрешалось принимать отдельным верующим даже в самых ревностных религиозных общинах. Обвинение в неверности, обычно и без разбора предъявляемое всем философам, было особенно несчастливой для великого противника физической науки, который, к тому же, отличался пунктуальным исполнением своих религиозных обязанностей. То, что первые два пункта обвинения оказались столь легкомысленными, вызывает сильное предубеждение против третьего. Обвинения в коррупции, по-видимому, сводятся к двум пунктам: якобы поощрение неуважения к родителям и недовольство демократическими институтами. В поддержку первого из них некоторые невинные высказывания Сократа, похоже, были подхвачены и жестоко извращены. Побуждая своих молодых друзей к совершенствованию ума, он заметил, что отношения имеют ценность только тогда, когда они могут помогать друг другу, а для этого они должны быть правильно воспитаны. Это было переиначено в утверждение, что невежественные родители могут быть под контролем своих более осведомленных детей. То, что такой вывод не мог быть одобрен самим Сократом, очевидно из того, что он настаивал на уважении, причитающемся даже такой невыносимой матери, как Ксантиппа.¹⁰⁸ Политические взгляды обвиняемого представляли собой более уязвимую точку для нападок. Он считал обычай выбирать магистратов по жребию абсурдным и не скрывал своего презрения к нему. Однако нет оснований полагать, что такая чисто теоретическая критика была запрещена законом или обычаем в Афинах. Во всяком случае, на сцене допускались гораздо более революционные настроения. То, что Сократ не был бы участником насильственного подрыва конституции и относился бы к этому с большим неодобрением, ясно как из его жизни, так и из всего его учения. В противовес Гиппию он определял справедливость как повиновение закону страны. В один памятный случай жребий призвал его председательствовать на заседаниях суверенного собрания. Вопреки закону было внесено предложение, чтобы генералы, обвиненные в том, что они бросили экипажи своих затонувших кораблей в Аргинусе, были судимы одной партией. Несмотря на огромный шум народа, Сократ отказался ставить этот вопрос на голосование в тот единственный день,

который длился его пост. Справедливому и решительному человеку, не уступившему несправедливым требованиям толпы, вскоре пришлось столкнуться с угрозами хмурого тирана. Когда к власти пришли Тридцать, он публично, рискуя жизнью, выразил неодобрение их кровавым действиям. Олигархия, желая вовлечь в соучастие в своих преступлениях как можно больше уважаемых граждан, послала за пятью людьми, среди которых был и Сократ, и приказала им привести из Саламины некоего Льва, чтобы его предали смерти; остальные повиновались, но Сократ отказался сопровождать их в их позорном поручении. Тем не менее, против философа сильно говорило то, что Алкивиад, самый озорной из демагогов, и Критий, самый дикий из аристократов, выдавали себя за воспитанников его школы. Помнили также, что он имел привычку цитировать отрывок из Гомера, где Одиссей описывается как взывающий к разуму вождей, а низших людей он приводит в чувство грубыми словами и еще более грубыми наказаниями. На самом деле Сократ не имел в виду, что богатые должны жестоко обращаться с бедными, ибо он сам первым бы пострадал, если бы ему позволили такую вольность, но он имел в виду, что там, где разум не справляется, нужно применять более жесткие методы принуждения. Именно потому, что выражение мнения в частной беседе может быть неправильно понято или намеренно извращено, приводить его в качестве доказательства обвинения в совершении преступления, в котором не может быть обвинения, является самой пагубной формой посягательства на свободу личности.

Современные критики, начиная с [Гегеля](#)¹⁰⁹, обнаружили причины считать Сократа опасным персонажем, которые, очевидно, не приходили в голову Мелету и его единомышленникам. Нам говорят, что вся система применения диалектики к морали имела тревожную тенденцию, так как если бы людям однажды внушили, что святость долга зависит от их индивидуального убеждения, они могли бы отказаться от убеждения и действовать соответствующим образом. И далее утверждается, что Сократ впервые ввел этот принцип субъективности в мораль. Дух преследования настолько ненасытен, что при отсутствии поступков он нападает на мнения, а при отсутствии конкретных мнений - на общие тенденции. Мы знаем, что невежественные соседи подозревали Жозефа де Местра в том, что он революционер, потому что большую часть времени он проводил в учебе; а на днях один французский проповедник был отправлен в ссылку своим церковным начальством за то, что осмелился поддержать католическую мораль на рациональных основаниях.¹¹⁰ К счастью, греческое общество не подчинялось правилам доминиканского ордена. Нигде в Греции, и уж тем более в Афинах, не существовало той прочной, всеобъемлющей, неоспоримой ткани традиционных обязательств, которую предполагает Гегель; и Целлер слишком много уступает, когда защищает Сократа на том лишь основании, что признанные нормы права стали предметом всеобщего презрения во время Пелопоннесской войны, хотя и признает, что его вполне могли заставить замолчать в более ранний период, если, конечно, его учение можно было считать возможным еще до его начала.¹¹¹ Ибо с самого начала, как в литературе, так и в жизни, греческую мысль отличало горячее стремление докопаться до сути каждого вопроса и найти аргументы, универсально применимые для любого решения. Даже в юности Перикла узкие этические проблемы охотно обсуждались без какого-либо вмешательства со стороны государственных властей. Опыт должен был доказать, насколько далеко идущее влияние оказывают идеи, прежде чем можно было предпринимать систематические попытки контролировать их.

В каких выражениях Сократ отвечал своим обвинителям, нельзя сказать с абсолютной уверенностью. Уже были приведены причины полагать, что речь, вложенная в его уста Платоном, не совсем исторична; и здесь мы можем упомянуть в качестве дополнительной причины, что конкретные обвинения, упомянутые Ксенофонтом, в ней даже не упоминаются. Однако ясно одно: защита была очень достойной, и, хотя обвинения были успешно

опровергнуты, подсудимый стоял на своей невинности и отказался от обычных, но незаконных апелляций к состраданию суда. Мы уверены, что он был осужден исключительно из-за этой вызывающей позиции и очень небольшим большинством голосов. Мелет требовал смертной казни, но по аттическому закону Сократ имел право предложить в качестве альтернативы более мягкое наказание. Согласно Платону, он начал с того, что справедливой платой за его полную преданность общественному благу было бы содержание за государственный счет в течение оставшейся жизни - честь, обычно предоставляемая победителям на Олимпийских играх. В противном случае он предложил штраф в размере тридцати минаев, который должен был быть собран за счет пожертвований его друзей. По другой [версии](#)¹¹², он отказался, ссылаясь на свою невинность, назвать какое-либо альтернативное наказание. При повторном голосовании Сократ был приговорен к смерти гораздо большим большинством голосов, чем то, которое признало его виновным: восемьдесят из тех, кто голосовал за его оправдание, теперь проголосовали за его казнь.

Такова была сделка, которую пытались оправдать некоторые современники, в том числе Гроте, считая Сократа одним из лучших и мудрейших людей. Их аргумент заключается в том, что прославленная жертва была совместно ответственна за свою судьбу, и что на самом деле он был осужден не за учение, а за неуважение к суду. Нам кажется, что это различие без разницы. То, что было так хорошо сказано о пространстве и времени, можно сказать и о сократовской жизни и сократовском учении; каждое из них целиком содержалось в каждом пункте другого. Таким он предстал перед Дикастерием, таким же он предстал везде, всегда и для всех людей, предлагая им истину, всю истину и ничего, кроме истины. Если такое поведение, как у него, недопустимо в суде, значит, оно недопустимо вообще; если правосудие не может осуществляться без умолчаний, уклонений и маскировки, то где уж тут быть искренности? Если разум не должен быть верховным арбитром в вопросах, представляющих общественный интерес, то какие вопросы могут быть доверены его решению? Примите все смягчающие обстоятельства, какие только может придумать изобретательность, и с любой точки зрения ясно проявится один факт: Сократа обвинили как философа, он защищался как философ и был приговорен к смерти, потому что он был философом. Те, кто попытается удалить это пятно с характера афинского народа, обнаружат, что, подобно пятну крови на ключе Синей Бороды, когда его стирают с одной стороны, оно вновь появляется на другой. Наказывать Сократа за его учение или за то, как он защищал свое учение, было в равной степени преследованием, причем преследованием самого худшего свойства, которое нападает не на результаты свободной мысли, а на саму свободную мысль. Мы не можем согласиться с Гротом, когда он говорит, что осуждение Сократа "должно считаться одним из наименее мрачных пунктов мрачного каталога". Напротив, он самый мрачный из всех, потому что раскрывает глубину ненависти к чистому разуму в вульгарных умах, которая в противном случае могла бы остаться незамеченной. Есть некоторое оправдание для других гонителей, для Каиафы, св. Доминика, и Кальвина: для инквизиции и для авторов драгонад; для судей Джордано Бруно и судей Ванини: Они стремились истребить конкретные мнения, которые считали ложными и пагубными; нет такого оправдания афинским дикастам, менее всего тем восьмидесяти, которые, объявив Сократа невинным, приговорили его к смерти за то, что он вновь заявил о своей невинности; если, конечно, невинность не слишком слабое слово для описания его пожизненной борьбы с той самой иррелигией и коррупцией, которые были поставлены ему в вину. Здесь, в этом единственном деле, великий центральный вопрос между двумя абстрактными принципами, принципом власти и принципом разума, был очищен от всех случайных обстоятельств и оспаривался по своим собственным достоинствам с помощью обычного оружия аргументов с одной стороны и грубой силы с другой. По этому вопросу

Сократ был окончательно осужден, и по этому вопросу его судьи должны быть осуждены нами.

Мы также не можем согласиться с дальнейшим утверждением Гроте, что ни в одном греческом городе, кроме Афин, Сократу не было бы позволено вести перекрестный допрос в течение столь длительного периода. Напротив, мы согласны с полковником [Муре113](#), что ни в каком другом государстве ему бы не помешали. Ксенофан и Парменид, Гераклит и Демокрит высказывали гораздо более смелые мнения, чем он, мнения, радикально разрушающие греческую религию, не подвергая себя ни малейшему риску; Афины же не раз уже проявляли тот же дух фанатичной нетерпимости, хотя и не доходя до такой роковой крайности, благодаря, вероятно, своевременному бегству намеченных жертв. Мсье Эрнест Ренан совсем недавно противопоставил свободу мысли, предоставленную римским деспотизмом, узости старого греческого республиканизма, приведя в качестве примера последнего то, что он называет афинской инквизицией. Слово "инквизиция" не слишком сильное, только лектор не должен был заставить слушателей поверить, что греческий республиканизм в этом отношении был справедливо представлен его самым ярким типом, поскольку в этом случае Риму оставалось бы терпеть очень мало свободной мысли.

Во время случайно предоставленной ему месячной передышки у Сократа была еще одна возможность продемонстрировать непоколебимую покорность закону, которая была одним из его главных руководящих принципов на протяжении всей жизни. Ему были предложены средства для побега из тюрьмы, но он отказался ими воспользоваться, по словам Платона, чтобы сохранить нерушимым договор верности, которым его связывало гражданство. Смерть также не была для него желанной, хотя нельзя сказать, что он стремился к ней - желание предстать в образе мученика было совершенно чуждо благородной простоте его характера. Но он достиг того возраста, когда ежедневный рост мудрости, который для него одного делал жизнь достойной, казалось, может смениться постепенным и меланхоличным угасанием. Он никогда не сомневался в том, что этот прошлый прогресс был благом сам по себе, независимо от того, будет ли он продолжен в других мирах или сменится счастьем вечного сна. И мы можем быть уверены, что он считал бы свое собственное высшее благо столь же желанным для всего человечества, даже если бы ясно предвидел, что его коллективные стремления и усилия не могут быть продлены навечно.

Можно назвать только двух философов, которые в наше время соперничали или приблизились к моральному достоинству Сократа. Как и он, Спиноза реализовал свой собственный идеал хорошей и счастливой жизни. Как и он, Джордано Бруно, не надеясь на будущее воздаяние, выбрал смерть, а не жизнь, неверную высшей истине, и смерть тоже в самой ужасной форме, не безболезненное угасание под болиголовом в языческом городе, а мучительное растворение, предназначенное католической любовью в качестве предвкушения вечного огня. Однако ни с тем, ни с другим параллель не может быть продолжена; ведь Спиноза, возможно, мудро, отказался встретить бури, которые подняло бы публичное исповедание и распространение его доктрины; и странная карьера Джордано Бруно не соответствовала его героическому концу. Сложные и отвлекающие условия, в которые попал их жребий, не позволили им достичь той статной завершенности, которой отличался классический век греческой жизни и мысли. Эти времена развили в них более дику энергию, более упорную выносливость, более сладкую чистоту, чем любая, которую знал древний мир. Но пока разрозненные элементы не соединятся в еще более возвышенную гармонию, наша бессонная жажда совершенства может быть удовлетворена только у одного источника. Перикл должен оставаться идеалом государственного управления, Фидий - художественного творчества, а Сократ - философской силы.

Прежде чем идеи, о которых мы рассказали, смогли отправиться на завоевание мира, необходимо было не только, чтобы Сократ умер, но и чтобы его философия тоже умерла, будучи поглощенной более великолепными обобщениями системы Платона. Эта система уже некоторое время является объектом пристального изучения в наших самых известных учебных заведениях, и знакомство с ней стало почти частью либерального образования в Англии. Лучшего источника вдохновения в сочетании с дисциплиной не найти; но мы поймем и оценим Платона еще лучше, если сначала извлечем ядро, вокруг которого его рассуждения собирались в последовательные отложения, а это мы можем сделать только с помощью Ксенофонта, чья небольшая работа также заслуживает внимания ради своей целомудренной и откровенной красоты. Отношение, в котором он находится к платоновским сочинениям, можно проиллюстрировать примером, знакомым каждому путешественнику. Как иногда при посещении готического собора нас ведут сквозь чудеса более современного здания - под парящими арками, по мозаичным тротуарам и между длинными рядами громоздящихся колонн, мимо расписанных фресками стен, многоярусных окон, резных кафедр и надгробных памятников с их бесконечным богатством мифологических образов - вниз, в самую древнюю часть любого из них, голый суровый склеп, суровый в простоте раннего искусства, опирающийся на колонны, взятые из древнего храма, и заключающий в себе гробницу какого-нибудь святого-мученика, чьему прославленному духу приписывается должность вечного заступника перед крышкой, и в честь которого было воздвигнуто все это внешнее великолепие; Так и мы проходим через многообразные и дивные сооружения воображения Платона к тому строгому мемориалу, где Ксенофонт с благочестивой заботой поместил под великими первичными подразделениями старой эллинской добродетели подлинный ковчег того, кто стоял первым среди тех, кто, добившись собственного избавления от сил заблуждения и зла, не хотел спастись в одиночку, но опубликовал тайну искупления, хотя смерть была наказанием за ее раскрытие; И кто своим передаваемым влиянием, даже в большей степени, чем своим вечным примером, все еще способствует прогрессивному развитию всего самого рационального, самого последовательного, самого социального и, следовательно, самого истинно человеческого в нас самих.

ГЛАВА IV. ПЛАТОН: ЕГО УЧИТЕЛЯ И ЕГО ВРЕМЯ.

I.

При изучении роста философии как исторической эволюции неизбежно возникают повторения и предвосхищения. На каждом шагу нас встречают идеи, которые можно оценить, лишь проследив их последующее развитие, или понять, лишь отнеся их к более ранним и полузабытым формам мышления. Умозрительная ткань соткана из нитей настолько тонких и сложных, что почти невозможно сказать, где начинается одна и заканчивается другая. Даже концепции, которые, казалось бы, передавались без изменений, постоянно приобретают новое значение зависимости от связей, в которые они вступают, или обстоятельств, к которым они применяются. Но если метод эволюции, с его двумя великими принципами непрерывности и относительности, заменяет лабиринт запутанных линий, часто возвращающихся сами по себе, на прямой путь, по которому когда-то должен был двигаться прогресс, мы с лихвой компенсируем это новым ощущением последовательности и

рациональности там, где раньше, казалось, царили иллюзии и экстравагантность. Она учит нас, что сны великого интеллекта могут быть более достойны нашего внимания, чем бодрствующее восприятие обычных людей. Сочетая в себе фрагменты старого порядка с рудиментарными очертаниями нового, они открывают тайную лабораторию духовной химии и помогают преодолеть промежуток, разделяющий самые контрастные фазы жизни и мысли. Более того, когда мы однажды привыкнем разбивать прошлые философские системы на составляющие их элементы, когда увидим, насколько разнородными и плохо скрепленными были части того или иного гордого здания, некогда предлагавшегося в качестве единственного возможного убежища от опасностей, угрожавших самому существованию цивилизации, мы будем готовы применить аналогичный метод к современным системам с не менее амбициозными претензиями; Отличать то, что является жизненно важным, плодотворным, оригинальным и прогрессивным в их идеальном синтезе, от того, что имеет лишь временную и временную ценность, если оно не является литературной реанимацией мертвого прошлого, провидческим, ретроградным и озорно ошибочным. А еще нам напомнят, что самые ценные идеи формировались, сохранялись и передавались только в ассоциации с земными и бренными ингредиентами. Функция истинной критики состоит в том, чтобы, подобно римскому ювелиру Роберта Браунинга, воздействовать на них "надлежащей огненной кислотой" очищающего анализа, который растворяет низший металл и оставляет после себя золотое кольцо, в котором мысль и действие неразрывно и плодотворно соединены.

Именно в таком духе, как нам кажется, мы должны подходить к великому мыслителю, чьи работы займут нас в этой и последующих главах. Ни один философ никогда не выступал так широко и уязвимо перед враждебной критикой. Ни один из них не провоцировал так часто репрессии своими непрекращающимися и тщательными нападениями на все существующие профессии, обычаи и верования. Можно даже утверждать, что никто не использовал оружие полемики с более беспринципным рвением. И можно добавить, что тот, кто так много говорит о важности последовательности, иногда осуждал и высмеивал те самые принципы, которые он в других местах отстаивает как очевидные истины. Другим было легко завершить начатую им работу по разрушению. На первый взгляд, его система состоит из утверждений, одно возмутительнее другого. Приписывание объективной конкретной отдельной реальности словесным абстракциям - это, несомненно, самый поразительный парадокс, который когда-либо даже метафизиком. И все же это центральная статья платоновского вероучения. То, что тело принципиально отличается от протяженности, могло бы, надо полагать, быть достаточно очевидным для математика, имевшего преимущество прийти вслед за Лейциппом и Демокритом. Их идентичность неявно утверждается в "Тимее". Что душа не может быть одновременно сотворенной и вечной; что доктрина метемпсихоза несовместима с наследственной передачей душевных качеств; что будущее бессмертие, эквивалентное и доказанное теми же аргументами, что и наше внутриутробное существование, не будет ни ужасом для виновных, ни утешением для праведников - эти положения неявно отрицаются психологией Платона. Переходя от теоретической к практической философии, можно заметить, что уважение к человеческой жизни, уважение к индивидуальной собственности, уважение к браку и уважение к правдивости обычно причисляются к самым сильным моральным обязательствам, соблюдение которых наиболее полно отличает цивилизованного человека от дикаря; в то время как детоубийство, коммунизм, беспорядочные половые связи и случайное использование преднамеренного обмана являются частью платоновской схемы искупления человечества. Нам не нужно делать больше, чем ссылаться на эти диалоги, где фазы и симптомы безымянной страсти описаны с бесподобным красноречием и, очевидно, с не меньшим сочувствием, чем с порицанием. Наконец, с точки зрения современной науки, можно утверждать, что Платон использовал все

свое мощное влияние, чтобы отбросить физические спекуляции на теологическую сцену; что он намеренно дискредитировал доктрину механической причинности, которая для нас является самым важным достижением ранней греческой мысли; Что он излагал преступную глупость тех, кто считал небесные тела тем, чем мы знаем их сейчас, - массами мертвой материи без особой божественности; и что он предлагал наказывать эту и другие ереси с суровостью, отличающейся от вспыльчивого фанатизма его родного города только более дисциплинированным и строгим применением.

Простому человеку было бы трудно понять, как такие экстравагантные идеи мог сознательно выдвигать величайший интеллект, когда-либо созданный Афинами, если не исходить из дорогого для посредственности принципа, что гений мало чем отличается от безумия и что философский гений похож на него больше, чем любой другой. И его удивление станет еще больше, когда он узнает, что лучшие и мудрейшие люди всех веков с благоговением взирали на Платона; что мыслители самых противоположных школ прибегали к нему за наставлениями и стимулами; что его труды никогда не изучались так внимательно, как в наш век - век, ставший свидетелем крушения стольких иллюзорных репутаций; И что величайший из английских педагогов использовал все свое влияние, чтобы способствовать лучшему пониманию и оценке Платона как основного элемента академической культуры - это влияние теперь распространяется далеко за пределы его собственного университета через перевод Платоновых диалогов, который слишком хорошо известен, чтобы нуждаться в какой-либо похвале с нашей стороны, но который мы можем упомянуть как один из основных авторитетов, использованных для настоящего исследования, вместе с работой немецкого ученого, свои обязательства перед которым проф. Джоуэтт признал с характерным [изяществом](#)¹¹⁴.

В противовес списку парадоксов, приведенному у Платона, было бы легко привести еще более длинный список блестящих вкладов в дело истины и права, установить баланс между ними и показать, что перевес на положительной стороне достаточно велик, чтобы оправдать благосклонный вердикт потомков. Однако мы считаем, что такой метод был бы столь же ошибочным, сколь и поверхностным. Ни Платон, ни любой другой мыслитель того же калибра - если таковой вообще существует - не должны быть оценены простым анализом его мнений. Мы должны вернуться к глубинным силам, результатом и откровением которых являются отдельные мнения. Каждый систематический синтез представляет собой определенные глубинные интеллектуальные тенденции, частично вытекающие из предшествующих философий, частично из социальной среды, частично из гения и характера самого мыслителя. Каждая из этих тенденций может быть полезной и необходимой, в зависимости от условий, в которых она проявляется, и в то же время две или более из них могут образовать крайне неустойчивое и взрывоопасное соединение. Тем не менее именно в умозрительных комбинациях они сохраняются и развиваются с наибольшей отчетливостью, и именно там мы должны их искать, если хотим понять психологическую историю нашей расы. Именно поэтому мы начали с намека на то, что линии нашего исследования могут привести нас назад по уже пройденному пути и вперед в регионы, которые в настоящее время не могут быть полностью исследованы.

У нас есть огромное преимущество в работе с Платоном: его философские труды дошли до нас целиком, в то время как о предшествующих ему мыслителях мы знаем лишь по фрагментам и из вторых рук. Это различие не является случайным. Платон был создателем спекулятивной литературы, как ее правильно называть: он был первым и одновременно величайшим художником, который когда-либо облакал абстрактную мысль в язык

соответствующего величия и великолепия; и, вероятно, именно красоте формы мы обязаны сохранением его трудов. Однако, к сожалению, наряду с подлинными произведениями мастера, под его именем до нас дошло некоторое количество произведений, часть из которых почти всеми признается поддельными, а подлинность других - вопрос, по которому лучшие ученые до сих пор расходятся во мнениях. В отсутствие каких-либо убедительных внешних доказательств на эту тему было потрачено огромное количество труда и знаний, а аргументы, приводимые обеими сторонами, иногда заставляют нас усомниться в том, что мыслительные способности филологов развиты лучше, чем, по словам Платона, были развиты способности математиков в его время. На сайте две крайние позиции занимают Гроте, который принимает весь александрийский канон, и Крон, который не признает ничего, кроме "Республики";¹¹⁵ в то время как гораздо более серьезные критики, такие как Шааршмидт, отвергают вместе с массой бесполезных сочинений несколько диалогов, почти равных по интересу и важности тем, в подлинности которых никогда не сомневались. Великий историк Греции, похоже, был довольно неразборчив как в своем скептицизме, так и в своей вере; и исключительное значение, которое он придавал свидетельствам современников или тому, что выдавалось за таковые при нем, возможно, неоправданно исказило его суждения в обоих направлениях. Как оказалось, авторитет канона гораздо слабее, чем представлял себе Гроте; но даже если допустить его крайнее утверждение, наш взгляд на философию Платона от этого серьезно не пострадает, поскольку те части, которые отвергаются всеми остальными критиками, не имеют никакого умозрительного значения. Дело обстоит бы совсем иначе, если бы мы согласились с теми, кто ставит под сомнение подлинность "Парменида", "Софиста", "Государственника", "Филеба" и "Законов"; ведь эти сочинения знаменуют собой новый поворот в платонизме, означающий полную трансформацию его фундаментальных принципов, что, собственно, и является одной из причин, по которой отрицается их подлинность. Однако, помимо многочисленных доказательств платоновского авторства, представленных как самими "Диалогами", так и косвенными ссылками на них в трудах Аристотеля, кажется совершенно невероятным, чтобы мыслитель, едва ли уступавший мастеру, каким, несомненно, был предполагаемый подражатель, согласился на то, чтобы его рассуждения проходили под чужим именем, да еще под именем того, чье учение он в некотором смысле оспаривал; Кроме того, трудно предположить, что его существование могло остаться незамеченным в период, отмеченный интенсивной литературной и философской деятельностью. Читатели, которые желают получить более полную информацию по этому вопросу, найдут на страницах Целлера тщательный и ясный анализ всей полемики, приводящий к умеренно консервативному заключению. Другие, несомненно, согласятся с вердиктом профессора Джоуэтта, что "в целом не шестнадцатая часть трудов, которые проходят под именем Платона, если исключить работы, отвергнутые самими древними, может быть подвергнута справедливому сомнению теми, кто готов допустить, что в его философии могли произойти значительные изменения и рост."¹¹⁶ К этому можно добавить, что платоновские диалоги, будь то работа одной или нескольких рук, и как бы сильно они ни различались между собой, вместе представляют собой единую фазу мысли, и их уместно изучать как связную серию.

В своем последнем замечании мы предположили, что в платоновских диалогах можно обнаружить некий хронологический порядок и проследить определенную прогрессивную модификацию общей направленности их учения от первого к последнему. Но и здесь позитивные свидетельства весьма скудны, а выдающиеся ученые выдвигали множество противоречивых теорий. Когда так много остается для предположений, лучшее, что можно сказать о любой гипотезе, - это то, что она объясняет факты в соответствии с известными законами мышления. Читателю предстоит судить, удовлетворяет ли этому условию наша собственная попытка проследить постепенную эволюцию системы Платона. При этом мы

возьмем за основу схему, принятую профессором Джоуэттом, с некоторыми оговорками, которые будут указаны ниже.

Прежде чем приступить к выполнению нашей задачи, необходимо отметить еще одну трудность. Платон, хотя и был величайшим мастером прозы, который когда-либо жил, и для своего времени необычайно объемным автором, питал сильную неприязнь к книгам и даже сожалел, что искусство письма когда-либо было изобретено. По его словам, человек может развлекаться, излагая свои мысли на бумаге, и даже может находить написанные памятки полезными для частного использования, но единственное наставление, о котором стоит говорить, передается в устной форме, что позволяет свободно высказывать возражения, не предусмотренные учителем, и получать на них ответы. ¹¹⁷ Таков был метод Сократа, и, несомненно, такова была практика самого Платона, когда ему удавалось изложить свою философию из уст в уста. По этой причине предполагается, что великий писатель не воспринимал свои книги всерьез и хотел, чтобы их считали не более чем элегантным развлечением в часы досуга, в то время как его более глубокие и серьезные мысли были припасены для лекций и бесед, о которых, за исключением нескольких упоминаний у Аристотеля, все записи исчезли. Однако то, что это было не так, можно легко показать. Во-первых, из того, как старательно Платон облачал свои философские изложения в разговорную форму, следует, что он не отчаивался найти литературную замену разговорному диалогу. Во-вторых, убедительным подтверждением этой теории является то, что Аристотель, личный друг и ученик Платона на протяжении многих лет, должен так часто ссылаться на "Диалоги" как на авторитетное свидетельство мнений своего учителя по самым важным вопросам. И, наконец, если удастся доказать, что в этих документах действительно воплощен всеобъемлющий и связный взгляд на жизнь и мир, мы будем удовлетворены тем, что устное преподавание Платона, если бы оно сохранилось, не изменило бы в какой-либо существенной степени впечатление, передаваемое его письменными сочинениями.

II.

Существует история о том, что Платон в довольно фарисейском духе благодарил богов за то, что они сделали его человеком, а не скотиной, мужчиной, а не женщиной, и греком, а не варваром; но больше всего за то, что они позволили ему родиться во времена Сократа. Следует заметить, что все эти блага направлены в одну сторону - на полное превосходство разума над импульсом и чувством. Утвердить, расширить и организовать это превосходство было целью всей его жизни. Такова, правда, была цель всех его предшественников, и такова, если говорить в целом, всегда и везде была цель философии; но никто не стремился к ней так сознательно прежде, и никто не провозглашал ее с таким энтузиазмом с тех пор. И хотя Платон не смог бы сделать этого без гораздо более широкого круга знаний и опыта, чем тот, которым обладал Сократ, только благодаря сократическому методу другие его дары и приобретения могли быть полностью использованы; и наоборот, только при работе с этими новыми материалами раскрывалась вся сила самого метода. Постоянно задавать вопросы и отвечать на них, получать информацию от всех и каждого по всем вопросам, которые стоит знать, и перерабатывать полученную массу интеллектуального материала в наиболее удобную форму для практического применения или дальнейшей передачи - в этом заключался секрет истинной мудрости мудреца рынка и мастерской. Но процесс диалектического исследования как самоцель, напряженный личный интерес к беседам с живыми мужчинами и женщинами всех классов, нетерпение к немедленным и видимым результатам постепенно побудили Сократа ограничить слишком узкими рамками источники, из которых черпались его идеи, и цели, к которым они применялись. И сам диалектический метод не мог не тормозиться в своем внутреннем развитии из-за недостатка широты и

разнообразия тем, которые он мог охватить. Поэтому смерть Сократа, как бы ни была она прискорбна, принесла несомненную пользу делу, ради которого он трудился, поскольку остановила (как мы должны полагать) популярное и беспорядочное использование его метода перекрестного допроса, освободила его самого способного ученика от власти почитаемого мастера и побудила его пересмотреть весь вопрос человеческого знания и действия с более отдаленной точки зрения. Ибо, заметьте, Платон не начал с того, на чем остановился Сократ; он вернулся к зародышу всей системы и перестроил ее на новых началах. Потеря тех, кого мы любим, обычно заставляет нас вернуться мыслями ко времени нашего первого знакомства с ними или, если это возможно, к обстоятельствам их ранней жизни. Так и Платон, похоже, поначалу был занят исключительно отправной точкой философии своего друга, и из рассказа, приведенного в "Апологии", мы знаем, в какой форме он ее представлял. Мы попытались показать, что упомянутое повествование не может быть полностью историческим. Тем не менее представляется достаточно очевидным, что Сократ начал с убеждения в собственном невежестве и что его усилиям по улучшению других предшествовало получение аналогичного признания в невежестве с их стороны. Несомненно также, что всю жизнь он считал причины физических явлений недоступными человеческому разуму и предназначенными богами исключительно для их познания, указывая в качестве доказательства на печально известные разногласия, распространенные среди тех, кто занимался подобными вопросами. Таким образом, его скептицизм действовал в двух направлениях, но, с одной стороны, он был лишь предварительным, а с другой - частичным. Платон начал с того, что объединил оба направления. Он утверждал, что человеческое неведение универсально и необходимо; что боги сохранили все знания для себя; и что единственная мудрость, оставшаяся людям, - это сознание своего абсолютного невежества. Сократовская отправная точка давала центр его агностического круга; сократовская теология - расстояние, на котором он описывался. Здесь мы должны отметить две вещи: во-первых, широту обобщения, которая отличает ученика от мастера; и, во-вторых, симптомы сильной религиозной реакции против греческого гуманизма. Еще до окончания Пелопоннесской войны появились признаки этой реакции, а "Вакхиды" Еврипида служат ярким свидетельством ее мрачного и фанатичного характера. Последняя агония Афин, крах их могущества и последующий период олигархического терроризма, должно быть, дали толчок суевериям, подобным тем, которые совсем недавно поразили Францию эпидемией явлений и паломничеств, почти слишком детских, чтобы в них верить. Платон следовал общему движению, хотя и на гораздо более высоком уровне. С нескрываемым презрением взирая на безнравственное идолопоклонство своих соотечественников, он в равной степени выступал против нерелигиозности Нового Учения, и, если бы ему представилась возможность, он, подобно реформаторам XVI века, с беспристрастной суровостью осудил бы и то, и другое. Это была не единственная аналогия между его позицией и позицией Лютера или Кальвина. Как и они, как и все великие религиозные учителя, он возвеличивал Творца, подчеркивая ничтожество твари; как христианство выставляет святость Бога в контрасте и соотношении с греховностью не возрожденных сердец; как для Пиндара жизнь человека казалась лишь мимолетной тенью во сне по сравнению с красотой, силой и бессмертием олимпийских божеств; так и Платон углублял мрак человеческого невежества, чтобы с ослепительной ясностью показать всю полноту того знания, которое он учил ценить как высший идеал, но которое, по этой самой причине, казалось принадлежащим только высшим существам. Вскоре мы увидим, как Платон открыл в человеке принцип, благодаря которому он может претендовать на родство со сверхъестественным, и разработал схему интеллектуального посредничества, с помощью которого падший дух может быть возрожден и приобщен к царству умозрительной истины.

И все же, если теология Платона, в силу своего преимущественно рационального характера, казалось, пренебрегала некоторыми чувствами, которые лучше удовлетворялись более ранними или более поздними верованиями человечества, нельзя сказать, что она действительно исключала их. Неувядающая сила старых богов постигалась в самосуществовании абсолютных идей, а моральная доброта была лишь конкретным применением разума к ведению жизни. Эмоциональный или образный элемент вносился также теорией, согласно которой каждая способность, осуществляемая без разумного осознания ее процессов и целей, была вызвана некой спасительной благодатью и вдохновением сверхчеловеческой силы. Именно поэтому, по мнению Платона, поэты и художники могли создавать произведения, о которых они не могли дать разумного отчета; и именно поэтому общество продолжало держаться с таким чрезвычайно малым количеством мудрости и добродетели. Здесь, однако, мы должны заметить заметное различие между чистыми и простыми религиозными учителями и греческим философом, который был диалектиком даже больше, чем божеством. Платон считал, что провиденциальное правление носит лишь временный характер, что вдохновенный пророк стоит на более низком уровне, чем критический, самосознающий мыслитель, что высшей функцией разума является рациионация, а не поэзия, и что действия должны быть реорганизованы в соответствии с очевидными определенными [принципами](#)¹¹⁸.

Этот поиск научной основы поведения был вполне в духе Сократа, но Платон, похоже, не придал большого значения позитивному вкладу своего учителя в систематизацию жизни. Мы видели, что "Апология" имеет чисто скептическую направленность; и мы находим целую группу "Диалогов", вероятно, самых ранних из сочинений Платона, отмеченных тем же негативным, неубедительным тоном. О них обычно говорят как о сократических, и, несомненно, они таковыми и являются в отношении обсуждаемых тем; но точнее было бы назвать их попыткой обратить сократический метод против его первого создателя. Из другого источника мы знаем, что главными добродетелями, которые прививал и практиковал Сократ, были стойкость, благочестие и стойкость; а дружба, если не говорить строго о добродетели, была для него одним из главных жизненных интересов. Очевидно, что он считал их наиболее подходящими и выгодными предметами философского обсуждения; что он мог определить их природу к своему собственному удовлетворению; и что он, по сути, определил их как множество разновидностей мудрости. Итак, Платон посвятил отдельный диалог каждой из рассматриваемых [концепций](#)¹¹⁹, и в каждом случае он представляет Сократа, который является главным представителем, как человека, не знающего всего обсуждаемого предмета, не предлагающего никакого собственного определения (или, по крайней мере, ни одного, которое он мог бы поддержать), но спрашивающего у своих собеседников их определения и разрывающего их на части, когда они даются. Действительно, мы обнаруживаем тенденцию к тому, чтобы свести добродетели к знанию, и пока что либо отождествлять их друг с другом, либо возводить их к единству высшей идеи. В этом отношении Платон идет по стопам своего учителя, но результат, который полностью удовлетворил Сократа, стал отправной точкой нового исследования у его преемника. Если добродетель - это знание, то она должна быть знанием того, чего мы больше всего желаем - блага. Таким образом, первоначальная трудность возвращается в другой форме, или, скорее, мы просто переформулировали ее в других терминах. Ведь спросить, что такое воздержанность или стойкость, равносильно тому, чтобы спросить, в чем ее польза. И это было настолько очевидно для Сократа, что, по-видимому, он никогда не думал о том, чтобы провести различие между этими двумя вопросами. Но не успел он их различить, как его сведение всей морали к единому принципу оказалось иллюзорным. Каждая конкретная добродетель заменялась знанием конкретной пользы, и это все. Если бы высшее благо было

единым, средства, с помощью которых его ищут, не могли бы сходиться в одной точке; и, согласно новым идеям, их освоение не могло бы находиться в ведении одного искусства.

Можно также предположить, что Платон был недоволен не только положительными результатами, полученными Сократом, но и сократовским методом построения общих определений. Восхождение от части к целому, от конкретных примеров к общим понятиям было скорее популярным, чем научным процессом; а иногда оно сводилось лишь к тому, чтобы взять существующие объяснения и модифицировать их в соответствии с требованиями обычного опыта. Полученные в результате определения никогда не могли быть более чем предварительными, и искусный диалектик всегда мог их нарушить, создав непредвиденное исключение или обнаружив двусмысленность в терминах, с помощью которых они были переданы.

Прежде чем выяснить, в каком направлении Платон искал выход из этих накопившихся трудностей, мы должны взглянуть на диалог, принадлежащий, по-видимому, к самым ранним его сочинениям, но в одном отношении занимающий особое положение по сравнению с остальными. В "Крито" рассказывается, по каким причинам Сократ отказался бежать от участи, ожидавшей его в тюрьме, как он мог бы легко сделать при помощи великодушных друзей. Престарелый философ считал, что, приняв такой образ действий, он бросит вызов афинским законам и сделает то, что в его силах, чтобы разрушить их законность. Мы знаем, что исторический Сократ считал, что справедливость заключается в повиновении закону страны, и здесь Платон в который раз соглашается с ним по определенному и положительному вопросу. Такой внезапный и необычный отказ от скептической позиции заслуживает нашего внимания. Можно, конечно, сказать, что противоречивость Платона не поддается никаким попыткам примирения, и что в данном случае желание выставить своего обиженного друга в выгодном свете одержало победу над требованиями неосуществимой логики. Однако нам кажется, что можно найти более глубокое и верное решение. Если "Крито" и прививает послушание законам как обязательное, то не по тем причинам, которые, согласно Ксенофону, приводил реальный Сократ в своем споре с софистом Гиппием; общая польза и частный интерес были единственными основаниями, к которым тогда апеллировали. Платон, с другой стороны, игнорирует все эти внешние соображения. Верный своему обычному методу, он сводит правосознание к чисто диалектическому процессу. Как в споре спорящие связаны или должны быть связаны своими собственными признаниями, так и гражданин связан негласным договором выполнять законы, чьей защитой он пользовался и чьи требования признает своим длительным проживанием. Здесь нет необходимости в трансцендентном основании для морали, поскольку в игру вступают лишь логические соображения. Следует также отметить, что если Сократ использовал идею обязательства, основанного на принятии услуг, то Платон от нее отказался. В "Эвтифро", диалоге, посвященном обсуждению благочестия, теория о том, что религия основывается на обмене добрыми услугами между богами и людьми, упоминается лишь для того, чтобы быть презрительно отвергнутой. Столь же примечателен и в равной степени опережает сократовскую точку зрения принцип, провозглашенный в "Крито", согласно которому возмездие неправомерно и зло никогда не должно возвращаться за зло.¹²⁰ И оба эти принципа являются явным предвосхищением раннего христианского учения, хотя оба неявно противоречат так называемым религиозным службам, совершаемым в христианских церквях, и учению о божественном возмездии, которое не является возмездием только потому, что оно бесконечно превышает полученную провокацию.

Если самые ранние исследования Платона, хотя они касаются тех же предметов и ведутся по тому же методу, что и исследования Сократа, демонстрируют широту взглядов, превосходящую все, что записано о нем Ксенофонтom, то в них также видны следы влияния, не связанного с его влиянием и уступающего ему по ценности. Более чем в одном [случае](#)¹²¹ Платон рассуждает или, скорее, спорит в стиле, который он в других местах высмеивает как характерный для софистов, с таким успехом, что за ним с тех пор закрепилось название софистики. Действительно, некоторые из используемых словесных заблуждений настолько прозрачны, что вряд ли можно предположить их непреднамеренность, и мы вынуждены заключить, что молодой презритель человеческой мудрости был намерен отстаивать свой тезис любым оружием, хорошим или плохим, которое попадалось под руку. И гораздо вероятнее, что он научился эристическому искусству у Протагора или его учеников, а не у Сократа. Платон потратил большую часть своей жизни на противостояние софистам, то есть платным профессорам мудрости и добродетели; но, несмотря на это противостояние, а может быть, и благодаря ему, он испытал глубокое влияние их учения и примера. Вполне можно предположить, хотя мы и не находим утверждений об этом как о факте, что он прибегал к ним за наставлениями в юности, до того как попал под влияние Сократа, что произошло только в двадцать лет; или же его направил к ним сам Сократ. При всей своей оригинальности, его стиль несет следы риторического обучения в более сложных отрывках, а софисты были единственными учителями риторики, которых можно было найти в то время. Его привычка облекать философские уроки в форму мифа, похоже, также была заимствована у них. Поэтому нет ничего удивительного в том, что он культивировал их аргументацию бок о бок с более строгой и суровой дисциплиной сократовской диалектики.

Платон, несомненно, обвиняет софистов в том, что их доктрины не только ложны и аморальны, но и составлены без всякой логической последовательности. Однако представляется, что этот стиль нападок относится скорее к более позднему и конструктивному, чем к более раннему и восприимчивому периоду его интеллектуального развития. Первоначальной причиной его антагонизма к профессиональным учителям, по-видимому, были их общие претензии на знание, которые, с точки зрения всеобщего скептицизма, были, конечно, совершенно иллюзорными; вместе с чувством аристократического презрения к призванию, в которое были вовлечены соображения материального интереса, усиленного в данном случае убеждением, что покупатель получает в обмен на свои деньги не что иное, как фиктивную статью. Здесь снова напрашивается параллель с первой проповедью Евангелия. Отношение Христа к книжникам и фарисеям, как и отношение святого Павла к Симону Магу, поможет нам понять, как Платон в другом порядке духовного учения должен был относиться к лицемерию мудрости, вторжению мошенников в храм дельфийского вдохновения и продаже бесценного блага, безграничное распространение которого должно было стать его единственной наградой.

Однако во всей философии Платона мы встречаемся с тенденцией к двусмысленным переходам и возвращениям, которые и здесь необходимо учитывать. Любопытное смешение любви и ненависти, ставшее темой мистической лирики в "Перевалах Пиппы" мистера Браунинга, не лишено аналога в чисто рационалистической дискуссии. Если Платон использовал сократический метод, чтобы растворить многое, что было неправдой, потому что неполным, в сократизме, то он также использовал его, чтобы поглотить многое, что заслуживало развития в софизме. Если в одном смысле последний был прямой противоположностью учению своего учителя, то в другом он служил своего рода посредником между этим учением и непросвещенным сознанием человечества. Тень не следует смешивать с сущностью, но она может показать по смежности, по сходству и по

контрасту, где находится твердая реальность, каковы ее очертания и как лучше всего увидеть ее характерные огни.

Таков мягкий и примирительный способ обращения, впервые принятый Платоном в общении с главным представителем софистов - Протагором. В диалоге, носящем его имя, знаменитый гуманист предстает перед нами как профессор популярной несистематизированной морали, доказывающий с помощью множества практических аргументов и изобретательных иллюстраций, что добродетели можно научить и что сохранение общественного порядка зависит от возможности ее преподавания; но не желающий согласиться с рассуждениями, с помощью которых Сократ показывает применимость строго научных принципов к поведению. Платон взял здесь одну из сторон сократовской этики и развил ее в законченную и самосогласованную теорию. Прививаемая доктрина - это та форма утилитаризма, которой мистер Сиджвик дал название эгоистического гедонизма. Нас заставляют признать, что добродетель едина, потому что различные добродетели сводятся в конечном счете к благоразумию. Предполагается, что счастье, в смысле удовольствия и отсутствия боли, является единственной целью жизни. Долг отождествляется с интересом. Мораль - это калькуляция для подсчета количества удовольствия и боли, а все добродетельные действия - это средства для обеспечения максимума одного и минимума другого. Этическая наука создана, ее можно преподавать, как математику; и пока софисты правы, но они пришли к истине чисто эмпирическим путем, в то время как Сократ, который исповедует, что ничего не знает, просто следуя диалектическому импульсу, делает обобщение, которое одновременно подтверждает и объясняет их позицию; но из самодовольства или предрассудков они отказываются согласиться с ним, принимая свою позицию на ее единственном логическом основании.

В том, что Платон выдвинул этическую теорию Протагора из лучших побуждений, сомневаться не приходится, хотя в других работах он с презрительным отвращением отвергал гедонизм; столь же очевидно, что это был его самый ранний вклад в позитивную мысль. Из всех его теорий она самая простая и самая сократовская; ведь Сократ, пытаясь вернуть глупцов или порочных людей, часто говорил так, словно корысть была первостепенным принципом человеческой природы; хотя, если бы его предположение было сформулировано в виде абстрактного предложения, он тоже мог бы отмахнуться от него с чем-то вроде беспокойства, приписываемого Протагору. А по внутренним свидетельствам другого описания у нас есть основания думать, что рассматриваемый диалог является сравнительно юношеским произведением, не забывая при этом, что период юности у греков был гораздо продолжительнее, чем у нас. Кажется, что здесь почти узнается рука мальчика, только что окончившего колледж, который с удовольствием рисует карикатуры на своих учителей; и который, хотя и смотрит на классическую ученость свысока по сравнению с более живыми и практическими темами, не жалеет показать, что может обсудить трудный отрывок из Симонида лучше, чем сами профессора.

III.

Наш обзор первого периода Платона завершен, и мы должны приступить к гораздо более трудной задаче - проследить обстоятельства, импульсы и идеи, благодаря которым все разрозненные материалы греческой жизни, греческого искусства и греческой мысли были сформированы в новую систему и отмечены печатью нетленного гения. На пороге этого второго периода личность самого Платона вырисовывается все отчетливее, и нам предстоит рассмотреть, какую роль она сыграла в эволюции, где неразрывно сочетались универсальные тенденции и индивидуальные пристрастия.

Платон родился в 429 или, по некоторым данным, в 427 году, а умер в 347 году до н. э. Лишь немногие события его биографии могут быть установлены с точностью; но для нашей цели наиболее интересны общие факты, о которых мы располагаем достаточно достоверной информацией. Его семья была одной из самых благородных в Афинах: по отцовской линии он был связан с Кодром, а по материнской - с Солоном; двое его родственников, Критий и Хармид, были одними из лидеров олигархической партии. Неизвестно, унаследовал ли он какое-либо значительное имущество, да и вопрос этот не имеет большого значения. Очевидно, что он получил лучшее образование, какое только могли себе позволить Афины, и всю жизнь обладал достаточной компетенцией, чтобы избавить себя от забот материального существования. Возможно, предпочтение, которое он выразил, будучи далеко продвинутым в жизни, умеренному здоровью и богатству, возникло из-за того, что он сам испытал эти преимущества. Если верить бюстам, носящим его имя, он был необычайно красив и, как и некоторые другие философы, очень следил за своей внешностью. Возможно, некоторые воспоминания о восхищении, которое он вызывал в себе, смешаны с теми картинами юношеской красоты и ее возбуждающего воздействия на воображение пожилых людей, которые придают такое изящество и оживление его ранним диалогам. Мы не знаем, прошел ли он как любовник или возлюбленный невредимым через бури страсти, которые он так мощно описал, и не объясняется ли его очевидное близкое знакомство с ними прорицанием или горестным опытом. Мы можем обойти молчанием все, что говорится на эту тему, будучи уверенными, что, правда это или нет, скандальные истории не могли не распространиться о нем.

Естественно, что тот, кто соединил в себе великий интеллект и пылкий темперамент, обратился к поэзии. Платон написал множество стихов - в то время в моду вошло стихосложение, - но при знакомстве с Сократом мудро предал их огню. Можно сомневаться, что автор "Федра" и "Симпозиума" когда-либо достиг бы выдающихся успехов в метрической композиции, даже если бы он жил в эпоху, куда более благоприятную для поэтического вдохновения, чем та, что наступила после расцвета аттического искусства. Кажется, будто Платону, при всей его пылкости, фантазии и драматическом мастерстве, не хватало самого необходимого качества певца; его лучшие пассажи находятся на одном уровне с самой высокой поэзией, и все же их отделяет от нее пропасть, которую легче почувствовать, чем описать. Аристотель, которого мы считаем жестким, сухим и холодным, иногда оказывается гораздо ближе к истинному лирическому плачу. И, как бы еще отчетливее выделяя стиль Платона из всех остальных, он также лишен ораторской силы. Философ, очевидно, думал, что сможет победить риториков на их собственной почве; если "Менексенус" подлинный, он пытался сделать это и потерпел неудачу; и даже без его свидетельства мы вправе сказать то же самое на основании более коротких попыток. Мы должны даже усомниться в том, что диалоги, как их правильно называть, были сильной стороной Платона. Там, где один из говорящих находится на такой высоте над остальными, как Сократ, или элеатский Незнакомец, или афинянин в "Законах", не может быть никакой настоящей беседы. Остальные собеседники - хорошие слушатели и служат для того, чтобы нарушить монотонность непрерывного изложения своими выражениями согласия или даже своей случайной неспособностью следить за аргументацией, но не дают никакой реальной помощи или стимула. А когда им разрешают высказать собственное мнение, они тоже сбиваются на монолог, обращенный, как это обычно бывает с нашими молчаливыми мыслями, к воображаемому слушателю, чье сочувствие и поддержка необходимы, но и небезопасны. И все же, если стиль Платона не является ни поэтическим, ни ораторским, ни разговорным, он имеет сходство с каждым из этих трех видов; он представляет собой общий корень, из которого они проистекают, и приводит нас, лучше, чем любой другой вид композиции, в непосредственный контакт с умом писателя. У платоновского Сократа глаза

как на портрете, которые следуют за нами, куда бы мы ни повернулись, и через которые мы можем прочесть его внутреннюю душу, которая есть не что иное, как универсальный разум человечества в восторженном удивлении от его первого пробуждения к самосознательной деятельности. Поэт думает и чувствует за нас; оратор делает наши мысли и чувства своими, а затем возвращает их нам в концентрированном виде, "получая в паре то, что отдает в потоке". Платон устраняет все препятствия для свободного развития наших способностей; он учит нас на собственном примере, как думать и чувствовать самим. Если Сократ олицетворял философию, то Платон воспроизвел это олицетворение в художественной форме с таким мастерством, что его влияние распространилось на все века и на весь цивилизованный мир. Этот портрет стоит как посредник между его оригиналом и далеко идущими последствиями, косвенно обусловленными его диалектическим вдохновением, как та универсальная душа, которую сам Платон поместил между высшим творцом и материальным миром, чтобы она могла привести мимолетное содержание пространства и времени в гармонию с несотворенными и вечными идеями.

Чтобы изобразить Сократа в его высшем и лучшем виде, необходимо было прорвать узкие рамки его исторической индивидуальности и показать, как, если бы они ему представились, он решал бы проблемы, выходящие за рамки опыта обычного афинского гражданина. Основатель идеализма - то есть реализации разума, систематического применения мысли к жизни - преуспел в своем деле, потому что воплотил в себе самые благородные элементы афинского космоса, организованность, патриотизм, самообладание и публичность дискуссий, а также восприимчивость к улучшениям, достигнутым в других государствах. Но как импульс, позволивший этим качествам оказать решающее влияние на греческую историю в неопределимо важный момент, исходил от афинской аристократии с ее дорийскими симпатиями, авантюрными амбициями и пристальным вниманием к иностранным делам, так и Платон, перенеся тот же дух в философию, привел диалектический метод в контакт с более древними и широкими течениями спекуляций и использовал его для признания всей духовной деятельности своей расы.

Сильному желанию реформ всегда должно предшествовать глубокое недовольство существующим положением вещей; и если реформа должна быть очень масштабной, то недовольство должно быть столь же всеобъемлющим. Поэтому великие обновленцы человеческой жизни отличались суровостью, с которой они осуждали недостатки мира, в котором находились, будь то люди, привычки, институты или верования. Однако говорить об их позиции как о пессимистической было бы либо несправедливо, либо свидетельствовало бы о непростительной неспособности провести различие между двумя совершенно разными теориями существования. Ничто не может быть более непохожим на систематизированную пассивность этих потерянных душ, лишенных мужества и надежды, которые находят утешение для своих неудач в убеждении, что все - это неудача, чем огненная энергия, которая втягивается в вечное напряжение контрастом того, что есть, с видением того, что еще может быть. Но если пессимизм парализует все щедрые усилия и стремления, внушая, что страдания - это непоправимый удел одушевленных существ или даже, в конечном счете, всего сущего, то противоположная теория оптимизма оказывает столь же смертоносное влияние, побуждая людей верить, что их нынешнее состояние в целом удовлетворительно, или что в худшем случае несправедливость будет исправлена без какой-либо критики или вмешательства с их стороны. Даже те, кто считает, что прогресс до сих пор был наиболее очевидным фактом в истории человечества, не могут не замечать существования огромных сил, стремящихся вернуть общество к варварству и жестокости его первобытного состояния; Они также знают, что все завоеванные нами позиции были достигнуты благодаря усилиям небольшого меньшинства, которое не уставало подталкивать вперед своих более

медлительных товарищей, не заботясь о том, какую гневную восприимчивость они могут вызвать, рискуя упреками, оскорблениями и возмущениями, чтобы только, в какой бы форме, будь то божественный мандат или научная демонстрация, послание человечества своим детям могло быть доставлено в срок. Им приходится бороться не только с неподвижностью. Достижения в одном направлении часто уравниваются потерями в другом, а в некоторые периоды наблюдается явный регресс по всей линии. И хорошо, если среди общего падения на более низкий уровень не раздаются зловещие голоса, возвещающие, что народ может смело довериться собственным побуждениям и что самообольщение или своеволие должны быть единственным законом жизни. Именно в таких случаях больше всего нужен призыв к объединению, и прирожденные лидеры цивилизации должны приложить максимум усилий, чтобы остановить разочарованных беглецов и обличить вероломных проводников. Именно в этом аспекте Платон рассматривал свою эпоху; и он поставил перед собой задачу продолжить дело, которое пытался решить Сократ, но был растоптан в попытке достичь этого.

Прославленный итальянский поэт и эссеист Леопарди заметил, что идея мира как огромной конфедерации, объединившейся для подавления всего доброго, великого и истинного, зародилась у Иисуса Христа.¹²² Удивительно, что столь выдающийся эллинист не приписал этот приоритет Платону. Правда, он не говорит о мире как таковом в смысле Леопарди, потому что для него это означает нечто иное - божественно созданный порядок, поносить который было бы кощунством; но эта вещь повсюду присутствует в его мыслях под другими именами, и он преследует ее с неумолимой враждебностью. Он смотрит на подавляющее большинство человеческой расы, индивидуальной и социальной, в их верованиях и практиках, как на совершенно развращенных и ослепленных до такой степени, что они готовы повернуть и растерзать любого, кто попытается направить их на лучший путь. Многие "не знают мудрости и добродетели и всегда заняты тревоугодием и чувственностью. Подобно скоту, глаза которого всегда смотрят вниз, а голова склоняется не к земле, а к обеденному столу, они откармливаются, кормятся и размножаются, и в своей чрезмерной любви к этим удовольствиям пинают и бьют друг друга рогами и копытами, сделанными из железа; и убивают друг друга по причине своей ненасытной похоти".¹²³ Их идеал - человек, который доводит свои желания до предела и добывает средства для их удовлетворения обманом или насилием. Собравшаяся толпа напоминает сильного и свирепого зверя, выражающего свои желания невнятным ворчанием, которое народные вожди стремятся понять и исполнить. Государственный деятель более благородного вида, который попытается принести пользу народу, помешав его глупым аппетитам, будет осужден демагогами как враг общества и получит не больше шансов на оправдание, чем врач, если бы он предстал перед детским жюри поваром-кондитером.

В том, что афинянин, да и вообще любой греческий дворянин, относился к простому народу с презрением и отвращением, не было ничего странного. Поколением раньше подобные чувства заставили бы Платона рассматривать свержение демократии и установление аристократического правления как средство от всех бед. Высшие классы, привыкшие украшать себя хвалебными титулами, на самом деле считали всех, кто к ним принадлежал, образцами мудрости и доброты. С приходом к власти Тридцати наступило страшное пробуждение. За несколько месяцев олигархии совершили больше злодеяний, чем Демос за столько же поколений. Было показано, что состоявшиеся господа, такие как Критий, отличались от простого стада лишь большей нетерпимостью к оппозиции и разрушительной

яростью своих appetitов. По крайней мере, с Платоном на этом все разговоры закончились. Теперь он "с улыбкой относился к претензиям на давность происхождения", считая, что "у каждого человека были тысячи и тысячи предков, и среди них много раз были богатые и бедные, цари и рабы, эллины и варвары"; и даже обладание большим земельным наделом перестало вызывать у него уважение, когда он сравнивал его с поверхностью всей земли.¹²⁴

Оставалась еще одна форма правления, которую предстояло опробовать, - деспотическое правление одного человека. Во время своих путешествий Платон столкнулся с умелым и сильным представителем класса тиранов, старцем Дионисием. Сохранилось несколько историй, связанных с их общением, но различные версии сильно расходятся, и ни одной из них нельзя полностью доверять. Однако кажется несомненным, что Платон сильно обидел тирана своей свободой слова, что он едва избежал смерти и что его продали в рабство, из которого он был выкуплен благодаря щедрости Анникериса, киренейского философа. Предполагается, что язвительное описание, в котором Платон призывает к вечному позору недостойного обладателя абсолютной власти - описание, которое Тацит долгое время спустя применял к самому мерзкому из римских императоров - было навеяно типом, который он сам наблюдал в Сицилии.

Из всех существующих конституций Спарта ближе всего подходила к идеалу Платона, или, скорее, он считал ее наименее деградировавшей. Ему нравился консерватизм спартанцев, их жесткая дисциплина, надменная храбрость, участие их дочерей в гимнастических упражнениях, строгость нравов и уважение к старости; но он находил много порицательного как в их древних обычаях, так и в чертах, которые недавно развило в них обладание империей. Он с неодобрением говорит об их исключительно военной организации, о презрении к философии и об открытой санкции, которую они давали практике, едва терпимой в Афинах. Он также комментирует их жадность, суровость по отношению к нижестоящим и стремление сбросить ограничения закона при любой возможности избежать обнаружения.¹²⁴

До сих пор мы говорили так, как будто Платон рассматривал различные ложные полисы, существовавшие вокруг него, как множество фиксированных и не связанных между собой типов. Однако это было не так. Нынешнее положение вещей было достаточно плохим, но оно грозило стать еще хуже, где только можно. Конституции, представлявшие собой смесь добра и зла, содержали в себе семена дальнейшего разложения и имели тенденцию переходить в форму, стоявшую следующей по порядку на склоне вниз. Спартанская тимократия со временем должна была превратиться в олигархию, олигархия - в демократию, а та - в тиранию, дальше которой падение было невозможно.¹²⁵ Деградировавшее состояние Сиракуз, похоже, было последним итогом эллинской цивилизации. Мы не знаем, насколько мрачные предчувствия Платона могли быть оправданы его собственным опытом, но он с пророческой проницательностью обрисовал будущую судьбу Римской республики. Каждая фаза прогрессирующего вырождения находит пример в его последующей истории, а порядок их смены сохраняется наиболее точно. Даже его портреты отдельных тимократов, олигархов, демагогов и деспотов воспроизведены с точностью до жизни на страницах Плутарха, Цицерона и Тацита.

Если наш критик находил так мало поводов для восхищения в Элладе, то еще меньше он искал воплощения своих мечтаний в дальнем мире. Уроки Протагора не прошли для него даром, и, в отличие от поклонников природы XVIII века, он никогда не впадал в заблуждение, что мудрость и добродетель обитают в первобытных лесах или в развращенных восточных деспотиях. Для него греческая цивилизация, со всеми ее недостатками, была лучшим, что породила человеческая природа, единственным очагом интеллектуальной культуры,

единственной почвой, на которой можно было опробовать новые эксперименты в области образования и управления. Он мог спуститься к истокам мысли, языка и общества; он мог построить новый стиль, новую систему и новое государство, начиная с фундамента; он мог уловить все тенденции, которые попадали под его непосредственное наблюдение, и следовать им до их предельных возможностей расширения; но его огромные способности к анализу и обобщению оставались под этим ограничением, что эллином он был и эллином он оставался до конца.

Эллином, да еще и аристократом. Или, используя это слово в его наиболее полном смысле, мы можем сказать, что он был аристократом во всем, верящим в присущее ему превосходство расы, пола, рождения, воспитания и возраста. Повсюду мы видим его беспокойный поиск самого мудрого, самого чистого, самого лучшего, пока наконец, выйдя за пределы самого существования, он не смог описать словами абсолютное невыразимое единственное благо, не бытие и не знание, но создание и вдохновение обоих. Так сложилось, что его надежды на проведение основательной реформы заключались не в обращении к массам, а в отборе и уединении от дурного влияния нескольких умных молодых людей. Здесь мы можем обнаружить заметное расхождение между ним и его учителем. Сократ, сам человек из народа, не любил, когда афиняне подвергались поношениям. Если они ошибались, то, по его мнению, в этом были виноваты их [руководители](#)¹²⁶. Но, по мнению Платона, именно от народа изначально исходила коррупция, именно он вдалбливал ложные уроки в самые разумные умы, с самого младенчества приучая их предпочитать показуху материальному, успех - заслугам, а удовольствие - добродетели; Они сделали изучение народных капризов верным путем к власти и отравили сами источники морали, распространяя богохульные истории о богах, представляя их слабыми, чувственными, капризными существами, которые сами подают пример беззакония и готовы простить его людям при условии получения доли в добыче. Поэты принимали самое активное участие в создании этих порочащих мифов, и к поэтам как к классу Платон испытывал чувства смешанного восхищения и презрения. Как художника, его привлекала красота их произведений; как теолог, он считал их проводниками божественного вдохновения, а иногда и хранителями священной традиции; но как критика его шокировала их неспособность объяснить смысл собственных произведений, особенно когда она сочеталась с нелепыми претензиями на всезнание; А подражательный характер их произведений он рассматривал как иллюстрацию, особенно вопиющую, той подмены видимости реальностью, которая, согласно его философии, является глубочайшим источником ошибок и зла.

Если частное общество оказывало деморализующее влияние на своих наиболее одаренных членов и, в свою очередь, еще больше развращало их, прислушиваясь к их мнению, то в общественной жизни, по крайней мере в афинской демократии, тот же роковой обмен развращением происходил еще активнее. Народ не терпел ни одного государственного деятеля, который бы не ублажал его аппетиты; а государственные деятели, преследуя собственные честолюбивые цели, заботились исключительно о материальных нуждах народа, полностью пренебрегая его духовными интересами. В этом отношении Перикл, самый восхитительный из всех, был главным из грешников; ведь "он был первым, кто дал народу жалованье, сделал его праздным и трусливым и поощрял его в любви к разговорам и деньгам". И вот его постигло праведное возмездие: "В конце жизни его осудили за воровство и чуть не предали смерти". Так было и с другими хвастливыми вождями - Мильтиадом, Фемистоклом и Кимоном; все они пострадали от того, что ошибочно называют неблагодарностью народа. Подобно нерадивым хозяевам, они сделали животное, отданное под их опеку, более свирепым, чем более мягким, пока его дикие наклонности не были обращены против них самих. Или, меняя сравнение, они были подобны поставщикам

роскоши, которые кормили государство диетой, которой было обусловлено его нынешнее "язвенное и опухшее состояние". Они "наполнили город гаванями, и доками, и стенами, и доходами, и всем прочим, и не оставили места для справедливости и умеренности". Только один из старших государственных деятелей, Аристейд, исключен из этого огульного осуждения, и, подобно ему, Сократ объявлен единственным истинным государственным деятелем своего [времени](#)¹²⁷.

Переходя от ведения государственных дел к отправлению правосудия в народных судах, мы видим, что повторяется та же история беззакония, но на этот раз с более яркой сатирой, поскольку Платон говорит из своего собственного непосредственного опыта. Он считает, что под влиянием ловких ходатаев судебные решения стали выноситься с полным пренебрежением к праведности. То, что спорные претензии должны передаваться на рассмотрение народного трибунала и решаться путем подсчета голов, было, по его мнению, фактическим признанием того, что абсолютного стандарта справедливости не существует; что моральная истина варьируется в зависимости от индивидуального мнения. А вот здесь показано, как в результате сформировался характер юриста.

Он стал острым и проницательным; он научился льстить своему господину на словах и потакать ему на деле; но душа его мала и несправедлива. Рабское состояние лишило его роста, прямооты и независимости; опасности и страхи, слишком сильные для его правды и честности, настигли его в ранние годы, когда нежность юности была им не по силам, и он был ввергнут в кривые пути; с самого начала он практиковал обман и возмездие, стал чахлым и деформированным. И вот он перешел из юности в зрелость, не имея в себе здравого смысла, и теперь, как он думает, является мастером в [мудрости](#)¹²⁸.

Что еще хуже, оригинал этого нелестного портрета быстро становился самым могущественным человеком в государстве. Растущая специализация полностью разделила военные и политические функции, которые раньше выполнял один выдающийся человек, а законодательная деятельность также стала отдельной профессией. Ни один оратор не мог получить слушание в собрании, не имея технического знакомства с предметом обсуждения, если он допускал техническую обработку, что случалось теперь гораздо чаще, чем в предыдущем поколении. Вследствие этой революции власть надзора и контроля переходила в руки судов, где общие вопросы могли обсуждаться в более популярном стиле, а зачастую и с более широкой или сентиментальной точки зрения. По сути, они начинали обладать властью, подобной той, которой до недавнего времени пользовалась пресса в современной Европе, только ее действие было гораздо более прямым и грозным. Голосование Эклесии могло лишить государственного деятеля только должности, а голосование Дикастерия - гражданских прав, дома, свободы, собственности или даже самой жизни. Более того, с утратой империи и упадком общественного духа частные интересы стали привлекать все больше внимания; и неприметные граждане, ранее спасавшиеся от бури партийных страстей, теперь становились добычей каждого беглого и ловкого ходатая, который мог найти предлог, чтобы затащить их в суд. Риторика провозгласила высшим искусством, позволяющим ее обладателю отказаться от всех других занятий, а подающим надежды молодым людям рекомендовали рассматривать ее как наиболее оплачиваемое занятие. Даже те, чье гражданское положение или природная робость не позволяли им выступать на публике, могли добиться выдающегося и завидного положения, сочиняя речи для других. За ними, опять же, стояли признанные мастера риторики, претендовавшие на то, чтобы своими лекциями и памфлетами направлять образование и все общественное мнение эпохи. Философия не исключалась из их системы обучения, но занимала строго подчиненное

место. Изучая ее в меру, они смотрели на нее как на бодрящее умственное упражнение и репертуар звучных банальностей, если не как на растворитель старомодных представлений о честности; но строгое следование законам логики или принципам морали казалось изящным педантизмом элегантным стилистам, которые за границей становились защитниками всех коронованных филистеров, а дома проповедовали политику мира любой ценой.

Очевидно, что судьба Сократа постоянно находилась в мыслях Платона и сильно усугубляла его презрение как к толпе, так и к тем, кто делал себя ее служителями и приспешниками. Так случилось, что тремя обвинителями его друга были соответственно поэт, государственный деятель и ритор; таким образом, живое воображение философа вполне типизировало триаду шарлатанов, в которых общественное мнение находило своих подходящих представителей и выразителей. Однако Платон должен был последовательно считать, что осуждение Сократа, как и преследование Перикла, было сатирой на учение, которое после по меньшей мере тридцати лет занятий оставило своих слушателей более испорченными, чем оно их нашло. Подобным образом ostracism Аристейды можно сопоставить с аналогичными приговорами, вынесенными менее пуританским государственным деятелям. Для целей аргументации было бы достаточно показать, что в существующих обстоятельствах должность государственного советника была и неблагодарной, и опасной. Мы всегда должны помнить, что, когда Платон говорит о прошлых временах, он находится под глубоким влиянием аристократических традиций, а также что под ретроспективной маскировкой он на самом деле нападает на современные злоупотребления. И если даже в этом случае его обличения кажутся чрезмерными, их оправдание можно найти в том продолжающемся упадке общественной добродетели, который вскоре после этого привел к окончательной катастрофе афинской независимости.

IV.

Чтобы проиллюстрировать отношение Платона к своему времени, мы уже имели случай в значительной степени использовать произведения его зрелой юности. Теперь нам предстоит подхватить прерванную нить нашего систематического изложения и проследить развитие его философии через тот замечательный ряд сочинений, которые дают ему право занять место среди величайших писателей, самых всесторонних мыслителей и самых чистых религиозных учителей всех веков. В присутствии такой славы простое расхождение во мнениях не должно влиять на наше суждение. Над всеми конкретными истинами возвышается принцип, согласно которому истина существует сама по себе, и именно за него боролся Платон. Если и были люди, более полно освободившиеся от суеверий, то ни один из них не апеллировал так настойчиво к логике, перед которой суеверие должно в конце концов исчезнуть. Если его схемы переустройства общества игнорируют многие очевидные факты, то они с непревзойденной силой утверждают необходимое превосходство общественного блага над частным удовольствием; а их заклтый утилитаризм предлагает общую почву соперничающим реформаторам, которые не хотят иметь ничего общего с мистицизмом их метафизической основы. Те же, кто, подобно юноше Платону, считает, что окончательное толкование бытия принадлежит науке, выходящей за пределы человеческого разума, найдут здесь доктрины своей религии предвосхищенными, как во сне. И даже те, кто, стоя в стороне от теологии и философии, живет, как им кажется, только ради красоты, с интересом наблюдают, как дух греческого искусства сохранился в обличии его идолопоклонства, и "свет, которого никогда не было ни на море, ни на суше", после угасания на нижних уровнях афинской фантазии, вновь озарил своими новейшими и божественными лучами застывшие кручи диалектики.

Однако пылающий энтузиазм Платона не полностью проистекает из поэтических традиций его родного города; или, возможно, нам следует сказать, что он и великие писатели, предшествовавшие ему, черпали вдохновение из общего источника. Мистер Эмерсон в одной из самых пронизательных критических статей, когда-либо написанных о нашем философе¹²⁹, указал на существование двух различных элементов в платоновских диалогах - одного дисперсного, практического, прозаического; другого мистического, поглощающего, центростремительного. Однако американский ученый, как нам кажется, сильно ошибается, когда приписывает вторую из этих тенденций азиатскому влиянию. Крайне сомнительно, что Платон когда-либо путешествовал дальше Египта; вполне вероятно, что его пребывание в этой стране было недолгим; и уж точно он не почерпнул ни одной метафизической идеи у ее жителей. Ему нравился их жесткий консерватизм, нравился институт господствующего жречества, нравилась их система народного образования, а то место, которое в ней отводилось математике, заставляло его со стыдом смотреть на "свинское невежество" своих соотечественников в этом отношении¹³⁰; но в целом он относит их к расам, занимающимся исключительно добытанием денег, а по способности к философии ставит их гораздо ниже греков. Совсем иными были впечатления от посещения Сицилии и Южной Италии. Там он познакомился со стилем мышления, в котором поиск скрытых сходств и аналогий был преобладающей страстью; там существование центрального единства, лежащего в основе всех явлений, поддерживалось, вопреки здравому смыслу и общему мнению, с интенсивностью религиозного вероучения; только там спекуляции были облечены в поэтический язык; там впервые была сделана попытка перенести мысль в жизнь, связав ее с реформой нравов и убеждений. Там же искусство танца и песни приобрело более упорядоченный и торжественный вид; хор получил свое окончательное оформление от сицилийского мастера; а самые возвышенные строки греческой лирики были сочинены для декламации на улицах сицилийских городов или при дворах сицилийских королей. Затем, с развитием риторики, греческая проза была развита сицилийскими учителями в своего рода ритмическую композицию, сочетающую богатую образность с изученными гармониями и контрастами смысла и звука. И по мере того как ослабевало влияние азиатской цивилизации на восточную Элладу, внимание ее передовых духов все больше и больше привлекалось к этому новому краю чудес и романтики. Поток колонизации устремился туда; сцены мифических приключений были заново открыты в западных водах; и представлялось, что, овладев ресурсами Сицилии, можно завоевать империю, простирающуюся на все Средиземноморье. Возможно, не будучи слишком причудливыми, мы можем проследить сходство между смелыми планами Алкивиада и более отдаленным, но не более мечтательным царством, предложенным аналогичным вдохновением идеализирующей душе Платона. Каждый из них научился практиковать, хотя и для совершенно разных целей, царское искусство Сократа - владение умами людей путем тщательного изучения их интересов, страстей и убеждений. Но амбиции одного из них привели к поражению его собственной цели, к гибели его страны и его самого; в то время как другой привлек в афинскую мысль всю западную силу и пыл, которые были необходимы для выполнения его имперской задачи. О Платоне можно сказать то же, что он сказал о своем "Теэтете": "Он уверенно, плавно и успешно движется по пути познания и исследования, всегда продвигаясь вперед, как бесшумное течение масляной реки"¹³¹; но повсюду рядом с этим спокойным смазывающим потоком или под ним мы можем проследить действие другого течения, где все еще сверкает, свежее и чистое, как вначале, пламенное сицилийское вино.

Следует помнить, что в предыдущем разделе этой главы мы сопровождали Платона в период, когда он предварительно принял теорию, в которой протагоровское утверждение, что добродетели можно научить, подтверждалось и объяснялось сократовским

утверждением, что добродетель - это знание; а это знание опять-таки интерпретировалось в смысле гедонистического исчисления, предвидения и сравнения удовольствий и боли, вытекающих из наших действий. Теперь нам предстоит проследить ход мысли, по которому он пришел к иной концепции этической науки.

После того как он решил, что добродетель - это знание об удовольствии, следующие вопросы, которые должны были встать перед столь острым мыслителем, были очевидны: "Что такое знание? и что такое удовольствие? В "Теэтете" речь идет главным образом об обсуждении различных ответов, уже данных на первый из этих вопросов. Поэтому он, по-видимому, естественно следует за "Протагором"; и наша догадка получает еще одно подтверждение, когда мы обнаруживаем, что здесь также большое место отведено мнениям софиста, в честь которого назван этот диалог; главное отличие состоит в том, что выбранные для спора вопросы носят скорее умозрительный, чем практический характер. Однако существует тесная связь между аргументами, с помощью которых Протагор пытался доказать, что все люди являются учителями добродетели, и его более общим принципом, согласно которому человек является мерой всех вещей. И, возможно, именно более очевидные трудности, сопутствующие последней точке зрения, заставили Платона, после некоторых колебаний, отвергнуть первую вместе с . В одной из предыдущих глав мы привели некоторые основания полагать, что Протагор не возводил каждого человека в арбитры истины в том огульном смысле, который впоследствии придается его словам. Вероятно, он противопоставлял человека теологическому или натуралистическому стандарту. Тем не менее, из этого не следует, что Платон боролся с тенью, когда доводил протагоровскую сентенцию до ее самого буквального толкования. Есть немало людей, которые до сих пор придерживаются именно такой точки зрения. Где бы и когда бы ни рушился авторитет древних традиций, на его место немедленно приходит доктрина, согласно которой мнение одного человека ничем не хуже мнения другого; или, скорее, данная доктрина является выжившим традиционализмом в крайне измельченной форме. И когда нам говорят, что большинство должно быть правым - а это совсем другой принцип, чем утверждение, что большинству нужно подчиняться, - мы можем принять это за признак того, что разрозненные частицы снова начинают сливаться воедино. Замена индивидуального на универсальный стандарт истины, согласно Платону, является прямым следствием теории, которая отождествляет знание с чувственным восприятием. Во всяком случае, несомненно, что самые ярые приверженцы первой доктрины - это те, кто больше всего любит апеллировать к тому, что они сами и их друзья видели, слышали или чувствовали; а более образованные из них с огромным доверием относятся к статистике. Они также любят повторять поговорку о том, что унция фактов стоит тонны теории, не учитывая, что только теория может служить весами, на которых взвешиваются факты. Платон не слишком углубляется в обоснование наблюдений, да и в период становления точных наук от него этого не следовало ожидать. Он полностью признавал наличие двух факторов, объективного и субъективного, в каждом ощущении, но утратил власть над истинным методом, пытаясь проследить подобный дуализм через все сознание. Там, где мы должны проводить различие между психическими энергиями и физическими процессами, лежащими в их основе, или между элементами, соответственно вносимыми в каждое познание непосредственным опытом и размышлением, он представлял себе внутренний и внешний миры как два аналогичных ряда, связанных друг с другом, как изображение с его оригиналом.

В этом последнем пункте мы касаемся окончательного обобщения, с помощью которого Платон распространил диалектический метод на все бытие и вернул в философию прежние умозрения, предварительно исключенные из нее Сократом. Перекрестный эленхус, сначала применявшийся только к отдельным людям, был обращен с разрушительным эффектом на

каждый класс, каждый институт и каждое государство, пока вся человеческая жизнь не стала казаться одной массой самопротиворечий, неустойчивости и иллюзий. Некоторые считали, что порядок природы является контрастом и исправлением этого обескураживающего хаоса. Платон же стремился показать, что невежество и зло, распространенные среди людей, являются лишь частью несовершенства, неизбежно сопутствующего производному существованию любого рода. Для этой цели философия Гераклита оказалась желанным подспорьем. Ученик Сократа был научен в ранней юности Кратилом, приверженцем эфесской школы, что движение, относительность и соединение противоположностей - это те самые условия, при которых действует природа. Можно предположить, что Платон поначалу не обнаружил никакого сходства между гераклевым потоком и умственным недоумением, вызванным или выявленным мастером перекрестного допроса. Но его визит в Италию, вероятно, позволил бы ему по-новому взглянуть на ионийские спекуляции, поскольку он соприкоснулся бы со школами, придерживающимися прямо противоположной доктрины. Элеаты считали, что бытие остается вечно неделимым, неподвижным и неизменным. Пифагорейцы выстраивали все вещи в соответствии с напряженной и жесткой антитетической конструкцией. Затем наступила идентифицирующая вспышка.¹³² Неизменная реальность, божественный порядок, математическая истина - таков был объективный аналог сократовских определений, последовательности, которую Сократ ввел в поведение. Гераклитовская система применялась только к явлениям; она точно отражала бессвязные убеждения и беспорядочные действия необразованных людей. Чувство и мнение приводят нас в связь с колеблющимся морем порожденных и гибнущих натур, а они в своем непримиримом разнообразии воспроизводят изменчивый характер объектов, с которыми они общаются. Все, что мы видим и чувствуем, представляет собой смесь бытия и нереальности; оно одновременно и есть, и нет. Чувственные величины равны, больше или меньше в зависимости от выбранного стандарта сравнения. Однако сам акт сравнения показывает, что в нас есть нечто более глубокое, чем простое чувство; нечто, к чему все отдельные ощущения относятся как к общему центру и в чем хранятся их образы. Знание, таким образом, больше не может быть отождествлено с ощущением, поскольку мысленные репродукции внешних объектов воспринимаются в отсутствие их оригиналов, и поскольку мысль обладает еще одной способностью формировать абстрактные понятия, не представляющие никаких чувственных объектов вообще.

Нам нет необходимости продолжать исследования Платона о значении знания и причинах иллюзий, тем более что в данном случае они не приводят ни к какому положительному заключению. Общая тенденция состоит в том, чтобы искать истину внутри, а не снаружи; и связывать заблуждения отчасти с мешающим влиянием чувственных впечатлений на высшие умственные способности, отчасти с присущей явлениям путаницей и неустойчивостью, из которых эти впечатления проистекают. Наша главная задача здесь - отметить экспансивную силу обобщения, которая вновь переносит философию от человека к природе, глубокое презрение Платона к общественному мнению и зарождающееся разграничение продемонстрированной и эмпирической истины.

Несколько схожая линия размышлений прослеживается в "Кратиле", диалоге, имеющем некоторые важные точки соприкосновения с "Теэтетом" и, вероятно, относящемся к тому же периоду. Здесь так же постоянно упоминается Гераклит, чья философия также рассматривается как в значительной степени, но не полностью, истинная; и противоположная система Парменида снова упоминается, хотя и гораздо более кратко, как ценный зачет против его экстравагантности. В "Кратилусе" речь идет исключительно о языке,

как и в "Теэтете" об ощущениях и мысленных образах, но в таком игривом и ироничном тоне, что его спекулятивное значение, скорее всего, будет упущено из виду. Некоторые греческие философы, похоже, считали, что изучение вещей может быть выгодно заменено изучением слов, которые, как предполагалось, имеют естественную и необходимую связь с их общепринятыми значениями. Этой точке зрения особенно благоволили гераклитяне, которые нашли или им показалось, что они нашли подтверждение учению своего учителя в этимологии. Платон заявляет, что принимает данную теорию, и подкрепляет ее рядом производных, которые нам кажутся до смешного абсурдными, но которые, возможно, были переписаны со страниц современных филологов. Наконец, однако, он разворачивается и показывает, что от имени Парменида можно привести и другие словесные аргументы, не менее веские. Но самая ценная часть дискуссии - это протест против всей теории, согласно которой вещи можно изучать через их имена. Платон справедливо замечает, что образ, чтобы быть совершенным, должен воспроизводить не оригинал, а лишь некоторые его аспекты; что создатели языка не были непогрешимы; и что мы столь же компетентны в раскрытии природы вещей, как и они. Можно представить себе, с каким восторгом он приветствовал бы современное открытие того, что ощущения тоже являются языком и что ассоциированные группы, в которые они охотнее всего объединяются, определяются не столько необходимыми связями вещей самих по себе, сколько потребностями самосохранения и воспроизводства в разумных существах.

Во всей своей критике популярных источников информации - чувства, языка и общественного мнения - Платон обращается к идеалу совершенного знания, который он предполагает, не будучи в состоянии определить его. Он должен удовлетворять негативному условию отсутствия самопротиворечий, но дальше этого мы не можем пойти. Однако в руках метафизика для реконструкции мира требовалось не более того. Требование непротиворечивости объясняет практическую философию Сократа. Оно также объясняет, в другой форме, философию, как практическую, так и спекулятивную, его ученика. Тожество и корреляты тождества, различие, постепенно охватили своими многообразными комбинациями все знание, всю жизнь и все существование.

Именно из математической науки впервые пробился свет определенности. Сократ не поощрял изучение математики, ни чистой, ни прикладной; да и Платон, если судить по некоторым пренебрежительным упоминаниям о Гиппии и его лекциях в "Протагоре", поначалу относился к ней с особым благоговением. Возможно, он получил некоторые представления об арифметике и геометрии в школе; но близкое знакомство с ними и глубокий интерес к ним, проявляющийся во всех его поздних работах, вероятно, связаны с его поездками в Италию, Сицилию, Кирену и Египет. В каждом из этих мест точные науки культивировались с большим усердием, чем в Афинах; в Южной Италии они были тесно связаны с философией благодаря системе мистических толкований. Слава открытия их истинного спекулятивного значения принадлежала Платону. Подобно тому, как он обнаружил глубокую аналогию между сократовским скептицизмом и гераклитовским флюсом, так же, по другой яркой интуиции, он увидел в определениях и демонстрациях геометрии тип истинного рассуждения, особое применение сократовской логики. Таким образом, две науки вступили в плодотворную реакцию, одна получила более широкое применение, а другая - точный метод доказательства. Математический дух в конце концов оказался слишком сильным для Платона и превратил его философию в безжизненный формализм; но никакое постороннее влияние не помогло так сильно достичь полной

зрелости его конструктивных способностей, ни в одном направлении он не оказал более глубокого влияния на мысль последующих эпох.

И в "Теэтете", и в "Кратиле" есть ссылки на математические рассуждения, но их полное значение впервые проявляется в "Мено". Здесь вновь поднимается старый вопрос о том, можно ли научить добродетели, который обсуждается с совершенно новой точки зрения и разрешается в более общий вопрос: "Можно ли чему-нибудь научить? Ответ: и да, и нет. Вы можете стимулировать активность интеллекта, но не можете ее создать. Возьмите совершенно необразованного человека, и под правильным руководством он сам откроет для себя истины геометрии в силу их самоочевидной ясности. Будучи независимыми от какого-либо опыта, элементарные принципы этой науки, как и всех наук, должны были быть приобретены в какой-то дородовой период, или, скорее, они вообще никогда не были приобретены, они принадлежат самой природе души. Изложенная здесь доктрина имела большое будущее; и никогда, пожалуй, она не обсуждалась с таким рвением, как в последние полвека среди нас. Мастера английской мысли поставили вопрос, впервые поднятый Платоном, на самый передний план философских споров, а широкой публике дали почувствовать, что от его решения зависят ее самые дорогие интересы. Однако эта тема потеряла значительную часть своего авантюрного интереса для тех, кто знает, что позиция *априори* была перевернута сто лет назад Кантом. Философ из Кенигсберга показал, что, если признать, что знание состоит из двух элементов, разум не добавляет к внешнему опыту ничего, кроме своих собственных форм, системы связей, по которым он группирует явления. Лишите эти формы содержания, которое им придает чувство, и душа останется бить крыльями в вакууме. Доктрина о том, что знание - это не мертвое отложение в сознании или памяти, а живая энергия, благодаря которой явления, выражаясь словами Канта, собираются в синтетическое единство апперцепции, с тех пор нашла физиологическое обоснование в теории центральной иннервации. А представители эмпирической школы психологии одновременно пришли к признанию существования фиксированных условий, в которых работает и развивается сознание и которые, в конечном счете, сводятся к постижению сходства, различия, сосуществования и преемственности. Самое сложное познание включает в себя не более этих четырех категорий; и вполне вероятно, что все они взаимодействуют в самом элементарном восприятии.

Затронутые здесь истины, похоже, смутно присутствовали в сознании Платона. Он никогда не сомневался в том, что все знания так или иначе должны быть получены из опыта; и, соответственно, он предполагает, что то, что не могло быть познано в этом мире, было познано в другом. Но он не предполагает (по крайней мере, в "Мено"), что этот процесс когда-либо имел начало. Рассмотрение шагов, с помощью которых раба Мено приводят к постижению истинности пифагорейской теоремы, без прямого указания на это, покажет, что его доля в демонстрации ограничивается интуицией определенных числовых равенств и неравенств. Для Платона восприятие сходства и различия означало все. Он не стал бы отрицать, что чувственный мир представляет примеры этих отношений в их идеальной абсолютности и чистоте. Проследившая их постижение до саморефлексии души, сознания личной идентичности, он не преступил бы границ законного исследования. Но самосознание предполагало возможное абстрагирование от мешающих влияний, которое он интерпретировал как реальное разделение между разумом и материей; и, чтобы сделать его более полным, - как независимое предсуществование первого. Но и это еще не все. Поскольку познание - это познание сходства в различии, то центральной истиной вещей, реальностью, лежащей в основе всех проявлений, должна быть неизменная идентичность, распознанная душой благодаря ее предыдущему общению с ней в более чистом мире. Неизбежная тенденция двух идентичностей, одной субъективной и другой объективной,

должна была объединиться в абсолютное единство, где все различия времени и пространства исчезли бы, унеся с собой весь мифический механизм; и логика Платона всегда витает на грани такого завершения, не будучи в состоянии полностью принять его. Тем не менее, мистическая тенденция, которую Плотину было поручено осуществить во всей ее полноте, всегда присутствует, хотя и сдерживается другими мотивами, работая над установлением единообразия в теории и над обеспечением единообразия на практике.

Мы сопровождали Платона до того момента, когда он начинает видеть свой путь к радикальной реконструкции всех существующих верований и институтов. В следующей главе мы попытаемся показать, насколько он преуспел в этой великой цели, сколько в его позитивном вкладе в развитие мысли имеет постоянную, а сколько - чисто биографическую или литературную ценность.

ГЛАВА V. ПЛАТОН КАК РЕФОРМАТОР.

I.

В прошлой главе мы рассмотрели философию Платона в основном с ее критической и негативной стороны. Мы увидели, как исключительно с этой стороны он сначала воспринял и расширил диалектику Сократа, как глубоко его скептицизм был окрашен религиозной реакцией эпохи и как он попытался из уст своего учителя опрокинуть позитивное учение самого учителя. Мы видели, как в "Протагоре" он набросал теорию этики, которая не успела завершиться, как стала отправной точкой для еще более обширных и трудных исследований. Мы следили за тем, как расширялся горизонт его рассуждений, пока они не охватили всю современную жизнь Эллады и не привлекли ее к общему осуждению как безнадежно испорченную или содержащую в себе семена разложения. Затем мы увидели, как путем дальнейшего обобщения он был вынужден искать источники ошибок в законах чувственной природы человека и феноменального мира, с которым он общается; как, более того, под руководством предложений, исходящих как изнутри, так и извне, он вернулся к более ранним школам греческой мысли и привел их результаты в параллелизм с основными линиями сократовской диалектики. И наконец, мы наблюдали, как он прочно утвердился на основе математической демонстрации; как он искал в самой конституции души выведение истин, которые чувственный опыт не мог передать, и отвоевывал у более глубоко обоснованной религии надежду, уверенность в себе, уверенность в совершенном знании, которые раньше были преданы в угоду требованиям чисто внешней и традиционной веры. То, что только Бог мудр и, как следствие, только благ, могло оставаться для Платона неизменным принципом; но оно перестало сдерживать человеческие устремления, когда он пришел к признанию существенного единства всех форм сознательной жизни, которое, хотя и может быть затуманено и забыто, никогда не может быть полностью стерто. И когда Платон в конце своей карьеры говорит нам, что Бог, в гораздо большей степени, чем любой отдельный человек, является мерой всех вещей¹³³, кто может сомневаться, что он уже научился отождествлять человеческую и божественную сущности в общем понятии универсальной души?

Зародыш этого нового догматизма присутствовал в сознании Платона с самого начала и отчасти был унаследован от более древних форм мышления. В "Апологии" была воспроизведена одна важная черта позитивного учения Сократа - различие между душой и телом и необходимость уделять внимание первому, а не второму: теперь это приобрело такое значение, что не оставляло места для агностицизма, с которым оно было несовместимо с самого начала. Та же самая непреодолимая сила расширения, которая привела человеческую душу к общению с абсолютной истиной, должна была в равной степени подтвердиться и в другом направлении. Платон был слишком сильно заинтересован в практических вопросах, чтобы надолго отвлекаться от них с помощью какой-либо теоретической философии; или, возможно, мы должны скорее сказать, что этот интерес сопровождал и вдохновлял его на протяжении всего времени. Именно из сущностной относительности разума, из глубокой тяги к интеллектуальному сочувствию с другими разумами возникают все мистические фантазии и сверхтонкие абстракции; Так что, когда напряжение трансцендентного поглощения и экстаза ослабевает под леденящим, но благотворным воздействием земного опыта, они сгущаются в идеи воссоздания жизни и общества на основе взаимности, самоограничения и самоотдачи содружеству, большему и более прочному, чем любой индивидуум, и в то же время представляя каждому в объективной форме принцип, благодаря которому только он может примириться с самим собой, вместо того чтобы быть разделенным. Здесь мы имеем кредо всей философии, будь то теологической, метафизической или позитивной, что существует или должно существовать это троякое единство чувства, действия и мысли, души, общества и всеобщего существования, обладание которым есть вечная жизнь, а отсутствие его - вечная смерть. Это кредо должно быть заново сформулировано и заново истолковано при каждом перевороте мысли. Нам предстоит увидеть, как оно было впервые сформулировано и истолковано Платоном.

Основной целью негативной критики Платона было подчеркнуть различие между реальностью и видимостью во внешнем мире, между чувством, или воображением, и разумом в человеческой душе. Верный посредническому духу греческой мысли, он теперь стремился перекинуть мост через эту, казалось бы, непроходимую пропасть. Мы не должны понимать, что эти две различные и в какой-то степени контрастные тенденции соответствуют двум определенно разделенным периодам его жизни. Очевидно, что задачи препарирования и реконструкции часто решались совместно и представляли собой два аспекта единого процесса. Но в целом есть все основания полагать, что Платон, как и другие люди, был более склонен к тому, чтобы разбирать на части в юности и строить в более поздние годы. Поэтому мы склонны согласиться с теми критиками, которые относят "Федру" и "Симпозиум" к сравнительно продвинутой стадии платоновского умозрения. Решить, какое из двух произведений было написано первым, не так просто, поскольку в одном из них, по-видимому, больше зрелости мысли, а в другом - стиля. Для наших целей будет удобнее всего рассматривать их вместе.

Мы видели, как Платон рассматривал математику как введение в абсолютное знание. Теперь он обнаружил параллельный метод приближения к совершенной мудрости в порядке опыта, который большинству людей может показаться максимально далеким от точных наук, - в тех страстных чувствах, которые возбуждало в греческом воображении зрелище юношеской красоты без различия пола. По крайней мере, среди афинян был сильный интеллектуальный элемент в привязанностях, возникающих в результате таких чувств; и часто можно было наблюдать странную аномалию, когда человек посвящал себя воспитанию юноши, которого он в других отношениях всеми силами старался развратить. Опять же, красота, которой грек был очарован, была ближе к зримому воплощению разума, чем любая другая, которая когда-

либо была известна, и как таковая могла быть связана с самыми чистыми философскими устремлениями. И, наконец, страсть любви в ее нормальных проявлениях является по сути родовым инстинктом, который выводит индивида полностью из себя, делая его полезным для сохранения расы в формах все более совершенных и энергичных; так что, при условии мудрого обучения и большого опыта, поддержание благородной породы можно смело доверить ее безошибочному отбору¹³⁴. Все эти точки зрения были развиты Платоном с таким обилием иллюстраций и великолепием языка, что его имя до сих пор ассоциируется в народном воображении с идеалом возвышенного и очищенного желания.

Пока, однако, мы стоим лишь на пороге платоновской любви. Земная страсть, сама по себе являющаяся неким обобщением, - наша первая ступень в восхождении на ту высшую ступень бытия, где мудрость, добродетель и счастье едины - благо, к которому все остальные блага относятся как средства достижения цели. Но любовь - это не только введение в философию, это разновидность самой философии. Оба они - состояния, промежуточные между пустотой и исполнением; желание по самой своей природе не удовлетворено и исчезает в тот момент, когда его объект достигнут. Философ - любитель мудрости, а потому не мудр; и все же он не полностью невежествен, ибо знает, что ничего не знает. Таким образом, мы, кажется, отброшены на позицию самого раннего агностицизма Платона. Тем не менее, если "Симпозиум" номинально согласен с "Апологией", в действительности он знаменует собой гораздо более продвинутый этап спекуляций. Идея о том, что такое знание, начала принимать гораздо более четкое выражение. Из различных намеков и предположений мы поняли, что это восприятие подобия; тот самый процесс восходящего обобщения, который характеризуется интеллектуальной любовью.

Стоит отметить, что в платоновском Эросе мы имеем зародыш - или нечто большее, чем зародыш - всей метафизической системы Аристотеля.¹³⁵ Согласно обычному закону спекулятивной эволюции, то, что было субъективным в одном, становится объективным в другом. У Платона страсть к знанию была лишь руководящим принципом нескольких избранных духов. У Аристотеля она - живая душа Природы, тайная пружина движения, начиная с оборота самой внешней звездной сферы и заканчивая разложением и воссозданием наших изменчивых земных элементов, а от них - через всю шкалу органической жизни, вплоть до нравственной культуры человека и поиска идеально-созданного государства. То, что позволяет всем этим бесчисленным движениям продолжаться в вечности, возвращаясь по непрерывному кругу к самим себе, - это стремление неоформленной материи, то есть нереализованной силы, к абсолютной неизменной актуальности, к самоосмысленной мысли, не движимой, но приводящей в движение все остальные формы существования желанием участвовать в ее невыразимом совершенстве. Рожденная из эллинского энтузиазма к красоте, эта замечательная концепция впоследствии вошла в официальное учение католической теологии. То, что когда-то служило темой для веселья или риторического хвастовства золотой молодежи Афин, стало мотивом для самых трансцендентных размышлений Ангела школ; но огонь, таившийся под пыльными абстракциями Аквинского, нуждался в прикосновении поэта и влюбленного, прежде чем разгореться вновь. Глаза Беатриче завершили начатое диалектикой Платона, а сто канто ее обожателя нашли свое завершение в любви, которая движет солнцем и другими звездами.

Однако мы должны заметить, что за всеми этими поэтическими фантазиями скрывается более глубокий и широкий закон человеческой природы, о котором они бессознательно свидетельствуют, - тесная связь религиозного мистицизма со страстью любви. Под этим мы не имеем в виду постоянное вмешательство одного в другое, будь то с целью

стимулирования, как в натуралистических религиях, или с целью сдерживания, как в этических религиях; мы имеем в виду, что они, кажется, делят между собой общий фонд нервной энергии, так что иногда их проявления неразрывно смешиваются, как в некоторых извращенных формах современного христианства; Иногда они полностью исключают друг друга; а иногда, что случается чаще всего, одно трансформируется в другое, причем их содержательная идентичность и преемственность весьма откровенно обозначается использованием одного и того же языка, одного и того же ритуала и одного и того же эстетического оформления. И это покажет, как упадок религиозной веры может сопровождаться вспышкой моральной разнузданности, не заставляя нас делать вывод, что страсти можно сдерживать только с помощью иррациональных убеждений или организаций, чье господство смертельно опасно для промышленного, политического и интеллектуального прогресса. Ибо, если наш взгляд на дело верен, страсть на самом деле не сдерживалась, а только поворачивалась в другом направлении и часто питалась истерическим избытком; так что с неизбежным упадком теологии она возвращается в свои старые места, принося с собой семь дьяволов хуже первого. После крестовых походов наступили суды любви; после доминиканского и францисканского движений - Ренессанс; после пуританства - Реставрация; после иезуитизма - Регентство. И это еще не все. Страсть, о которой мы говорим, будучи ненормально развитой и неуравновешенной суровыми интеллектуальными упражнениями, обычно сопровождается безумной ревностью, жестокостью и обманом. Приняв форму религии, влияние ее злых сообщников немедленно проявляется в подавлении чуждых вероучений, в пытках, которым подвергаются их приверженцы, и в максиме, согласно которой еретик не должен придерживаться веры. Гонения оправдывались тем, что любые средства оправданы ради спасения душ от вечных мук. Но как можно было поверить в то, что такие последствия влечет за собой простая ошибка в суждениях? Не вера породила нетерпимость, а нетерпимость породила веру и тем самым дала идеализированное выражение ревнивой ярости, сопровождающей страсть, которую никакая духовная алхимия не в состоянии очистить от ее первоначальных средств. Мы должны бороться с этим ужасным инстинктом не путем обращения к сверхъестественному объекту, а путем развития активной и мужественной, а не эмоциональной и женственной стороны нашей нервной организации.¹³⁶

Помимо других великих уроков, "Симпозиум" дал Платону возможность противопоставить свой собственный метод философствования досократовским способам мышления. Ведь он состоит из серии рассуждений в похвалу любви, выстроенных таким образом, чтобы продемонстрировать, как греческая спекуляция, начав с мифологии, перешла к физическим теориям явлений, затем от исторического метода к современному, спрашивая не о том, откуда появились вещи, а о том, что они собой представляют, и, наконец, пришла к логической точке зрения анализа, классификации и индукции.

Природа диалектики еще больше раскрывается в "Федре", где она также противопоставляется методу, или, скорее, отсутствию метода, популярной риторике. В качестве иллюстрации здесь снова выбраны рассуждения о любви. Цитируется рассуждение на эту тему не менее известного автора, чем Лисий, и показывается, что в нем отсутствуют самые элементарные требования к логическому изложению. Различные аргументы нанизываются друг на друга без какого-либо принципа расположения, а двусмысленные термины используются без определения. Настаивая на необходимости определения, Платон следует за Сократом, но он дает определение по совершенно иному методу. Сократ пришел к своим общим понятиям отчасти путем сравнения конкретных

случаев с целью выявления точек их согласия, отчасти путем изменения уже имеющихся понятий. Мы видели, что самые ранние "Диалоги", приписываемые Платону, представляют собой длинное разоблачение трудностей, связанных с такой процедурой; и все его последующие исследования доказывали, что на таком переменчивом фундаменте, как чувство и мнение, нельзя построить ничего прочного. Тем временем все большее знакомство с великими онтологическими системами научило его начинать с самых общих понятий и от них переходить к самым конкретным. Следствием этого стало то, что диалектика стала означать не что иное, как классификацию или логическое деление. Определение было поглощено этим процессом, и рассуждение с помощью силлогизма еще не было от него отделено. Сказать, что такое вещь, означало определить ее место во всеобщем порядке существования, а ее индивидуальное существование в достаточной мере объяснялось тем же определением. Если мы представим себе сначала серию концентрических кругов, затем серию контрастов, симметрично расположенных по обе стороны от центральной разделительной линии, и, наконец, серию переходов, нисходящих от абсолютного единства к самому неупорядоченному разнообразию, то, объединив эти три схемы, мы придем к некоторому пониманию платоновской диалектики. Назначить чему-либо свое место в этих различных последовательностях - значит одновременно определить его и продемонстрировать необходимость его существования. Такая схема также эквивалентна теории конечных причин; ведь все имеет свою функцию, которая определяется его положением и приводит его в связь с универсальным порядком. Такая система неизбежно привела бы к отрицанию зла, если бы само зло не трактовалось как необходимый коррелят добра или как необходимое звено в нисходящих проявлениях реальности. Более того, в силу своего отождествляющего принципа Платон видел в низших формах тень или отражение высших. Отсюда множество неожиданностей, уступок и возвратов к прежним позициям, которые мы находим в его поздних работах. Три момента греческой мысли - обрезание, антитеза и посредничество - работают в таком тесном союзе или с такой обескураживающей быстротой сменяют друг друга во всей его диалектике, что мы никогда не уверены, куда он нас ведет, и не всегда уверены, что он сам это знает.

Во вступительной главе этой работы мы попытались объяснить, как пифагорейская философия возникла из опьяненного восторга, вызванного первым знакомством с многообразием свойств числа и фигуры. Если мы хотим проникнуться духом платонизма, мы должны таким же образом перенестись в то время, когда идея универсальной классификации впервые зародилась в умах людей. Мы должны помнить, как она удовлетворяла греческую любовь к порядку в сочетании с индивидуальностью; какие неограниченные возможности для постановки и ответа на вопросы она предоставляла; и какие обещания практического возрождения она давала. Не без тени грусти по поводу стольких потерпевших неудачу усилий и стольких разрушенных надежд, но и с благодарным воспоминанием обо всем, чего достиг разум, и с чем-то от своего собственного высокого интеллектуального энтузиазма, прислушаемся к пророческим словам Платона - словам более глубокого значения, чем знал их автор: "Если я найду человека, способного видеть в природе Единое и Многое, я последую за ним и пойду по его стопам, как если бы он был богом" ¹³⁷.

Интересно проследить, как самые всеобъемлющие системы нынешнего века, даже если они наиболее противоположны метафизическому духу, все еще строятся по плану, давно набросанному Платоном. Как в своей классификации наук, так и в своих исторических выводах и планах реорганизации общества Огюст Конт использует схему восходящего или

нисходящего обобщения. Концепция дифференциации и интеграции, используемая Гегелем и Гербертом Спенсером, также имеет платоновское происхождение; только то, что у античного мыслителя было статическим законом порядка, у его современных преемников стало динамическим законом прогресса; и опять же, между немецким и английским философом есть то различие, что первый трактует как последовательные моменты Идеи то, что второй рассматривает как одновременные и взаимозависимые процессы эволюции.

II.

Изучение психологии у Платона находится в четырехсторонней связи с его общей теорией мира. Диалектический метод, без которого природа осталась бы непонятной, является функцией души и составляет ее наиболее существенную деятельность; затем душа, в отличие от тела, представляет собой высший, сверхчувственный элемент существования; в-третьих, объективный дуализм реальности и видимости воспроизводится в субъективном дуализме разума и чувства; и, наконец, душа, как первоначальная пружина движения, является посредником между вечными сущностями, которые неподвижны, и материальными явлениями, которые подвержены непрерывному течению. Для Платона очень характерно, что он сначала до предела напрягает антитезу, а затем пытается примирить ее крайности путем введения одного или нескольких промежуточных звеньев. Так, отводя эту роль душе как части мироздания, он классифицирует сами психические функции по аналогичному принципу. С интеллектуальной стороны он помещает истинное мнение, или то, что мы сейчас называем эмпирическим знанием, на полпути между демонстрацией и чувственным восприятием. По крайней мере, к такому результату он пришел в "Теэтете" и "Мено". В "Республике" дальнейший анализ приводит к несколько иному расположению. Мнение помещается между знанием и незнанием, а возможные объекты, которым оно соответствует, образуют переход от бытия к небытию. Впоследствии математические рассуждения выделяются из высшей науки, которая познает первые принципы, и таким образом связываются с простым мнением; в то время как оно, имея дело с материальными объектами, связано с познанием их теней, как самая совершенная наука связана с [математикой](#)¹³⁸.

Переходя от диалектики к этике, Платон точно так же чувствует необходимость вмешательства посредника между разумом и аппетитом. Качество, выбранное для этой цели, он называет *θυμός*, термин, который, как ошибочно полагают, соответствует не нашему слову "воля", а скорее гордости, или чувству личной чести. Это и место воинской храбрости, и естественный помощник разума, с которым он сотрудничает в сдерживании животных желаний. Характерное различие между Сократом и Платоном заключается в том, что первый обычно подкреплял свои аргументы в пользу добродетели апелляцией к собственным интересам, в то время как второй, с его аристократическим взглядом на вещи, предпочитал заручаться помощью более надменного чувства. Аристотель следовал тому же пути, когда учил, что быть побежденным гневом менее позорно, чем быть побежденным желанием. В действительности ни один из инстинктов, направленных на самосохранение, не является более похвальным, чем другой, и не поддается контролю разума. Платоновское трехчастное деление разума невозможно вписать в классификации современной психологии, которые приспособлены не только к более совершенному уровню знаний, но и к более сложным условиям жизни. Но женские характеры, благодаря своей большей простоте и однообразию, в какой-то степени показывают, какими когда-то могли быть мужские; и, возможно, подтверждением анализа "Федра" будет тот факт, что личная гордость все еще связана с моральным принципом в опеке женской добродетели.

Если душа служила для связи вечных реальностей с мимолетными явлениями, которые их то затемняли, то облегчали, то затеняли, то она была также связующим звеном между

спекулятивной и практической философией Платона; и, обсуждая его психологию, мы уже перешли от одной к другой. Переход станет еще легче, если мы вспомним, что вопрос "Что такое знание?" был, согласно нашему мнению, первоначально предложен теорией, сводящей этическую науку к гедонистическому исчислению, и что вместе с ним должен был возникнуть другой вопрос "Что такое удовольствие?". Этот последний вопрос, хотя и случайно затронутый в других местах, не рассматривается полностью ни в одном диалоге, кроме "Филеба", который мы согласны с профессором Джоуэттом, относящим его к очень позднему периоду платоновского авторства. Но линия аргументации, которую он проводит, вероятно, была давно знакома нашему философу. Во всяком случае, в "Федоне", "Республике" и, возможно, в "Горгии", как уже было доказано, предполагается, что удовольствие не является высшим благом. По этому вопросу мыслители до сих пор расходятся во мнениях. Кажется, что он действительно лежит за пределами разума, и спорящие вынуждены ссылаться на авторитет либо индивидуального сознания, либо общего согласия в поддержку своих мнений. Однако мы настолько далеко ушли от древних, что от доктрины эгоистического гедонизма отказались почти все. Замена чужого удовольствия своим собственным в качестве объекта преследования не была концепцией, которая представлялась любому греческому моралисту, хотя принцип самопожертвования поддерживался некоторыми из них, и особенно Платоном, в полной мере. Стремление к удовольствиям неразрывно связано с эгоизмом, последний лучше всего атаковать через первый, и если логика Платона не вызывает у нас понимания, мы должны признать, что она была использована для защиты благородного дела.

Стиль полемики, принятый по этому случаю, независимо от его ценности, прекрасно иллюстрирует общий диалектический метод нападения. Когда Платону особенно не нравился какой-либо класс людей, или институт, или искусство, или теория, или состояние сознания, он старался доказать, что оно запутанно, неустойчиво и самопротиворечиво; кроме того, он использовал все преимущества любой дискредитации, которая была распространена в народе. Все эти возражения с полной силой выдвигаются против удовольствия. Некоторые удовольствия обманчивы, поскольку их реальность не соответствует предвкушению; все удовольствия по сути своей преходящи, это вечное становление, никогда не фиксированное состояние, а значит, не конец действия; удовольствия, которые возникают при удовлетворении желаний, обязательно сопровождаются болью и исчезают одновременно с ней; самые интенсивные, и по этой причине самые типичные, удовольствия связаны с чувством стыда, и их получение тщательно скрывается от глаз.

Подобные аргументы выглядят почти как послесловие, и, возможно, на Платона сильнее действовали другие соображения, к анализу которых мы сейчас и приступим. Когда удовольствие было принято за высшее благо, знание было признано необходимым средством для его достижения; и, как это часто бывает, средство постепенно подменило собой цель. Но и это еще не все; ведь знание (или разум), будучи не только средством, но и верховным арбитром, когда его призывали рассудить противоречивые притязания, естественно, принимало решение в свою пользу. Естественно также, что моралист, сделавший науку главным интересом своей жизни, должен был прийти к убеждению, что она является надлежащим объектом всей жизни, независимо от того, сопровождается она приятными эмоциями или нет. И вот, в прямом противоречии с утилитарной теорией, Платон наконец заявляет, что терпеть меньшую боль, чтобы избежать большей, или отказываться от меньшего удовольствия, чтобы получить большее, - это замаскированная трусость и невоздержанность; и что мудрость, которую он раньше считал средством достижения других целей, - это единственная цель, ради которой следует обменять все [остальное](#)¹³⁹.

Возможно, его укрепило в этой позиции наблюдение за тем, что многие, чье мнение он так презирал, сделали своей целью жизни удовольствие, в то время как привередливые немногие предпочитали знания. Однако через некоторое время даже последняя альтернатива не смогла удовлетворить его беспокойный дух. Ибо концепция знания распадалась на более глубокие концепции познающего субъекта и познаваемого объекта, души и вселенной, каждая из которых в свою очередь становилась высшим идеалом. От выбора между ними зависело, какое толкование следует дать добродетели. Согласно одной точке зрения, она представляет собой очищение высшего принципа внутри нас от материальных желаний и страстей. Чувственных удовольствий следует избегать, поскольку они ведут к деградации и загрязнению души. Смерть следует встречать бесстрашно, потому что она освобождает от ограничений телесного существования. Но Платон слишком хорошо понимал реалии жизни, чтобы удовлетвориться чисто аскетической моралью. Знание, с объективной стороны, приобщало его к организованной вселенной, где каждый человек существовал не ради себя, а ради целого, чтобы выполнять определенную функцию в системе, частью которой он являлся. И если с одной точки зрения сама душа была абсолютно простой неделимой субстанцией, то с другой - она отражала внешний порядок и выполняла закон своего бытия только тогда, когда каждая отдельная способность осуществлялась в соответствующей ей сфере.

Оставалась последняя проблема, которую нужно было решить, одна точка, где сходящиеся потоки этических и метафизических спекуляций встречались и смешивались. Если допустить, что знание - это высшая энергия души, то каков же объект этого блаженного видения? Если допустить, что все конкретные энергии взаимодействуют ради общей цели, то какова цель, которой они подчинены? Если допустить, что диалектика ведет нас по восходящим грациям к одной всеобъемлющей идее, то как эту идею определить? Платон пытается ответить на этот последний вопрос, лишь переформулировав его в виде иллюстрации. Как солнце одновременно дает жизнь всей природе и свет глазу, которым природа воспринимается, так и идея Блага является причиной и существования, и познания, но превосходит их обоих как абсолютное единство, о котором мы даже не можем сказать, что оно есть, ибо различие субъекта и предиката снова вернуло бы относительность и множественность. Здесь, кажется, мы имеем обратную сторону сократовского парадокса. Сократ отождествлял добродетель со знанием, но при этом полностью опустошал последнее от его спекулятивного содержания. Платон, унаследовав идею знания в ее искусственно ограниченном значении, был непреодолимо влечом к более древней философии, откуда она была первоначально заимствована; затем, подобно тому как его учитель дал этическое приложение науке, он, путешествуя по той же земле в противоположном направлении, расширил теорию этики далеко за пределы ее законного диапазона, пока принцип, который, казалось, не имел никакого значения, кроме как в отношении человеческого поведения, не стал абстрактным связующим звеном между всей реальностью и всей мыслью.

Удалось ли Платону когда-нибудь сделать идею Блага вполне ясной для других или даже для самого себя, мы сказать не можем. В "Республике" он отказывается от дальнейших объяснений, ссылаясь на то, что его ученики не прошли необходимую математическую инициацию. Должны ли были количественные рассуждения стать формой или материей трансцендентной диалектики, осталось неясным. Нам рассказывают, что однажды большая аудитория собралась, чтобы послушать лекцию Платона о благе, но, к их разочарованию, речь была полностью заполнена геометрическими и астрономическими исследованиями. Учитывая, однако, что математика занимается в основном уравнениями, а астрономия, по мнению Платона, должна была доказать абсолютную однородность небесных движений, можно заключить, что идея Блага означала не более чем абстрактное понятие тождества или

неразличимого подобия. Более сложная идея закона как единообразия отношений, сосуществующих или сменяющих друг друга, тогда еще не возникла, но с тех пор ее аналогичным образом использовали для приведения физики в гармонию с этикой и логикой.

III.

До сих пор мы прослеживали развитие философии Платона в том виде, в каком оно могло происходить под влиянием чисто теоретических мотивов. Теперь нам предстоит рассмотреть, какую форму придали ей более настоятельные требования практического опыта. И здесь Платон продолжает дело Сократа, но в гораздо большем масштабе. Действительно, между выражением мысли, с одной стороны, и растущей потребностью в ее применении к жизни - с другой, существовала некая заранее установленная гармония. Ведь распространение общественной коррупции шло *параллельно* с развитием философии. Учение Сократа было адресовано отдельным людям и касалось главным образом частной морали. В других вопросах он довольствовался тем, что принимал закон страны и установленную политическую конституцию как достаточно надежные ориентиры. Он не привык видеть, как их оспаривают или превращают в орудия эгоистического обогащения; да ему, видимо, и в голову не приходила возможность такого развития событий. Тем более он не считал, что все существовавшие тогда общественные институты в корне ошибочны. Поэтому личные добродетели занимали в его системе более важное место, чем общественные. Его нападки были направлены против лени и самообольщения, против невежественного безрассудства, которое торопило некоторых молодых людей в политику до завершения образования, и робости или привередливости, которые мешали другим исполнять высшие обязанности гражданства. Принимая народную религию своего времени, он также не подозревал, что ее санкции могут быть использованы в интересах успешного насилия и мошенничества. Мы уже показали, насколько по-разному Платон относился к своей эпохе и насколько глубже, а также бесстыднее была деморализация, с которой ему пришлось бороться. Следует также помнить, что судебные разбирательства затмили все другие общественные интересы; и что высочайшая культура того времени, по крайней мере в его глазах, стала отождествляться с систематическим извращением истины и права. Эти соображения объясняют, почему греческая философия, двигаясь по более высокой плоскости, прошла через ту же орбиту, которую ранее описала греческая поэзия. Точно так же, как за уроками умеренности у Гомера последовали уроки справедливости у Эсхила, точно так же, как религия, которая была эгоистичным общением между богами и людьми и мало что говорила о жизни за гробом, сменилась более благородной верой в божественное попечение о морали и воздаяние после смерти, так и сократическая этика и сократическая теология привели к системе, которая сделала справедливость сутью морали, а религию - ее вечным посвящением.

Воздержание и справедливость очень четко разграничены в нашем сознании. Первая - это в основном забота о себе, вторая - социальная добродетель. Но было бы ошибкой полагать, что для Платона это различие было столь же очевидным. От Сократа он узнал, что все добродетели едины. Он столкнулся с людьми, которые противопоставляли интерес чести, а целесообразность - честности, не скрывая, что отдают предпочтение первому. Здесь, как и в других местах, он старался растворить вульгарную антитезу и заменить ее более глубокой - антитезой между реальными и кажущимися благами. Он был вполне готов представить себе человека, которому в процессе отправления правосудия приходится терпеть всевозможные страдания, вплоть до позора, пыток и смерти; но, не отрицая, что это зло, он считал, что совершать несправедливость в сопровождении мирского процветания - еще большее зло. И это убеждение совершенно не связано с его верой в будущую жизнь. Он не согласился бы со

святым Павлом в том, что добродетель - это плохой расчет без надежды на вознаграждение за нее в будущем. Его мораль абсолютно независима от посторонних соображений. Тем не менее, он считает, что в наших собственных интересах мы должны делать то, что правильно; и, похоже, ему и в голову не приходило, что для этого могут быть какие-то другие мотивы. Мы должны объяснить, как возможен такой парадокс.

Платон, по-видимому, очень сильно чувствовал, что все добродетельные действия направлены на благо, превосходящее по своей ценности любые временные жертвы, которые они могут повлечь; и принятая коннотация этических терминов полностью соответствовала этому убеждению. Но он не мог понять, что конкретный поступок может быть хорош для общества в целом и плох для отдельного человека, который его совершает, причем не в другом, а в том же самом смысле, поскольку влечет за собой уменьшение его счастья. Ведь с абстрактной и обобщающей точки зрения Платона все благо было однородным, и благополучие отдельного человека абсолютно отождествлялось с благополучием целого, к которому он принадлежал. По отношению к тем, кто ставил право в зависимость от силы и возводил самообольщение в закон жизни, Платон занимал неприступную позицию. Он показал, что такие принципы делают общество невозможным и что без чести даже шайка воров не может держаться вместе.¹⁴⁰ Он также видел, что именно разум приводит каждого человека в связь с целым и позволяет ему понять свои обязанности по отношению к нему; но в то же время он придал этому разуму личный характер, который не принадлежит ему должным образом; или, что сводится к тому же самому, он рассматривал человеческие существа как чистую *entia rationis*, тем самым невольно устраняя необходимость существования какой-либо морали вообще. По его мнению, было бы абсурдно нарушать закон; но не было бы ни соблазна нарушить его, ни неприятных последствий, которые могли бы последовать за его нарушением. Платон говорит о несправедливости как о повреждении душевного здоровья и, следовательно, как о величайшем зле, которое может постигнуть человека, не замечая, что этот вывод приводит к путанице в терминах. Ведь его аргументы требуют, чтобы под душой понималась как вся сознательная жизнь, так и система абстрактных понятий, с помощью которых мы общаемся и взаимодействуем с нашими собратьями. Всякое преступление серьезно нарушает вторую систему, поскольку не может без абсурда быть положено в основу общего правила; но, не считая уголовных последствий, оно не наносит ущерба, а может принести пользу первой.

Если Платон отождествлял индивида с обществом, умалчивая о возможном расхождении их интересов, то он еще больше усилил их логическую путаницу, превратив "я" во множество конфликтующих способностей и импульсов, которые должны были представлять различные классы, из которых состоит государство. Его оппоненты считали, что справедливость и закон исходят от правящей силы в политическом теле; и они были вынуждены признать, что верховная власть должным образом принадлежит самым мудрым и лучшим гражданам. Перенеся эти принципы на внутренний форум, он утверждал, что психологическая аристократия может быть установлена только путем предоставления разуму аналогичного контроля над животными страстями.¹⁴¹ На первый взгляд, это означает не что иное, как возвращение к позиции Сократа или самого Платона в "Протагоре". Человека, который потакает своим желаниям в пределах, установленных заботой об их безопасном удовлетворении на протяжении всей жизни, можно назвать умеренным и разумным, но он не обязательно справедлив. Если, как всегда, мы отождествим верховную власть внутри с верховной властью вне, нам придется признать, что в душе человека есть способность к справедливости, соответствующая объективной справедливости политического закона; а поскольку высшей добродетелью, по общему мнению, является разум, мы должны пойти дальше и признать, что справедливость - это разум, или что разумно быть справедливым; и

что, как следствие, вершина несправедливости - это вершина глупости. Более того, этой ошибочной подмене справедливости воздержанностью способствовало то обстоятельство, что хотя первая добродетель не связана со второй, вторая в очень большой степени связана с первой. Самоконтроль ни в коем случае не предполагает уважения к правам других людей; но там, где такое уважение существует, оно требует значительной доли самоконтроля.

Мы надеемся, что вышеизложенный анализ прояснил шаги сложного спора и показал, что весь процесс зависит от двусмысленного использования таких понятий, как индивид и сообщество, из которых одно парадоксальным образом трактуется как множественность, а другое - как единство; справедливость, которая попеременно понимается в смысле контроля, осуществляемого достойнейшим, контроля страстей в общих интересах, контроля наших страстей в интересах других и контроля тех же страстей в наших собственных интересах; и мудрость или разум, который иногда означает любой вид совершенства, иногда совершенство гармоничного общества, а иногда совершенство хорошо уравновешенного ума. Таким образом, из самоценной добродетели возникает добродетель социальная, и весь этот процесс в конечном итоге обусловлен той опознавательной силой, которая была одновременно и силой, и слабостью платоновского гения.

Платон прекрасно понимал, что, хотя риторов и людей мира можно заставить замолчать, их нельзя ни обратить, ни даже убедить такими аргументами, как эти. Не считая возможным убедить людей в добродетели, он заметил о тех, кто является рабом своих чувств, что, прежде чем научить их истине, нужно их улучшить.¹⁴² И он чувствовал, что если полная ассимиляция человека и общества должна стать чем-то большим, чем просто логической формулой, она должна быть осуществлена путем радикальной реформы в обучении одного и в институтах другого. Поэтому он взялся за разработку схемы, о которой мы знаем главным образом из его величайшего произведения - "Республики". Мы уже широко использовали негативную критику, рассеянную по этому диалогу; теперь нам предстоит рассмотреть позитивное учение, которым оно было дополнено.

IV.

Платон, как и Сократ, делает религиозное воспитание основой образования. Но если учитель довольствовался тем, что ставил старые верования на новую основу, то ученик стремится не к чему иному, как к их полному очищению от иррациональных и аморальных составляющих. Он устанавливает два великих принципа: Бог благ и истинен.¹⁴² Любая история, не соответствующая такому характеру, должна быть отвергнута; так же как и все, что в поэтах дискредитирует национальных героев, а также все, что в самой отдаленной степени стремится сделать порок привлекательным или добродетель отталкивающей. Очевидно, что Платон, как и Ксенофан, отвергал не только скандальные подробности народной мифологии, но и антропоморфные представления, лежащие в ее основе; хотя он не считал нужным заявлять о своем неверии с такой же откровенностью. Его собственная теология была своего рода звездопоклонничеством, и он доказывал божественность небесных тел, ссылаясь на единообразие их движения.¹⁴³ Далее он учил, что мир был создан абсолютно добрым Существом; но мы не можем быть уверены, что это не более чем популярная версия теории, которая ставит абстрактную идею Добра на вершину диалектического ряда. Истина заключается в том, что существуют два различных типа религии, один из которых в основном интересуется существованием и атрибутами Бога, а другой - судьбой человеческой души. Первый лучше всего представлен иудаизмом, второй - буддизмом. Платон принадлежит скорее к психическому, чем к теистическому типу. Доктрина бессмертия снова и снова появляется в его "Диалогах", а один из самых прекрасных среди них полностью посвящен ее доказательству. Кажется, он все время сознает, что приводит аргументы в пользу парадокса.

Здесь, по крайней мере, нет апелляции к народным предрассудкам, которые так часто встречаются в подобных дискуссиях между нами. Вера в бессмертие давно будоражила воображение, но она не пустила глубоких корней среди ионийских греков. Мы даже не можем быть уверены, что она была принята в качестве утешительной надежды кем-либо, кроме самых высоких умов в Элладе, или была принята ими более чем на короткий период. Легко было бы утверждать, что это произошло из-за естественной непривычности для греческого воображения мыслей, уводящих его от мира чувств и прелестей земной жизни. Но это объяснение сразу же рушится, когда мы пытаемся проверить его на более широком опыте. Ни одна современная нация не наслаждается жизнью так остро, как французы. Однако, если не принимать во внимание традиционные догмы, ни одна нация не насчитывает столько искренних сторонников веры в духовное существование за пределами могилы. И, если взять отдельный пример, то именно тот острый вкус, который испытывает Клеон у мистера Браунинга ко всякого рода удовольствиям, заставляет его с ужасом отступать при мысли об уничтожении и хвататься за любое обещание счастья, которое можно продлить в вечности. Необходимо более тщательное исследование, чтобы понять, по каким причинам течение греческой мысли было изменено.

Великое религиозное движение шестого и пятого веков, представленное для нас в основном именами Пифагора, Эсхила и Пиндара, по всей вероятности, полностью завоевало бы образованные слои населения и придало бы определенность полузабытым высказываниям народной традиции, если бы его преждевременно не остановило развитие физических спекуляций. В первой главе мы показали, что греческая философия на ранних стадиях своего развития была полностью материалистической. Она, правда, отличалась от современного материализма тем, что считала душу, или очаг сознательной жизни, сущностью, отличной от тела; но это было различие между более грубой и более тонкой материей, или между более простым и более сложным устройством той же материи, а не между протяженной и неделимой субстанцией. Поэтому, какие бы теории ни выдвигались в отношении одного, они неизбежно должны были возникнуть и в отношении другого. Итак, за исключением элеатов, которые полностью отрицали реальность изменения и разделения, все школы сходились в том, что все конкретные тела образуются либо путем дифференциации, либо путем разложения и повторного разложения из одних и тех же первоэлементов. Отсюда, как естественное следствие, вытекало, что, хотя вся масса материи вечна, каждый отдельный ее агрегат должен погибнуть, чтобы освободить элементы, необходимые для образования новых агрегатов. Очевидно, что, если предположить, что душа материальна, ее бессмертие было непримиримо с такой доктриной. Сочетание четырех элементов и двух конфликтующих сил, каким Эмпедокл считал человеческий разум, не могло пережить организм, в котором оно было заключено; и если сам Эмпедокл, в силу непоследовательности, нередкой для гениальных людей, отказался сделать единственный законный вывод из своих собственных принципов, то это несоответствие не могло не отразиться на его преемниках. Еще более фатальной для веры в сохранение личности после смерти была теория, выдвинутая Диогеном Аполлонийским, согласно которой личности на самом деле не существует даже при жизни, а сознание поддерживается лишь вечным вдыханием жизненного воздуха, в котором пребывает весь разум. Душа в буквальном смысле покидает тело с последним вздохом, и у нее мало шансов удержаться после этого, особенно, как замечали мудрецы, если в это время дул сильный ветер.

Похоже, что даже в пифагорейской школе произошла реакция против учения, которое ее основатель первым популяризировал в Элладе. Пифагорейцы всегда придавали большое

значение понятиям гармонии и числовой пропорции; вскоре они стали думать о душе как о соотношении, которое различные элементы животного тела составляют друг с другом, или как о музыкальном согласии, возникающем в результате совместного действия различных его членов, которое можно сравнить со струнами лютни. Но

"Когда лютня разбита

Сладкие звуки не помнят".

Так и с распадом нашего телесного организма музыка сознания исчезнет навсегда. Пожалуй, ни одна форма психологии, которую преподавали в греческих школах, не приблизилась к современной мысли так близко, как эта. Ее исповедовали в Фивах два пифагорейца, Цебес и Симмиас, во времена Платона. Он справедливо считал их грозными противниками, поскольку они были готовы признать все, что он требовал для души в виде нематериальности и превосходства над телом, отрицая при этом возможность ее отдельного существования. Мы можем предвосхитить ход нашего изложения и упомянуть, что прямым аргументом, с помощью которого он отвечал им, была ссылка на движущую силу разума и сдерживание, осуществляемое разумом над страстными порывами; характеристики, которые аналогия с музыкальной гармонией не смогла объяснить. Но больше всего он полагался на ряд соображений, исторический генезис которых мы сейчас проследим.

Именно с помощью этого несколько медленного и кругообразного процесса, отрицания отрицания, спиритуализм был окончательно утвержден. Тени сомнения еще больше сгустились вокруг будущего, прежде чем была предпринята еще одна попытка их устранить. Ибо скептицизм гуманистов и этическая диалектика Сократа, если они и ослабляли догматический материализм физической философии, то поначалу были не более благоприятны для новой веры, которую эта философия внезапно затмила. Ведь первая отвергала любой вид сверхъестественного, а вторая не пыталась заглянуть за пределы того, что было непосредственно открыто богами или можно было обнаружить при изучении их творений. Тем не менее, новые исследования с их исключительно субъективным направлением проложили путь для возвращения к ранее начавшемуся религиозному развитию. Приведя людей к мысли о разуме как, прежде всего, принципе познания и сознательного действия, они полностью освободили его от тех материальных ассоциаций, которые ставили его в зависимость от законов внешней Природы, где всякому конечному существованию рано или поздно суждено было быть поглощенным и исчезнуть. Положение полностью изменилось, когда Природа была, как бы, поставлена перед барьером Разума, чтобы этот верховный трибунал определил ее конституцию или опроверг само ее существование. Если субъективный идеализм Протагора и Горгия приводил к спиритуализму, то телеологическая религия Сократа тоже. Невозможно было утвердить приоритет и превосходство разума над материей сильнее, чем с помощью учения о том, что проектирующий разум создал всю видимую вселенную исключительно для удовольствия человека. Бесконечное вне было в свою очередь поглощено бесконечным внутри. Наконец, логический метод Сократа содержал в себе зародыши еще более тонкого спиритуализма, который Платон теперь стал разрабатывать.

Диалектическая теория, рассматриваемая в ее связи с физикой, имела тенденцию заменить изучение однородности изучением механической причинности. Но общие понятия, установленные наукой, были своего рода душой природы; они были нематериальны, их нельзя было воспринимать чувствами, и все же, оставаясь неизменными в мире перемен, они были гораздо истиннее, гораздо реальнее, чем явления, которым они придавали

единство и определение. Теперь эти самосуществующие идеи, будучи субъективными по своему происхождению, легко реагировали на разум и передавали ему те атрибуты неподвижности и вечной длительности, которые на самом деле были заимствованы ими у природы, а не природой у них. Платон утверждал, что душа владеет идеями, слишком чистыми, чтобы быть полученными из внушений чувства, и поэтому их можно отнести к воспоминаниям о внутриутробном опыте. Но мы видим, что реминисценция была на стороне идей; именно они выдавали свое человеческое происхождение родовым знаком абстракции и конечности, указывая на ограниченность способностей человека и интерес его желаний, которые все еще цеплялись за них, когда из временного закона мысли они были возведены в вечный закон вещей. Как сказал бы Комт, Платон выводил из своих концепций то, что сначала сам в них вложил. И если это соображение относится ко всем его рассуждениям на тему бессмертия, то особенно оно применимо к тому, что он считает самой убедительной демонстрацией из всех. Есть одна идея, говорит он нам, с которой душа неразрывно и сущностно связана - а именно идея жизни. Без нее душа не может быть понята так же, как снег без холода или огонь без тепла; и смерть не может приблизиться к ней, не вступая в логическое противоречие. Предположить, что душа отделима от тела, а жизнь неотделима от души, было, конечно, быстрым методом доказательства. Для современного человека это было бы еще одним недостатком, поскольку доказывало бы слишком многое. Ведь по паритету рассуждений каждое живое существо должно иметь бессмертную душу, и каждая душа должна существовать от вечности. Платон откровенно принял оба вывода и даже включил их в свою этическую систему. Он рассматривал низших животных как несколько ступеней прогрессирующей деградации, до которой человек опустился по собственной жестокости или чувственности, но из которой он может вернуться после определенного периода покаяния и испытания. В другое время он описывает ад, чистилище и рай, не похожие на те, о которых мы читаем в Данте, не осознавая, по-видимому, никакого несоответствия между этими двумя представлениями. Это была, действительно, непоследовательность, которую мы находим у интеллектуалов высшего порядка, непоследовательность того, кто является посредником между двумя мирами, между натуралистическим метемпсихозом, с одной стороны, и этическим индивидуализмом - с другой.

Платон учил не просто о бессмертии, а о вечности души. Для него ожидание жизни за гробом отождествлялось с памятью о внутриутробном существовании, и эти два понятия должны были стоять или падать вместе. Когда потерпевшая кораблекрушение мать Шелли восклицает своему ребенку: - "Увы!

"Увы! Что есть жизнь, что есть смерть, что есть мы,

Чтоб, когда тонет корабль, нас больше не было!

Что! Не видеть тебя больше, не чувствовать тебя больше,

Быть после жизни тем, кем мы были до нее!

Ее отчаяние - лишь перевернутый образ платоновской надежды на возвращение к более чистому состоянию бытия, где знание больше не будет омрачаться прохождением через раздражающую среду зрения и осязания. И снова современные апологеты несправедливости и страданий нынешней [системы](#)¹⁴⁴ утверждают, что ее неравенство будет устранено в будущем. Платон, напротив, рассматривал страдания хороших людей как возмездие за прежние грехи или как результат забытого выбора. Авторитет Пиндара и

античной традиции в целом, возможно, повлиял на его убеждения, но они имели более глубокую основу в логике спиритуалистической философии. Дуализм души и тела - лишь одна из форм его фундаментальной антитезы между неизменной сущностью и преходящими проявлениями бытия. Пантеизм, подобный пантеизму Спинозы, был естественным результатом такой системы; но его практический гений или пылкое воображение не позволили Платону зайти так далеко. В интересах прогресса не стоило сожалеть о таком результате; теология должна была пройти еще через одну фазу, прежде чем наступит срок ее благотворной деятельности. Этические понятия приобрели новое значение в свете мифологии и метафизики; те, кто считал своим ремеслом извращать справедливость в ее истоках, могли по-прежнему трепетать перед ужасами сверхъестественного трибунала; Или, если Платон не мог возродить жизнь своего народа, он мог предсказать то, что должно было стать общей верой Европы еще через тысячу лет; и память, если не надежда, богаче на эти великолепные видения, где он проецировал вечный конфликт между добром и злом в тишину и темноту, которыми наша жизнь закрыта со всех сторон.

V.

Платон начал с осуждения поэзии лишь в той мере, в какой она несовместима с истинной религией и моралью. Наконец, со свойственной ему склонностью к обобщениям, он осудил ее и, как следствие, всякое подражательное искусство *как* искусство, как заблуждение и притворство, дважды удаленное от истины вещей, потому что это копия явлений, которые сами по себе являются нереальными представлениями архетипической идеи. Его иконоборчество может напомнить нам о других этических теологах, как до, так и после него, будь то иудейские, мусульманские или пуританские. Если он не разделяет их фанатичной ненависти к пластическим и живописным изображениям, то только потому, что произведения этого класса, помимо того, что имели более мелодичный характер, пользовались гораздо меньшей властью над греческим воображением, чем эпическая и драматическая поэзия. Более того, сказки поэтов были, по словам Платона, худшей ложью из всех, поскольку в них верили, что они правдивы; в то время как статуи и картины слишком явно отличались от своих оригиналов, чтобы в их случае могла возникнуть подобная иллюзия. Как и пуритане, Платон одобрял использование религиозных гимнов с музыкальным сопровождением в самых простых и самых возвышенных формах. Как и они, он также одобрил бы литературный вымысел, если бы он использовался в назидательных целях. Такие произведения, как "Королева фей", "Потерянный рай" и "Прогресс пилигрима", были бы его любимыми в английской литературе; и он мог бы распространить ту же снисходительность на вымыслы эджвортского типа, где добродетельные персонажи всегда в конце концов оказываются в лучшем положении.

Реформированная система образования должна была быть не только моральной и религиозной, но и строго научной. Место, отведенное математике как основе правильной интеллектуальной подготовки, весьма примечательно и показывает, насколько верно Платон понимал условия, в которых приобретаются и расширяются знания. Здесь, как и в других отношениях, он в большей степени, чем Аристотель, является предшественником Огюста Конта. Он располагает математические науки, насколько они тогда существовали, в их логическом порядке; а его замечания о наиболее общих идеях, предлагаемых астрономией, читаются как гадание по рациональной механике. То, что рекомендация таких занятий должна быть вложена в уста Сократа, - поразительное несоответствие. Чем старше становился Платон, тем дальше он, кажется, продвигался от гуманистической к натуралистической точке зрения; и, если бы он был готов признать в этом, Гиппиас и

Продик были теми учителями, с которыми он в конце концов оказался наиболее сочувствующим.

Маколей говорил так, будто платоновская философия была совершенно не связана с материальными нуждами людей. Это, однако, ошибка. Действительно, в "Республике" наука не рассматривается как инструмент для нагромождения новых предметов роскоши или для лечения болезней, которые порождает роскошь; но только потому, что ее целью считается открытие тех условий, при которых лучше всего вырастить здоровую, счастливую и добродетельную расу. Искусство истинного государственного деятеля состоит в том, чтобы с совершенным мастерством плести паутину жизни, сводить вместе те пары, от союза которых появится самое благородное потомство; и овладеть этим искусством можно, лишь изучив законы физической вселенной. Платон не знал никаких естественных законов, кроме законов математики и астрономии; поэтому он слишком много внимания уделял времени и сезонам, в которые должны были встречаться жених и невеста, и числовым соотношениям, по которым они должны были определяться. Он даже рассказывает о таинственной формуле для определения брачного числа, над которой немало потрудились изобретательные комментаторы. Истинные законы, по которым должен регулироваться брак среди цивилизованных людей, остаются окутанными еще более непроницаемым мраком. Каким бы ни было наилучшее решение, оно не может не отличаться во многих отношениях от наших нынешних обычаев. Не может быть правильным, чтобы самый важный акт в жизни человека определялся социальными амбициями, скупостью, тщеславием, злобой, случайностью - словом, самыми презренными побуждениями, на которые способна человеческая природа; Не следует также ожидать, что половой отбор всегда будет требовать использования неискренности, низкопоклонства и подкупа со стороны одной из заинтересованных сторон, в то время как в другой будут развиваться легковерие, эгоизм, ревность, капризность и мелкая тирания - те самые качества, которые мудрое воспитание должно было бы искоренить.¹⁴⁵

Кажется, трудно примирить взгляды на брак, предполагающие признание того факта, что умственные и нравственные качества передаются по наследству, с верой в метемпсихоз, которую исповедовал Платон. Но, возможно, его приверженность последней доктрине не стоит принимать всерьез. Подражая объективному миру, сущностная истина которого наполовину скрыта, а наполовину раскрыта его феноменальными проявлениями, он любит представлять свое умозрительное учение под мифической маской; и поэтому он, возможно, выбрал старую доктрину переселения как подходящее выражение для единства и непрерывности жизни. И, в худшем случае, он не будет виновен в большей непоследовательности, чем те современные философы, которые, признавая, что психические качества наследуются, считают каждую индивидуальную душу отдельным и независимым творением.

Правила воспитания и образования, изложенные в "Республике", предназначены не для всего общества, а только для правящего меньшинства. Именно развращенность высших классов больше всего огорчала Платона, и спасение государства зависело, по его мнению, от их перевоспитания. Это подводит нас к его схеме переустройства общества. Она тесно связана с его методом логического определения и классификации. Он с большой силой показывает, что коллективная деятельность людей обусловлена разделением труда, и доказывает, что в интересах всего общества каждый человек должен заниматься только одним делом. Поэтому промышленные классы, составляющие основную массу населения, должны быть отстранены как от военной службы, так и от политической власти. Пелопоннесская война привела к тому, что в греческих военных действиях

профессиональные солдаты были заменены старыми сборами необученных граждан. Платон был глубоко впечатлен опасностями, а также преимуществами этой революции. То, что каждой профессией должны заниматься только обученные ей люди, в равной степени соответствовало его представлениям как логика, учителя и практического реформатора. Но он видел, что наемные воины могут использовать свою власть для угнетения и грабежа незащищенных граждан или для установления военной деспотии. И, считая, что правительство, как и стратегия, должно осуществляться только функционерами, естественно приспособленными и специально обученными для этой работы, он также видел, что у привилегированного класса возникнет соблазн злоупотребить своим положением, чтобы набить карманы и удовлетворить свои страсти. Он предлагал защититься от этих опасностей, во-первых, с помощью уже описанной новой системы образования, а во-вторых, доведя разделение труда до логического конца. Чтобы они могли лучше выполнять свои обязанности, защитники и правители государства не должны были заниматься искусством зарабатывания денег; иными словами, они не должны были обладать никакой собственной собственностью, а содержаться за счет труда промышленных классов. Кроме того, чтобы они не ссорились между собой, он предложил устранить из их жизни все частные интересы и объединить их как класс самыми тесными узами семейной привязанности. Эта цель должна была быть достигнута путем отмены брака и домашнего хозяйства. Пары, выбранные для размножения, должны были разлучаться, когда цель их союза была достигнута; дети должны были отбираться у матерей сразу после рождения и воспитываться за счет государства и под его надзором. Больные и уродливые младенцы подлежали уничтожению. Те, кто не достигал до аристократического стандарта, подлежали деградации, а их места должны были занять исключительно одаренные отпрыски родителей из низших сословий. Представители военной и правящей касты должны были обращаться друг к другу в соответствии с родством, которое могло существовать между ними. В отсутствие домашней работы женщины должны были, насколько это возможно, ассимилироваться с мужчинами, проходить такое же телесное и умственное воспитание, поступать на службу в армию и, если они проявят необходимые способности, выполнять высшие политические функции. В этой практической диалектике проявляется не только идентифицирующая, но и дифференцирующая сила логики, причем проявляется вопреки общепринятым представлениям, как в современных классификациях зоологии и ботаники. Платон вводит различия там, где их раньше не было, и отменяет те, которые уже были признаны. Полы должны были быть ассимилированы, политическая жизнь должна была отождествляться с семейной, а вся община должна была представлять собой точную параллель с индивидуальной душой. Правящий комитет соответствовал разуму, армия - страстному духу, а промышленные классы - животным желаниям; и каждый из них, в своей совершенной конституции, представлял одну из кардинальных добродетелей в новом понимании Платона. Мудрость принадлежала правящей части, мужество - промежуточной исполнительной власти, а воздержанность или послушание - органам материального существования; справедливость же означала общую гармонию, возникающую в результате выполнения всеми своих соответствующих функций. Можно добавить, что все государство воспроизводило греческую семью в гораздо более глубоком смысле, чем это осознавал сам Платон. Ведь его аристократия представляет мужчину, чьей добродетелью, по словам Горгия, было "управлять государством"; а его промышленный класс занимает место женщины, чьей обязанностью было "приводить в порядок свой дом, хранить то, что находится в помещении, и повиноваться своему мужу" ¹⁴⁶.

Такова была знаменитая схема, по которой Платон предлагал возродить человечество. Мы уже имели случай показать, как она была связана с его этической и диалектической философией. Теперь нам предстоит рассмотреть, в каком отношении она находится к

политическому опыту его и других времен, а также к революционным предложениям других спекулятивных реформаторов.

VI.

По мнению Гегеля¹⁴⁷, платоновская полития, отнюдь не будучи неосуществимой мечтой, уже нашла свое воплощение в греческой жизни и лишь придала более чистое выражение основополагающему принципу каждого античного сообщества. В нравственном развитии человечества, говорит он, есть три стадии. Первая - чисто объективная. Она представляет собой режим, в котором правила поведения полностью навязаны извне; они как бы воплощены в рамки общества; они опираются не на разум и совесть, а на авторитет и традицию; они не терпят сомнений, поскольку, будучи недоказанными, сомнения были бы смертельны для самого их существования. Здесь индивид полностью принесен в жертву государству; но на второй, субъективной стадии он вырывается на свободу, отстаивая право своего частного суждения и воли против установленного порядка вещей. Эта революция, по мнению Гегеля, была начата софистами и Сократом. Она оказалась совершенно несовместимой с духом греческой цивилизации, которую она в итоге разбила вдребезги. Субъективный принцип нашел подходящее выражение в христианстве, которое приписывает бесконечную важность индивидуальной душе; он также появляется в политической философии Руссо. Мы можем заметить, что он очень близко соответствует тому, что Огюст Конт подразумевал под метафизическим периодом. Современное государство примиряет оба принципа, позволяя индивидууму полностью развиваться и в то же время объединяя его с большим целым, в котором он впервые находит полное воплощение своего собственного разума. Итак, Гегель рассматривает платоновскую республику как реакцию против субъективного индивидуализма, права на частное суждение, импульса самопожертвования, или как его еще можно назвать, который быстро разъедал сердце греческой цивилизации. Чтобы противостоять этой роковой тенденции, Платон возвращается к основополагающему принципу греческого общества - всемогуществу, или, говоря языком бентамитов, всевластию, государства; выставляя его в идеальном совершенстве как подавление индивидуальной свободы в любой форме, особенно в фундаментальных формах собственности, брака и домашней жизни.

Нам кажется, что Гегель, стремясь втиснуть каждый исторический процесс в узкую симметрию любимой метафизической формулы, спутал несколько совершенно разных концепций под общим названием "субъективность". Во-первых, это право частного суждения, притязание каждого человека на право голоса в делах государства и на свободное распоряжение своими личными заботами. Но это, отнюдь не современное, одно из древнейших обычаев арийской расы; и, возможно, если мы обратимся к древнейшей истории других рас, ныне управляемых деспотией, то обнаружим, что оно преобладает и среди них. Руссо отстаивал для народов своего времени не новые, неслыханные привилегии, а их древнее право, отнятое у них ростом централизованной военной системы, как ранее оно было отнято у городских общин греко-римского мира. В этом отношении Платон идет против всего духа своей страны, и ни один период ее развития, даже эпоха Гомера, не удовлетворил бы его.

Далее мы имеем дело со склонностью отдельных лиц не вмешиваться в создание закона, а отменять его или превращать в инструмент для своих собственных целей. Несомненно, такая тенденция существовала и во времена Платона, и его полис в значительной степени был призван сдерживать ее. Но беспринципные амбиции не были чем-то новым в Греции, как бы ни менялись способы их проявления. То, что раньше доставалось вооруженным насилием, теперь добывались более тонким оружием риторики; точно так же, как в настоящее время,

среди тех же греков, это приз парламентских интриг. Критские и спартанские институты, возможно, были разработаны с целью сдержать этот дух эгоистического беззакония, сведя частные интересы к минимуму; и Платон, несомненно, имел их в виду, когда продвигал этот метод еще дальше; но эти институты не были типами эллинизма в целом, они представляли лишь одну, и то весьма ненормальную, его сторону. Платон заимствовал некоторые элементы из этого квартала, но, как мы сейчас покажем, он соединил их с другими, совершенно иного характера. Спарта, если исходить из любой высокой теории управления, была вовсе не государством, а разбойничьим кланом, обосновавшимся среди ограбленного населения, которое они никогда не пытались примирить и не заботились о том, чтобы примирить. Насколько мало значения ее правители придавали интересам государства как такового, было хорошо видно во время Пелопоннесской войны, когда политические преимущества огромной важности были уступлены в угоду знатным семьям, чьи родственники были захвачены в плен при Сфактерии, и единственной целью которых было спасти их от участи, которой им угрожали афиняне в качестве средства для вымогательства уступок;-поведение, с которым можно поучительно сравнить отказ Рима выкупить солдат, сдавшихся в плен при Каннах.

В-третьих, нам предстоит рассмотреть одну из форм индивидуализма, прямо противоположную по своему характеру тем, которые уже были указаны. Это полный отказ от участия в общественных делах ради того, чтобы заниматься исключительно своими личными обязанностями или удовольствиями. Такой индивидуализм - характерная слабость консерваторов, которые по своей природе являются партией робости и сдержанности. Именно им было адресовано увещание Катона: *capessenda est respublica*. Две другие формы, о которых мы говорили, - это, напротив, болезни либерализма. Мы видим их пример, когда лидеры партии подвергаются вечной критике со стороны своих сторонников; или, опять же, когда выборы проигрываются из-за того, что голоса либеральных избирателей разделены между несколькими кандидатами. Но когда партия - как правило, консервативная - проигрывает выборы, потому что ее избиратели не идут на выборы, это происходит из-за ленивого индивидуализма, который полностью избегает политических состязаний. Именно от этой болезни действительно погибла общественная жизнь Афин; и пока Гегель на верном пути; но хотя в античности ее действие было более очевидным и сразу смертельным, мы отнюдь не застрахованы от повторения того же опыта в современном обществе. Нельзя также сказать, что Платон реагировал против зла, которое, по его мнению, было злом только тогда, когда оно лишало политического верховенства очень немногих должным образом квалифицированных лиц. В отношении всех остальных он предлагал санкционировать и систематизировать то, что уже становилось общепринятым обычаем, а именно - полный отказ от управления делами в мире и войне. Гегель, кажется, забыл, что в республике Платона только один класс, и тот самый маленький, не имеет никаких частных интересов; в то время как промышленные классы, неизбежно составляющие значительное большинство всего населения, не только сохраняют свою собственность и свои семьи, но и полностью отброшены для умственного занятия интересами, вытекающими из них. Такое положение вещей нашло бы свою лучшую параллель не в древнегреческой городской жизни, а в современной Европе, как это было в период между Реформацией и Французской революцией.

Уже перечисленные три формы индивидуализма не исчерпывают общую концепцию субъективности. По Гегелю, если мы правильно его понимаем, наиболее важным аспектом рассматриваемого принципа является философская сторона, возвращение мысли на саму

себя, уже скрытое в физическом умозрении, провозглашенное софистами как всеразрушающий скептицизм и развитое в теорию жизни Сократом. То, что такое движение существовало, конечно, несомненно; но то, что оно заметно способствовало упадку старой греческой морали или что оно по сути своей было противоположно старому греческому духу, мы думаем, не может быть достоверно утверждено. То, что уже было сказано о политической свободе и политической беспринципности, можно повторить и в отношении интеллектуальной любознательности, рационализма, скептицизма, или как бы ни называлась данная тенденция - она всегда была и остается характерной для греческой расы. Вполне возможно, что она была источником политической дезинтеграции во все времена, но то, что она стала таковой в большей степени после того, как приняла форму систематической спекуляции, никогда не было доказано. Если изучение наук или страсть к интеллектуальной гимнастике отвлекали людей от обязанностей государственной жизни, то это было просто еще одним частным интересом из многих, таким же, как пиршества, любовные утехы, путешествия, поэзия или любое другое занятие, от которого богатый грек приходил в восторг; а не из-за какой-то внутренней несовместимости с обязанностями государственного деятеля или воина. Это было так далеко от истины, что такие граждане, как Зенон, Мелисс, Эмпедокл и, прежде всего, Перикл и Эпаминондас, занимались либеральными науками, даже самыми заумными, с пользой для своей патриотической энергии. Если Сократ и отстранялся от государственных дел, то лишь для того, чтобы иметь больше досуга для обучения других их выполнению; сам же он, когда его призвали служить государству, оказался полностью готов к чрезвычайным обстоятельствам. Что касается софистов, то хорошо известно, что их профессия заключалась в том, чтобы давать молодым людям такое образование, которое позволило бы им с честью и пользой занимать высшие политические должности. Правда, такая специальная подготовка привела бы к увеличению трудностей на пути карьеры, которую она изначально должна была облегчить, повысив стандарт технического мастерства в государственном управлении; и многие возможные претенденты, как следствие, были бы вынуждены вернуться к менее трудным занятиям. Но Платон был так далек от того, чтобы возражать против такой специализации, что хотел пойти гораздо дальше и сделать государственное управление исключительным делом небольшого класса, который должен был пройти физиологический отбор и получить образование, гораздо более сложное, чем то, которое могли дать софисты. Если, однако, рассматривать Платона не как конструктора новой конституции, а в связи с политикой его собственного времени, то следует признать, что все его влияние было использовано для того, чтобы представить государственные дела в ненавистном и презрительном свете. Поэтому в той мере, в какой он представлял философию, она должна считаться разрушительной силой. Но в той же степени мы не можем приравнять его идею государства к старой эллинской модели. Скорее, мы должны сказать, как сказал бы он сам, что она никогда и нигде не была реализована; хотя, как мы увидим далее, определенное приближение к ней было сделано в Средние века.

И снова, рассматривая все течение греческой философии, особенно философии разума, вправе ли мы сказать, что она поощряла, если не создавала, те другие формы индивидуализма, которые уже были определены как мятежный критицизм со стороны народа и эгоистические амбиции со стороны его вождей? Некоторые историки утверждают, что такая связь существовала, действуя если не напрямую, то, по крайней мере, через цепь промежуточных причин. Свободная мысль разрушила религию, вместе с религией пала мораль, а вместе с моралью исчезли все ограничения, которые до сих пор сдерживали анархические тенденции любого рода. Это интересные рассуждения, но они нас здесь не касаются, поскольку Гегель ставит совершенно иную проблему. Для него не имеет значения, что Сократ был стойким защитником сверхъестественного и принятой морали. Сущностный антитезис находится между сократовской интроспекцией и сократовской диалектикой, с

одной стороны, и непререкаемым авторитетом античных институтов - с другой. Если Гегель имеет в виду именно это, то мы должны еще раз выразить свое несогласие. Мы не можем признать, что философия субъективности, истолкованная таким образом, была разлагающим ферментом; и что дух республики Платона в любом случае был протестом против нее. Дельфийская заповедь "Познай самого себя" в устах Сократа означала: Пусть каждый человек выяснит, к какой работе он лучше всего приспособлен, и придерживается ее, не вмешиваясь в дела, к которым он не приспособлен. Сократовская диалектика означала: Пусть вся область знаний будет изучена подобным образом; пусть наши идеи по всем предметам будут настолько систематизированы, что мы сможем в мгновение ока обнаружить влияние любой из них на любую другую или на любой новый вопрос, вынесенный на решение. Конечно, ничто не может быть менее индивидуалистичным, в плохом смысле слова, менее антисоциальным, менее анархичным, чем это. Платон также не выступает против, он обобщает принципы своего учителя, разрабатывает психологию и диалектику целого государства; и если членам его правящего класса не позволено иметь какие-либо отдельные интересы в их индивидуальном качестве, то каждая отдельная душа возвышается до высшего достоинства благодаря тому, что сообщество реорганизуется по образцу его собственной внутренней экономики. В этой великой драме мысли нет бурных перипетий, но везде гармония, непрерывность и постепенное развитие.

Мы подробно остановились на гегелевской теории Республики, потому что она, похоже, воплощает в себе ошибочное представление не только о греческой политике, но и о самой важной попытке социального реформирования, когда-либо предпринятой одним человеком в истории философии. Мысль была бы гораздо менее достойна изучения, если бы она лишь воспроизводила абстрактную форму очень ограниченного опыта, а не анализировала и перекомбинировала элементы, из которых этот опыт состоит. И наша вера в силу сознательных усилий, направленных на совершенствование, будет во многом зависеть от того, какую сторону альтернативы мы примем.

Целлер, хотя и придерживается гораздо более широкого взгляда, чем Гегель, все же допускает, что реформы Платона, насколько они были подсказаны опытом, были просто адаптацией дорийской практики.¹⁴⁸ Ему, безусловно, удастся показать, что частная собственность, брак, образование, индивидуальная свобода и личная мораль были подвергнуты, по крайней мере в Спарте, многим ограничениям, напоминающим те, что были наложены в платоновском государстве. И сам Платон, рассматривая спартанскую систему как первую форму вырождения от своего идеала, похоже, указывает на то, что из всех существующих полисов этот наиболее близок к нему. Заявления [Тимея](#)¹⁴⁹, однако, гораздо более отчетливы; согласно им, именно в кастовом делении Египта он нашел ближайшую параллель своей собственной схеме социальной реорганизации. Там тоже на первом месте стояли жрецы, или мудрецы, а после них - воины, в то время как различные отрасли промышленности были отделены друг от друга жесткими разграничениями. Возможно, его также поразило свободное допущение женщин к работе, которую раньше выполняли исключительно мужчины, что так удивило Геродота, поскольку он не мог понять истинную причину этого - более развитую дифференциацию египетского общества по сравнению с [греческим](#)¹⁵⁰.

VII.

Но прежде чем мы сможем добраться до подлинных корней платоновской схемы, необходим более глубокий анализ опыта. Следует помнить, что наш философ был революционером самого глубокого толка, что он выступал не против той или иной конституции своего времени, а против всех существующих конституций. Итак, каждое великое революционное движение,

если в некоторых отношениях оно является прогрессом и эволюцией, в других отношениях - регрессом и распадом. Когда распадаются самые сложные формы политической ассоциации, более старые или подчиненные формы внезапно обретают новую жизнь и смысл. То, что верно для практики, верно и для спекуляций. Оторвавшись от самой передовой цивилизации, Платон был вынужден вернуться к спонтанной организации промышленности, армии, школе, семье, дикарскому племени и даже стаду скота в поисках типов социального союза. Именно взяв некоторые подсказки от каждой из этих мелких совокупностей, он сумел построить свой идеальный полис, который, несмотря на свою мнимую простоту и последовательность, является одним из самых разнородных из когда-либо созданных. Принципы, на которых он основывается, на самом деле не доведены до логического завершения; они мешают и дополняют друг друга. Ограничение политической власти одним классом недвусмысленно основано на необходимости разделения труда. Один человек, говорят нам, может хорошо делать только одно дело. Но Платон должен был видеть, что производитель не должен по этой причине становиться монополистом; и что, заимствуя его собственный любимый пример, обувь производится правильно, потому что сапожник поддерживается в порядке конкуренцией своих соперников и свободой потребителя покупать там, где ему заблагорассудится. Афинская демократия, отнюдь не противоречащая урокам политэкономии, была, по сути, их логическим применением к управлению государством. Народ на самом деле не управлял сам собой, как и в любой современной демократии, но он выслушивал различные предложения, подобно тому как он мог выбирать между различными товарами в магазине или различными тендерами на строительство дома, принимал наиболее подходящее и затем оставлял его на исполнение своим доверенным лицам.

И снова Платон не соответствует своему собственному правилу, когда выбирает своих философских правителей из касты военных. Если один и тот же человек может быть воином в юности и администратором в зрелые годы, то один и тот же человек может делать две вещи хорошо, хотя и не в одно и то же время. Если один и тот же человек может родиться с квалификацией и воина, и политика, и может быть приспособлен образованием к каждому призванию последовательно, то, конечно, гораздо большее число людей может совмещать функции подсобного рабочего и избирателя. Что помешало Платону увидеть эту очевидную параллель, так это традиция *paterfamilias*, который всегда был воином в молодости, и похвальное стремление держать армию в тесной связи с гражданской властью. Аналогии с домашней жизнью также имеют большое отношение к предложенному им сообществу женщин и детей. Вместо того чтобы недооценивать семейные привязанности, он безмерно переоценил их; об этом свидетельствует его предположение, что узы кровного родства предотвратят возникновение разногласий среди его воинов. Ему следовало бы знать, что многие дома являются ареной постоянных разборок, а ссоры между родственниками - самые горькие из всех. Затем, рассматривая государство как великую школу, Платон вообразил, что послушание, покорность и доверчивость молодых ученых можно поддерживать всю жизнь; что взрослые граждане проглотят абсурдные изобретения; что офицеров среднего возраста можно отправить в отставку на несколько лет для изучения диалектики. Полагать, что государственные деятели обязательно должны формироваться с помощью рассматриваемой дисциплины, - еще одна схоластическая черта. Профессиональный учитель приписывает своим заумным урокам гораздо больше практической значимости, чем они имеют на самом деле. Он не довольствуется ожиданием косвенного влияния, которое они могут оказать в какой-то отдаленный период и в сочетании с силами, возможно, совершенно иного характера. Он ищет немедленных и очевидных результатов. Он воображает, что высшая истина должна обладать таинственной силой преобразовывать все вещи по своему подобию или, по крайней мере, делать своих учеников более способными,

чем другие люди, выполнять работу в мире. И здесь Платон, вместо того чтобы быть слишком логичным, был недостаточно логичен. Следуя законам экономики применительно к умственному труду, он мог бы прийти к разделению духовной и мирской власти и тем самым предвосхитить наиболее прочную социальную доктрину нашего времени.

Что касается размножения рода, то методы Платона явно заимствованы у тех, кто применяют любители птиц, дрессировщики лошадей и животноводы. В Греции издавна было принято сравнивать народ со стадом овец, а его правителя - с пастухом; эти выражения до сих пор сохранились в церковном обиходе. Сократ постоянно прибегал к этой аналогии в своих политических дискуссиях, а риторы использовали ее в качестве оправдания правителей, обогащавшихся за счет тех, кто находился в их подчинении. Платон вырвал аргумент из их рук и показал, что пастух, как таковой, не заботится ни о чем, кроме блага своих овец. Он не понял, что параллель не может быть проведена во всех деталях и что, не считаясь с более высокими соображениями, система, обеспечивающая здоровое потомство в одном случае, не может быть перенесена на существ, обладающих гораздо более сложной и тонкой организацией. Уничтожение больных и деформированных детей может быть оправдано только при гипотезе, что никакие другие качества, кроме физических, не представляют ценности для общества. Наш философ забывает о своем собственном различии между душой и телом именно тогда, когда ему больше всего нужно было его вспомнить.

Положение, отведенное Платоном женщинам, возможно, показалось его современникам самым парадоксальным из всех его проектов, и было замечено, что здесь он опережает даже наш век. Но истинный вывод может быть сделан из ложных предпосылок, а вывод Платона даже не совпадает с тем, к которому на других основаниях приходят современные защитники прав женщин, точнее, их справедливых требований. Автор "Республики" ненавидел демократию, а сейчас от женщин требуют предоставления им прав как части общей демократической программы. Это аксиома, по крайней мере, для либералов, что ни один класс не будет должным образом учитывать свои интересы, если он не имеет права голоса при выборах парламентских представителей; а интересы полов не более очевидно идентичны, чем интересы производителей и потребителей, или капиталистов и рабочих. Другой демократический принцип заключается в том, что человек, как правило, сам решает, к какому занятию он подходит; и, как следствие этого, требуется, чтобы женщины были допущены к любой работе на равных условиях с мужчинами, оставляя конкуренцию решать в каждом случае, подходят они для этого или нет. Исключение женщин из военной профессии будет скорее кажущимся, чем реальным исключением, потому что, как и большинство представителей мужского пола, они физически не годятся для этого. Итак, профессия военного - это та самая профессия, для которой Платон предлагает предназначить дочерей своей аристократической касты, не имея ни малейшего намерения советоваться с их желаниями по этому поводу. Он прекрасно понимает, что его собственный принцип дифференциации будет приведен против него, но он очень ловко обходит эту трудность. Он утверждает, что различие между полами в том, что касается силы и интеллекта, - это различие не рода, а степени; ведь женщины не отличаются от мужчин наличием каких-либо особых способностей, ни одна из них не может сделать ничего такого, что некоторые мужчины не могут сделать лучше. Если допустить истинность этого довольно нелестного предположения, то вывод, сделанный на его основе, все равно останется экономически несостоятельным. Разделение труда требует, чтобы каждая задача выполнялась не теми, кто абсолютно, а теми, кто относительно лучше всего подходит для ее выполнения. Во многих случаях мы должны довольствоваться работой, не соответствующей наивысшему достижимому стандарту, чтобы время и способности лучших работников могли быть посвящены исключительно тем функциям, в которых компетентны только они. Даже если бы

женщин можно было обучить сражаться, из этого не следует, что их энергия не могла бы быть более выгодно потрачена в другом направлении. Здесь Платон опять же неправомерно рассуждает от низших форм объединения к высшим. Он ссылается на сомнительный пример кочевых племен, чьи женщины участвовали в обороне лагерей, и на боевую мощь, которой обладают самки хищных животных. По правде говоря, ликвидация домашней жизни оставляла женщин без какого-либо занятия, свойственного им самим; и поэтому, чтобы не оставлять их совсем без дела, их призывали в армию, скорее в надежде навязать врагу увеличение его видимой силы, чем ради реальной службы, которую они должны были нести¹⁵¹. Когда Платон предлагает допускать на высшие политические посты женщин с доказанными способностями, он гораздо больше сочувствует современным реформаторам; и его свобода от предрассудков тем более примечательна, если учесть, что ни одна греческая женщина (кроме, пожалуй, Артемисии), как известно, никогда не проявляла таланта к управлению, хотя женское вмешательство в политику было достаточно распространено в Спарте; и что лично его отношение к женщинам было несимпатичным, если не презрительным.¹⁵² Тем не менее мы не должны преувеличивать значение его уступки. Платоновский полис был, в конце концов, семьей, а не настоящим государством; и то, что женщинам должна быть разрешена доля в регулировании брака и воспитании детей, было лишь возвращением им одной рукой того, что было отнято другой. Уже сейчас женщины имеют право голоса в вопросах образования; и если бы брак был поставлен под контроль государства, мало кто усомнился бы в целесообразности предоставления им права голоса в новых советах, которым будет поручено осуществлять надзор за ним.

Вышеизложенный анализ позволит нам оценить истинное значение схождения, отмеченного Целлером¹⁵³ между платоновской республикой и организацией средневекового общества. Важность, придаваемая религиозному и моральному воспитанию; преобладание священства; резкое различие между военной кастой и промышленным населением; исключение последних из политической власти; частичная отмена брака и собственности; и, можно добавить, высокое положение, которым пользовались женщины в качестве регентов, шателенов, настоятельниц, а иногда даже в качестве воинов или профессоров, - все это нововведения скорее в духе Платона, чем в духе Перикла. Три сходящихся влияния объединились, чтобы привести к этой необычной проверке философской сделки. Глубокая духовная революция, совершенная греческой мыслью, была подхвачена и продолжена католицизмом, который бессознательно привел к тем же практическим выводам учение, которое он в значительной степени первоначально вдохновил. Одновременно происходила социальная дифференциация, которая привела к политическим последствиям, логически выведенным из нее Платоном. А завоевание Рима варварами принесло с собой некоторые из тех более примитивных привычек, на которые его отбросил разрыв с цивилизацией. Таким образом, совпадение между "Республикой" Платона и средневековой политикой объясняется, с одной стороны, причинно-следственной связью, с другой - умозрительной проницательностью, а с третьей - параллелизмом эффектов, независимых друг от друга, но возникающих из аналогичных условий.

Если теперь сравнить Республику с более современными схемами, целью которых также является отождествление общественных и частных интересов, то на первый взгляд ничто не напоминает ее так близко, как теории современного коммунизма, особенно те, которые выступают за отмену не только частной собственности, но и брака. Сходство, однако, лишь поверхностное, за ним скрывается радикальное расхождение, ведь, во-первых, платоновское полисное устройство вовсе не является системой коммунизма в нашем понимании этого слова. Дело не в том, что члены правящей касты бросают свое имущество в общий фонд; ни как индивиды, ни как класс не обладают никакой собственностью. Их

потребности обеспечиваются промышленными классами, которые, очевидно, продолжают жить по старой системе партикуляризма. Платон имел в виду не увеличение суммы индивидуальных удовольствий путем принудительного равного разделения их материальных средств, а полное устранение индивидуализма и придание человеческим чувствам абсолютной общности, которой он так восхищался в абстрактных идеях. С другой стороны, если мы не ошибаемся, современный коммунизм не возражает против частной собственности как таковой, если бы она оставалась разделенной либо при абсолютном равенстве, либо в строгой пропорции к потребностям ее владельцев; но только как неизбежная причина неравенства, которое развивающаяся цивилизация, кажется, скорее усугубляет, чем исправляет. Так же и с браком; современные противники этого института возражают против него как против ограничения свободы индивидуальной страсти, которая, по их мнению, обеспечит максимум удовольствия, постоянно меняя свои объекты. Платон считал бы подобные рассуждения пародией и извращением своего учения; ведь на самом деле, как утверждают некоторые из них, они выступают за восстановление плоти в ее изначальном превосходстве над духом, а значит, прямо противоположны системе, которая стремится одухотворить, обобщив жизненные интересы. И поэтому, когда в "Законах" он придает своим коммунистическим принципам законченное логическое развитие, распространяя их на все население, он тщательно сохраняет их философский характер как поглощение индивида общественным существованием. [154](#)

Происхождение этих двух идей еще больше проясняет их в сущности разнородный характер. Современный коммунизм является порождением демократических тенденций, которые Платон не одобрял, и как таковой имел свой аналог в древних Афинах, если мы можем доверять "Экклезиасам" Аристофана, где он также ассоциируется с разнузданной разнузданностью. [155](#) Платон, напротив, , кажется, получил первое предложение своего коммунизма из пифагорейских и аристократических братств Южной Италии, где принцип, что у друзей все общее, был общепринятой максимой.

Если Платон стоит на самом антиподе Фурье и Сен-Симона, он связан реальными отношениями с теми мыслителями, которые, подобно Огюсту Комту и Герберту Спенсеру, основывали свои социальные системы на широком обзоре физической науки и истории человечества. Вполне вероятно, что его идеи оказали определенное, хотя и не прямое влияние на двух названных нами писателей. Ибо Комт открыто заимствовал многие из предложенных им реформ из организации средневекового католицизма, который был переводом философии в догму и дисциплину, так же как позитивизм является переводом теологии в человеческую мысль, из которой она возникла. А система мистера Спенсера, хотя и кажется прямой противоположностью платоновской, может претендовать на родство с ней благодаря принципу дифференциации и интеграции, который, перейдя из греческой мысли в политэкономия и физиологию, был восстановлен нашим прославленным соотечественником в нечто большее, чем его первоначальная общность. Следует также отметить, что применение очень абстрактных истин к политической науке должно быть очень осторожным, поскольку их эластичность возрастает прямо пропорционально их ширине. Когда один мыслитель, исходя из закона возрастающей специализации, приводит доводы в пользу широкого расширения правительственного вмешательства в личную свободу, а другой - в пользу ее ограничения в самых узких пределах, пора задуматься, не являются ли опыт и целесообразность, в конце концов, самыми надежными проводниками, которым можно доверять.

VIII.

Социальные исследования, через которые мы сопровождали Платона, похоже, отреагировали на его более абстрактные рассуждения и в значительной степени изменили ту крайнюю противоположность, в которой они раньше находились по отношению к текущим представлениям, будь то популярного или философского характера. Изменения впервые становятся заметны в его теории идей. Это тема, на которую, ради большей ясности, мы до сих пор воздерживались заходить; и то, что нам удавалось избегать ее так долго, казалось бы, доказывает, что данная доктрина составляет гораздо менее важную часть его философии, чем принято считать. Возможно, как считают некоторые, она не была его собственным изобретением, а была заимствована из мегарской школы; а мифическая связь, в которой она часто фигурирует, заставляет нас сомневаться в том, насколько основательно он ее воспринял. Теория заключается в том, что каждому абстрактному имени или концепции разума соответствует объективная сущность, обладающая отдельным существованием, совершенно отличным от тех разрозненных деталей, которыми она иллюстрируется для наших чувств или воображения. Как гераклитовский поток представлял собой путаницу, в которой Сократ уличал своих собеседников, так и эти Идеи представляли собой определения, с помощью которых он стремился привнести в их мнения метод и определенность. Возможно, как предполагает Грот, Платон принял эту гипотезу, чтобы избежать трудностей, связанных с определением общих понятий удовлетворительным образом. Несомненно, что в его ранних "Диалогах" истинные определения, похоже, находятся за пределами человеческого знания. А в начале конструктивного периода Платона мы видим, что признание абстрактных понятий, будь то математические или моральные, связано с воспоминаниями о внутриутробном состоянии, когда душа непосредственно общалась с трансцендентными реальностями, которым соответствуют эти понятия. Справедливость, умеренность, красота и доброта особенно упоминаются в качестве примеров Идей, раскрытых таким образом. Последующие исследования, однако, должны были привести Платона к убеждению, что высшие истины следует искать, анализируя не свободное содержание, а фиксированные формы сознания; и что, если каждая добродетель выражает определенное отношение между различными частями души, не нужно никакого внешнего опыта, чтобы познакомить ее с его значением; тем более нельзя объяснять понятия, возникающие из ее связи с материальным миром, ссылкой на сферу чисто духовного существования. В то же время врожденные идеи больше не требовались бы для доказательства ее бесплотности, когда власть разума над чувством давала бы гораздо больше оснований считать, что они имеют разное происхождение. Для всех, кто изучал эволюцию современной мысли, замена кантовских форм картезианскими идеями сразу же прояснит и подтвердит нашу гипотезу о подобной реформации метафизики Платона.

Опять же, новое положение, которое занял Ум в качестве посредника между миром реальности и миром видимости, все больше и больше стремилось стереть или запутать демаркации, которыми они были разделены до сих пор. Наиболее общими заголовками, под которыми было принято их противопоставлять, были: единое и многое, бытие и ничто, одно и то же и разное, покой и движение. Парменид использовал один набор терминов для описания своего Абсолюта, а другой - для описания объектов вульгарной веры. Они также служили соответственно для обозначения мудрецов и невежд, диалектиков и софистов, знаний богов и мнений людей; кроме того, они предлагали точки соприкосновения с антитетическими парами пифагорейства. Но постепенно Платон пришел к выводу, что природу Ума невозможно понять, не принимая во внимание обе точки зрения. Единство и множественность, одинаковость и различие в равной степени входят в его состав; хотя он, несомненно, принадлежит к сфере реальности, он сам - движется и является причиной

всякого движения в других вещах. Диалектический или классификационный метод с его прогрессивной серией дифференциаций и ассимиляций также предполагал постоянное использование категорий, которые считались взаимоисключающими. А перейдя к рассмотрению *summa genera*, самых высоких и абстрактных идей, которые он стремился выделить в их абсолютной чистоте и простоте из изменчивого хаоса чувственных явлений, Платон обнаружил, что даже они были сведены к лабиринту путаницы и противоречий искренним применением перекрестного эленха. Так, например, утверждать бытие Единого означало смешивать его с разнородными идеями и допускать ту самую множественность, которую оно отрицало. Различать же их - значит, предсказать различие обоих и тем самым открывать дверь для новых затруднений.

Наконец, в то время как попытка достичь предельной точности определения вела к разрушению всей мысли и всей реальности в сократической школе, диалектический метод был подхвачен и спародирован в очень грубом стиле группой лиц, называемых эристиками. Эти люди в какой-то степени узурпировали место старших софистов в качестве платных наставников молодежи, но их единственным достижением было расшатывание всех возможных утверждений с помощью ряда словесных жонглирований. Одним из их любимых парадоксов было отрицание реальности лжи на основе парменидовского принципа "ничто не может существовать". Платон сатирически высмеивает их метод в "Эвтидее" и делает гораздо более серьезную попытку ответить на него в "Софисте" - двух диалогах, которые, похоже, были написаны неподалеку друг от друга.¹⁵⁶ В "Софисте" происходит значительное упрощение теории идеала путем сведения отрицания к различию и полного исключения понятий единства и множественности, - возможно, в результате исследований, содержащихся в "Пармениде", другом диалоге, принадлежащем к той же группе, где упомянутая пара анализируется с большой тщательностью и показывается зараженной многочисленными самопротиворечиями. Остальные пять идей - Существование, Подобие, Различие, Покой и Движение - оставлены в силе, но факт их неразрывной связи показан с большой силой и ясностью. Исследование представляет значительный интерес, поскольку включает в себя самый ранний из известных анализов предикации и является необходимым звеном в переходе от платоновской к аристотелевской логике, то есть от теории определения и классификации к теории силлогизма.

После того как Идеи были приведены во взаимную связь и показано, что они соединены друг с другом, задача их соединения с внешним миром значительно упростилась; и тот же посредник, который прежде связывал их с ним как участник природы обоих, теперь был поднят на более высокую позицию и стал действенной причиной их тесного союза. Такова точка зрения Филеба, где все сущее делится на четыре класса: предел, неограниченное, союз обоих и причина их союза. Разум относится к последнему, а материя - ко второму классу. Вряд ли можно сомневаться в том, что первый класс либо тождественен Идеям, либо занимает то место, которое они когда-то занимали. Третий класс - это мир опыта, Космос ранней греческой мысли, на который Платон теперь смотрел как на достойный объект изучения. В "Тимее", также очень позднем диалоге, он идет дальше и дает нам полную космогонию, общая концепция которой достаточно ясна, хотя детали явно умозрительны и образны; похоже, они не оказали никакого влияния на последующие спекуляции вплоть до времени Декарта. Нам говорят, что мир был создан Богом, который абсолютно благ и, не испытывая зависти, пожелал, чтобы все вещи были подобны ему самому. Он делает его состоящим из души и тела, причем первое построено в подражание вечным архетипическим идеям, которые теперь, кажется, сводятся к трем - Существованию, Подобию и Различию.¹⁵⁷ Душа мира образуется путем смешения этих трех элементов, а тело - это образ души. Самобытность представлена звездной сферой, вращающейся вокруг своей оси;

различие - наклоном эклиптики к экватору; существование, возможно, - вечной продолжительностью небес. Та же аналогия распространяется и на человеческую фигуру, в которой голова - самая важная часть, а все остальное тело предназначено лишь для ее поддержки. Платон, похоже, рассматривает материальный мир как некий механизм, созданный для удовлетворения потребностей зрения и осязания, с помощью которого человеческая душа приходит к познанию вечного порядка без них; это прямо противоположно его прежним теориям, согласно которым материя и чувства были лишь помехами, препятствующими душе в ее стремлении к истине.

То, что остается от видимого мира после вычитания его идеальных элементов, - это чистое пространство. Это понятие, которое некоторым кажется самым ясным из всех концепций, для Платона было одним из самых туманных. Он может описать его только как бесформенную субстанцию, из которой различаются четыре элемента - огонь, воздух, вода и земля. Она замыкает шкалу бытия и даже наполовину лежит за ее пределами, подобно тому как Идея Блага в "Республике" выходит за пределы той же шкалы на другом конце. Можно предположить, что эти два принципа противопоставлены друг другу как абсолютная самоидентичность и абсолютное саморазделение; весь промежуточный ряд форм служит для преодоления промежутка между ними. Тогда легко понять, как, по словам Аристотеля, Платон в конце концов принял пифагорейскую номенклатуру и обозначил два своих порождающих принципа как монаду и неопределенную диадю. Число было образовано их сочетанием, а все остальные вещи были созданы из числа. Аристотель жалуется, что платоники превратили философию в математику; и, возможно, в интересах науки было удачно, что это превращение произошло. Полагать, что материя может быть построена из геометрических треугольников, как учит Платон в "Тимее", было, несомненно, весьма предосудительным заблуждением; но то, что систематическое изучение науки должно основываться на математике, было не менее новым и важным открытием. Импульс, данный знанию, последовал в непредвиденном направлении; и в более поздний период истинный дух Платона был лучше представлен Архимедом и Гиппархом, чем Арцизием и Карнеадом.

Примечательно, что спонтанное развитие греческой мысли должно было привести к форме теизма, не похожей на ту, которая, по мнению некоторых, до сих пор была сверхъестественным образом открыта еврейской расе; ведь отсутствие какой-либо связи между ними сегодня признается почти всеми. Современная наука заняла позицию Лапласа по отношению к рассматриваемой гипотезе; и те критики, которые, подобно Ланге, наиболее проникнуты научным духом, склонны рассматривать ее принятие Платоном как ретроградное движение. Мы можем в определенной степени согласиться с ними, не признавая, что отход от принципов Демокрита нанес ущерб философии в целом. Интеллектуал, подобно животному организму, иногда вынужден выбирать между ретроградной метаморфозой и полным исчезновением. Ход событий привел спекуляцию в Афины, где она могла существовать только при условии принятия теологической формы. Причем действие и реакция были равны и противоположны. Мифология приобрела столько же, сколько потеряла философия. Она очистилась от аморальных составляющих и поднялась на самый высокий уровень, которого способен достичь сверхъестественный мир. Если Республика была предтечей католической церкви, то "Тимей" стал предтечей католической веры.

IX.

Старость Платона, похоже, была отмечена беспокойной деятельностью не только в одном направлении. Он начинал различные работы, которые так и не были закончены, и

проектировал другие, которые так и не были начаты. Им овладело всепоглощающее рвение к социальным реформам. Ему казалось, что для воплощения в жизнь его идеального государства не хватает только просвещенного деспота. Согласно одной из историй, он воображал, что такой инструмент может быть найден в младшем Дионисии. Если это и так, то его ожидания были быстро разочарованы. Как остро замечает Гегель, только человек полумера позволит руководить собой другому; а такому человеку не хватит энергии, необходимой для осуществления платоновской схемы.¹⁵⁸ Как бы то ни было, философ, похоже, не отказался от мысли, что абсолютная монархия - это, в конце концов, то правительство, от которого можно ожидать наибольшего блага. Процесс замещения, который проходит через всю его интеллектуальную эволюцию, был здесь продемонстрирован в последний раз. Подобно тому, как в его этической системе знание, после того как оно рассматривалось исключительно как средство для достижения внешней цели, удовольствия, впоследствии стало самоцелью; как интерес к знанию был вытеснен более глубоким интересом к диалектическому механизму, который должен был облегчить его получение, и снова к социальной реорганизации, которая должна была сделать образование департаментом государства; так и благодетельный деспотизм, на который первоначально ссылались для установления аристократии по новой модели, в конце концов стал рассматриваться Платоном как лучшая форма правления. Такова, по крайней мере, тенденция замечательного диалога под названием "Государственик", который мы согласны с профессором Джоуэттом поместить непосредственно перед "Законами". Некоторые отрицают его подлинность, а другие помещают его очень рано во всю серию платоновских сочинений. Но в нем содержатся отрывки с таким сочетанием остроумия и красноречия, что ни один другой человек не мог бы их написать; и отрывки, настолько лишенные жизни, что они могли быть написаны только тогда, когда его система заостенела в математическом педантизме и схоластической рутине. Более того, кажется, что она явно предвосхищает схему детального законодательства, на разработку которого Платон потратил свои последние годы. Обличив насмешками мысль о том, что действительно компетентному правителю должны мешать письменные постановления, главный представитель признает, что в отсутствие такого правителя определенный и неизменный кодекс дает наилучшие гарантии политической стабильности.

Этот кодекс Платон и решил создать в своем последнем и самом длинном произведении - "Законах". Однако менее половины этого диалога посвящено деталям законодательства. Остальные части посвящены привычным темам морали, религии, науки и образования. В первой книге излагается весьма любопытная теория аскетизма, которая, как нам кажется, не была воспринята ни одним последующим моралистом. Исходя из принципа *in vino veritas*, Платон предлагает систематически прибегать к пьянству с целью проверки самоконтроля. Истинная воздержанность - это не воздержание, а способность противостоять искушениям; и мы можем лучше всего узнать, в какой степени человек обладает этой способностью, заставляя его врасплох. Если он будет устойчив к соблазнительным влияниям, даже когда находится в своей чаше, мы будем вдвойне уверены в его постоянстве в другое время". Профессор Джоуэтт довольно злонамеренно предполагает, что эта необычная апология крепкого алкоголя могла быть вызвана личными склонностями. Если бы это было так, нам следовало бы напомнить о последовательных откровениях, в которых Мохаммеду были разрешены индульгенции другого рода, и об одном случае, когда развод был санкционирован Огюстом Комтом. Мы также должны помнить, что христианское пуританство, к которому так близко подошел Платон, всегда было необычайно снисходительно к этому позорному пороку. Но, возможно, соображения несколько более высокого порядка помогут нам лучше понять этот парадокс. Платон был не прочь отвергнуть любую тенденцию своей эпохи, которая могла бы быть использована в его философии.

Отсюда, как мы видели, и то, как он использует любовь, даже в ее самых незаконных формах, в "Симпозиуме" и "Федре". Из наших скудных источников следует, что общественные празднества, всегда очень популярные в Афинах, стали главным интересом жизни примерно в то время, когда Платон писал свои "Законы". Согласно одной изящной легенде, сам философ испустил дух на брачном пире. Поэтому, возможно, ему пришло в голову, что распространенную тенденцию можно, подобно амурным страстям прежнего поколения, использовать для нравственного воспитания и подчинить той самой цели, с которой, на первый взгляд, она противоречит.

Уступки здравому смыслу и современным школам мысли, уже отмеченные в тех "Диалогах", которые, как мы предполагаем, были написаны после "Республики", еще более заметны в "Законах". Мы имеем в виду не просто проект политической конституции, которая предлагается как наилучшая из возможных в существующих обстоятельствах, хотя и не лучшая абсолютно; мы имеем в виду стремление представить философию с ее наиболее понятной, практической и популярной стороны. Чрезвычайно строгий стандарт сексуальной морали (с. 838), действительно, кажется более близким к современным, чем к античным представлениям, но, по всей вероятности, он был заимствован из натуралистической школы этики, предшественницы стоицизма; ведь в этой связи не только содержится прямая апелляция к учению природы, но и во всей работе термины "природа" и "естественно" встречаются, как нам кажется, чаще, чем во всех остальных сочинениях Платона вместе взятых. Когда, с другой стороны, утверждается, что людьми не может управлять никакой другой мотив, кроме удовольствия (с. 663, В), мы, кажется, видим в этом заявлении уступку киренейской школе, а также возвращение к забытой позиции Протагора. О растущем влиянии пифагорейства свидетельствует преувеличенное значение, придаваемое точным числовым определениям. Теория идей, как замечает профессор Джоуэтт, полностью отсутствует, ее место занимает различие между разумом и [материей](#)¹⁵⁹.

Политическая конституция и свод законов, рекомендованные Платоном для своего нового города, в значительной степени адаптированы из более древнего законодательства Афин. В этом качестве они дали историкам античной юриспруденции несколько ценных указаний. Но с философской точки зрения общее впечатление, производимое ими, утомительно и даже оскорбительно. Утверждается универсальная система шпионажа, а одиозное ремесло доносчика получает широкое поощрение. Хуже всего то, что в истинном духе афинской нетерпимости предлагается поддерживать религиозную ортодоксию с помощью преследующих законов. Платон фактически пришел к мысли, что несогласие с вульгарной теологией - это глупость и преступление. Можно процитировать один отрывок как предостережение тем, кто хочет, чтобы ранние ассоциации выполняли работу разума; и кто хочет противостоять новым истинам методом, который в свое время мог быть использован с фатальным эффектом против их собственных мнений: "Кто может быть спокоен, когда его зовут..."

Кто может быть спокоен, когда его призывают доказать существование богов? Кто может избежать ненависти и отвращения к людям, которые являются и были причиной этого спора? Я говорю о тех, кто не верит словам, которые они слышали, будучи младенцами и грудными детьми, от своих матерей и кормилиц, повторяемым ими как в шутку, так и всерьез, как заклинания; кто также слышал и видел, как их родители приносили жертвы и молитвы - виды и звуки, восхитительные для детей - жертвовали, я говорю, самым серьезным образом от их имени и от себя, и с горячим интересом говорили с богами и умоляли их, как будто были твердо убеждены в их существовании; И еще они видят и слышат, как эллины и варвары возносят молитвы

и поклоны восходящему и заходящему солнцу и луне, во всех различных поворотах добра и зла мелодии, не так, как если бы они думали, что богов нет, но так, как если бы не могло быть никаких сомнений в их существовании и никаких подозрений в их несуществовании; Когда люди, зная все это, презирают их без всяких оснований, что признают все, у кого есть хоть крупица разума, и когда они заставляют нас говорить то, что мы сейчас говорим, как может кто-либо в мягких выражениях возражать подобным им, когда ему приходится начинать с доказательства им самого существования богов?¹⁶⁰

Не следует забывать, что боги, о которых говорит Платон, - это солнце, луна и звезды; что атеисты, которых он обличает, лишь учили тому, что мы давно знаем, - что эти светила не более божественны, не более одушевлены, не более способны принимать наши жертвы или отвечать на наши крики, чем земля, по которой мы ступаем; И что он пытается доказать обратное с помощью аргументов, которые, даже если бы они не противоречили всему, что мы знаем о механике, все равно были бы совершенно неадекватны той цели, для которой они используются.

Вновь возвращаясь от меланхоличного упадка великого гения к великолепию его меридионального расцвета, мы попытаемся кратко перечислить достижения, которые дают Платону право войти в число пяти или шести величайших греков и в число четырех или пяти величайших мыслителей всех времен. Он расширил философию разума, охватив ею не только этику и диалектику, но и изучение политики, религии, общественных наук, изобразительного искусства, экономики, языка и образования. Другими словами, он показал, как идеи могут быть применены к жизни в самом широком масштабе. Далее, он увидел, что изучение разума, чтобы быть полным, требует знания физических явлений и реальностей, которые лежат в их основе; соответственно, он вернулся к объективным спекуляциям, которые были временно заброшены, таким образом, став посредником между Сократом и ранней греческой мыслью; с другой стороны, своей теорией классификации он стал посредником между Сократом и Аристотелем. Он основал физическую науку на математике, создав таким образом метод исследования и образования, который продолжает действовать с тех пор. Он набросал контуры новой религии, в которой нравственность должна была быть заменена ритуальностью, а разумное подражание Богу - слепым повиновением его воле; религии монотеизма, человечности, чистоты и бессмертной жизни. И все эти уроки он воплотил в серии сочинений, отличающихся такой красотой формы, что одно только литературное совершенство дало бы им право занять место среди величайших шедевров, которые когда-либо видел мир. Он взял в руки недавно созданный инструмент прозаического стиля и сразу же поднял его на высочайшую ступень совершенства, которой он когда-либо достигал. Обнаружив, что новое искусство уже искажено ложным вкусом и покрыто скудными украшениями, он очистил и возродил его в том первоисточнике интеллектуальной жизни, в том богатейшем, глубочайшем, чистейшем источнике радости, в беседе пытливых духов друг с другом, когда в них пробудилось стремление к истине и они не разучились отчаиваться в ее достижении. Таким образом, мастерство выражения философа придало дополнительный акцент его протесту против тех, кто сделал стиль заменой знания или, что еще хуже, превратил его в орудие выгодного зла. Они двигались по поверхности в путаном мире слов, ощущений и животных желаний; он же проникал сквозь все эти немые образы и слепые инстинкты к главной истине и высшей цели, которая одна только и может сообщить им смысл, последовательность, постоянство и ценность. В заключение: Платон принадлежал к той благородной практической школе идеалистов, которые изучают все детали реальности, прежде чем пытаться ее переделать, и осуществляют свои великие замыслы, привлекая и реорганизуя все спонтанные силы, уже действующие в том же

направлении; но плодородие их собственных предложений требует не одного тысячелетия, чтобы их исчерпать. Нет ничего ни на небе, ни на земле, о чем бы не мечталось в его философии: некоторые из его мечтаний уже сбылись; другие еще ждут своего исполнения; и даже те из них, которые несовместимы с требованиями опыта, будут и впредь изучаться с интересом, присущим каждому щедрому и смелому приключению, в духовном не менее, чем в светском порядке существования.

ГЛАВА VI. ХАРАКТЕРИСТИКИ АРИСТОТЕЛЯ.

I.

За последние двенадцать лет появилось несколько больших и малых книг, посвященных либо философии Аристотеля в целом, либо общим принципам, на которых она построена. Берлинское издание собрания сочинений Аристотеля было дополнено в 1870 году публикацией великолепного указателя, заполнившего почти девятьсот страниц формата кварто, за который мы должны благодарить образованность и индустрию Бонитца.¹⁶¹ Затем появился незаконченный трактат Георга Грота, задуманный в таком огромном масштабе, что он, если бы был полностью осуществлен, мог бы соперничать по объему с "Историей Греции" автора и, возможно, превзойти подлинные останки самого Стагирита. В таком виде мы имеем полное изложение Органона, с пояснениями и критикой, главу о *De Animâ* и несколько фрагментов о других аристотелевских трудах, отмеченных замечательной проницательностью и здравым смыслом Гроте. В 1879 году новое и значительно расширенное издание позволило довести ту часть работы Целлера по греческой философии, которая посвящена Аристотелю и *перипатетикам*¹⁶², до уровня его томов-компаньонов; и мы рады видеть, что, как и они, она вскоре появится в английском издании. Более старая работа Брандиса¹⁶³ посвящена той же теме, и, хотя она значительно отстает от современного уровня знаний, с ней все же можно с пользой ознакомиться, благодаря ее подробному и ясному анализу аристотелевских текстов. Наряду с этими громоздкими томами мы должны упомянуть небольшую работу сэра Александра Гранта¹⁶⁴, которая, хотя и предназначена в первую очередь для необучаемых, является настоящим вкладом в аристотелевскую науку и, вероятно, как таковая, получила честь немецкого перевода почти сразу после своей первой публикации. Книга "Изложение философии Аристотеля" г-на Эдвина Уоллеса¹⁶⁵ имеет другой и гораздо менее популярный характер. Изначально предназначенная для учеников автора, она делает для всей системы Аристотеля то же, что Тренделенбург сделал для его логики, а Риттер и Преллер - для всей греческой философии, то есть собирает вместе наиболее важные тексты и сопровождает их удивительно ясным и интересным толкованием. Наконец, у нас есть "Введение" мсье Бартеlemi Сент-Илера к его переводу "Метафизики" Аристотеля, переизданное в карманном томе.¹⁶⁶ Мы можем смело рекомендовать его тем, кто хочет приобрести знания по предмету с наименьшими затратами труда. Стиль восхитительно прост, а то, что автор пишет с позиций французской спиритуалистической школы, не является недостатком, поскольку эта школа отчасти аристотелевского происхождения, и ее приверженцы, следовательно, скорее всего, воспроизведут теории мастера с сочувственной оценкой.

Учитывая столь обширные труды, мы можем почти представить себя вернувшимися в те времена, когда Чосер мог описать студента как совершенно счастливого, имеющего

'At his beddes hed

Двадцать книг, обтянутых блейком и красным

Аристотеля и его философию".

Кажется, будто мы наблюдаем возрождение средневековья под другой формой; будто после неоготической архитектуры, прерафаэлитизма и ритуализма нам грозит возвращение к схоластической философии, которую великие научные реформаторы XVII века, как считается, безвозвратно уничтожили. И какими бы химерическими ни казались надежды на такое восстановление, мы вынуждены признать, что они действительно существуют. Один из самых культурных поборников ультрамонтанизма в этой стране, профессор Сент-Джордж Миварт, не так давно сообщил нам в конце своей работы о современной эволюции, что "если метафизика возможна, то нет, никогда не было и не будет более одной философии, которая, правильно понятая, объединяет все истины и устраняет все *ошибки* - философия философа Аристотеля". В качестве симптома того же движения можно упомянуть, что Лев XIII недавно распорядился переиздать труды святого Фомы Аквинского для использования в католических колледжах; согласно газетам, он выделил для этой цели 300 000 *лир* - большая сумма, учитывая его нынешние нужды, но не слишком большая для переиздания восемнадцати фолиантов. Хорошо известно, что философия Аквинского - это просто философия Аристотеля, с такими пропусками и изменениями, которые были необходимы для того, чтобы присоединить ее к христианской теологии. Таким образом, давая свое одобрение учению ангельского доктора, Лев XIII. косвенно дает его источнику, из которого происходит большая часть этого учения.

Можно, наверное, считать естественным, что устаревшие авторитеты должны вызывать одобрение Церкви, чьей гордостью является сохранение в неприкосновенности традиций восемнадцати веков. Но аристотелевская реакция распространяется и на тех, кто стоит совершенно в стороне от католицизма. Месье Сент-Илер в своем предисловии отзывается о теологии с неприязнью и подозрением; он недавно занимал пост в правительстве, настроенном резко антиклерикально; однако он почти безоговорочно принимает метафизику Аристотеля. Тот же тон характерен для всего официального преподавания во Франции; и любое отклонение от строгих перипатетических стандартов должно извиняться, как если бы это была опасная ересь. Обращаясь к нашей стране, мы обнаруживаем, что со времен, когда, по словам г-на Мэтью Арнольда, оксфордские наставники считали "Этику" абсолютно непогрешимой, произошли заметные изменения. Огромное место, отведенное Платону в общественном обучении, и быстро растущее превосходство эволюционных идей в настоящее время достаточно, чтобы сдерживать любой конкурирующий авторитет; тем не менее, не только некогда пренебрегаемые части системы Аристотеля начинают привлекать свежее внимание - что в целом похвально - но мы также находим выдающегося оксфордского учителя, чья работа по этому вопросу уже упоминалась, выражающего себя следующим образом:...

Нам все еще не терпится узнать, приходит ли к нам восприятие реального мира в результате упражнения мысли или простого впечатления чувства, является ли универсальным то, что дает индивидуальную реальность, или индивидуальное то, что формирует себя, посредством какого-то необъяснимого процесса, в универсальное, являются ли телесные движения причинными предшественниками психических функций, или разум скорее реальность, которая дает истину телу-

является ли высшая жизнь жизнью мысли или жизнью действия- влечет ли интеллектуальный прогресс также и нравственный прогресс- является ли государство простой комбинацией для сохранения благ и собственности или нравственным организмом, развивающим идею права. И по этим и подобным вопросам Аристотелю еще есть что нам рассказать..... Его теория творческого разума, пусть и фрагментарная, является ответом на все материалистические теории мироздания. Для Аристотеля, как и для тонкого шотландского проповедника [Principal Caird], "реальная предпосылка всякого знания, или мысль, которая есть *prius* всех вещей, - это не сознание индивидом самого себя как личности, но мысль или самосознание, которое находится за пределами всех индивидуальных "я", которое есть единство всех индивидуальных "я" и их объектов, всех мыслителей и всех объектов всех мыслей"167.

Наши критики не довольствуются тем, что выдвигают Аристотеля в качестве авторитета в метафизических спорах современности и читают в нем теории, о которых он и не мечтал: они приписывают ему современные мнения, которые он бы категорически отверг, и современные методы, которые прямо противоречат его научному учению. Так, сэр А. Грант пользуется двусмысленностью слова "материя", используемого соответственно Аристотелем и современными авторами, чтобы заявить о своей поддержке своеобразных теорий профессора Феррьера; хотя Стагирит записал свою веру в реальность и независимость материальных объектов (если не того, что он называл материей) с позитивностью, которая, как можно подумать, не оставляет возможности понять его [неправильно](#)168. И мистер Уоллес говорит, что Аристотель "признает генезис вещей путем эволюции и развития"; утверждение, которое, стоящее на своем месте и не имеющее больше оговорок, чем добавлено к нему, заставило бы любого читателя, не разбирающегося в предмете, думать о Стагирите скорее как о предтече мистера Дарвина и мистера Герберта Спенсера, чем как о предшественнике мистера Дарвина. Герберта Спенсера, а не интеллектуальным предком их оппонентов; в то время как в другой раз он цитирует отрывок о вариациях растений при одомашнивании из работы, которую лучшие критики считают неаристотелевской, очевидно, не имея другой цели, кроме как найти частицу дарвинизма у своего [автора](#)169.

В Германии неоаристотелианство уже отжило свой срок, отведенный всем подобным движениям; как мы полагаем, его ввел в моду Тренделенбург около сорока лет назад. С тех пор аристотелевская система во всех ее разветвлениях изучалась с такой глубокой эрудицией, что любые иллюзии относительно ее ценности для наших современных нужд должны были к этому времени полностью рассеяться; а гегелевская диалектика, с которой она первоначально должна была бороться, больше не нуждается в противовесе, будучи полностью изгнана из немецкого университетского преподавания. Более того, знаменитая "История материализма" Ланге нанесла ошеломляющий удар по репутации Аристотеля, причем не только самой по себе, но и относительно заслуг ранней греческой мысли; хотя Ланге слишком далеко заходит в противоположную крайность, возвеличивая Демокрита за его счет.170 Однако мы должны пожаловаться, что Целлер и другие историки греческой философии начинают с неизменного предубеждения в пользу поздних спекулянтов против ранних, и особенно в пользу Аристотеля против всех его предшественников, включая Платона, что приводит к тому, что они замалчивают его слабые стороны и несоразмерно подчеркивают его [достоинства](#)171.

Таким образом, очевидно, что к Аристотелю нельзя относиться с таким же совершенным беспристрастием, как к другим великим мыслителям древности. Он если и не живая сила, то все же сила, с которой необходимо считаться в современных спорах. Его поклонники упорно

стремятся сделать из него авторитета или, по крайней мере, процитировать его в защиту своих любимых убеждений. Поэтому мы вынуждены отсеивать его утверждения с суровостью, которая была бы не совсем любезна в чисто историческом обзоре. В то же время хочется надеяться, что историческая справедливость от такой процедуры не проиграет, а выиграет. Мы сможем лучше понять, кем был Аристотель, после того как сначала покажем, кем он не был и не мог быть. И полезность наших исследований еще более возрастет, если мы сможем показать, что он представляет собой фиксированный тип, регулярно повторяющийся в революциях мысли.

II.

Лично мы знаем об Аристотеле больше, чем о любом другом греческом философе классического периода; но то, что мы знаем, не так уж и много. Это не более чем скелет жизни, пустое перечисление имен, дат и мест, перемежаемое несколькими более или менее сомнительными анекдотами. Их мы сейчас и расскажем, а также сделаем выводы, которые, как нам кажется, оправдывают факты. Аристотель родился в 384 году до н. э. в Стагейре, греческой колонии во Фракии. Примечательно, что все известные греческие мыслители, за исключением Сократа и Платона, вышли из пределов эллинизма и варварства. Огюст Конт предположил, и мы не знаем, насколько обоснованно, что религиозные традиции в колониях были слабее, чем в родительских государствах, и, таким образом, позволяли свободнее играть независимым спекуляциям. Возможно также, что накопление богатства происходило быстрее, что давало больше досуга для размышлений; а мелочность политической жизни высвобождала фонд интеллектуальной энергии, которая в более могущественных сообществах могла бы быть направлена на службу государству. Оставшись сиротой в ранней юности, Аристотель воспитывался у некоего Проксена, сыну которого, Никанору, он впоследствии вернул долг благодарности. На восемнадцатом году жизни он поселился в Афинах и посещал школу Платона до самой смерти этого философа, последовавшей через двадцать лет. Неясно, осознавал ли младший мыслитель свой огромный интеллектуальный долг перед старшим, и он постоянно подчеркивает те моменты, по которым они расходятся; но лично его чувство к мастеру было глубоким почтением и привязанностью. В нескольких прекрасных строках, сохранившихся до наших дней, он говорит об "алтаре торжественной дружбы, посвященном тому, о ком плохие не должны говорить даже в похвалу; кто один, или кто первый среди смертных, доказал своей жизнью и своей системой, что добро и счастье идут рука об руку"; и по общему мнению, речь может идти только о Платоне. Опять же, в своей "Этике" Аристотель выражает нежелание критиковать теорию идеала, поскольку ее придерживались его близкие друзья, добавляя памятное заявление, что философу истина должна быть еще дороже. Какое мнение сложилось у Платона о его самом знаменитом ученике, менее определено. Согласно одной традиции, он назвал Аристотеля Нусом своей школы. От столь пронизывающего наблюдателя вряд ли могло ускользнуть, что всепоглощающая жажда знаний, которую он считал наиболее характерной для философского темперамента, овладела этим молодым учеником в такой степени, которая никогда ранее не встречалась среди сынов человеческих. Однако, возможно, считал, что метод получения знаний Стагиритом был неблагоприятен для их свежего и яркого восприятия. Сохранилось выражение, которое вряд ли может быть не подлинным, настолько оно отличается той тонкой смесью комплимента и сатиры, в которой особенно преуспел Платон. Говорят, что он назвал дом Аристотеля "домом читателя". Автор "Федра", сам довольно объемный писатель, не был, как и Карлайл, поклонником литературы. Вероятно, ему пришло в голову, что студент-философ, имеющий привилегию слушать собственные лекции, мог бы поступить лучше, чем затвориться с ворохом рукописей, вдали от человеческого вдохновения общения и божественного вдохновения уединенной мысли. У

нас, современных, нет причин сожалеть о привычке, которая сделала труды Аристотеля хранилищем античных спекуляций; но с научной, не менее чем с художественной точки зрения, эти работы перегружены критикой более ранних мнений, некоторые из которых совершенно не заслуживают серьезного обсуждения.

Философия не успела поселиться в Афинах, как ее профессора получили свою долю от сквернословия, которое, похоже, стало основной темой разговоров в этой просвещенной столице. Аристотель, сам язвительный и порой горько презрительный спорщик, не избежал этого; некоторые из порицаний в его адрес были, справедливо или нет, приписаны Платону. Стагирит, воспитанный при македонском дворе или рядом с ним и унаследовавший значительные средства, был, если верить отчетам, несколько нескладен в одежде и роскошен, если не сказать рассеян, в своих привычках. Неудивительно, что тот, кого в столь раннем возрасте оставили собственным хозяином, поначалу превысил пределы той умеренности, которую он впоследствии насаждал как золотое правило морали; Но обвинение в расточительности было столь распространенным в Афинах, где постоянное влияние деревенской жизни, похоже, породило предубеждение в пользу бережливости, что его можно воспринимать почти как оправдание от более серьезных обвинений; и, возможно, наставления Платона, если оно было необходимо, хватило, чтобы сдержать амбиции его ученика, стремящегося стать модным человеком.

Мы не можем сказать, в какой степени расхождения, из-за которых Платон и Аристотель впоследствии стали типами самой крайней интеллектуальной оппозиции, проявлялись уже во время их личного общения.¹⁷² По преданию, учитель сравнивал своего ученика с жеребенком, который пинает свою мать, иссушив ее. В этом замечании есть как грубая правда, так и грубое остроумие; но автора "Парменида" вряд ли могла сильно задеть критика идеальной теории, которую он сам изложил с такой же прямоотой и остротой; и если, как мы иногда склонны предполагать, эти критические замечания были впервые предложены ему Аристотелем в разговоре, то еще более очевидно, что они были приняты без обиды¹⁷³.

В некоторых отношениях Аристотель начинал не только как ученик, но и как защитник платонизма. С популярной стороны, это учение отличалось своим сугубо религиозным характером и противостоянием риторической подготовке, которая тогда была в моде. Диалоги Аристотеля, от которых сохранилось лишь несколько фрагментов, содержали изящные аргументы в пользу творческой Первопричины и человеческого бессмертия, хотя в трудах, воплощающих его зрелые взгляды, первая из этих теорий значительно изменена, а вторая полностью отвергнута. Кроме того, нам сообщают, что Аристотель выражал довольно яростное презрение к Исократу, величайшему из ныне живущих профессоров декламации, и открыл собственную оппозиционную школу. Этот шаг, как ни странно, был приведен в качестве еще одного доказательства несогласия с Платоном, который, как утверждается, возражал против любого риторического учения. Нам кажется, что он осуждал скорее метод и цель модной в то время риторики; и значительная часть его "Федра" посвящена доказательству того, насколько эффективнее можно убедить оратора путем совместного применения диалектики и психологии. Именно это впоследствии попытался разработать Аристотель в трактате "Риторика", до сих пор сохранившемся среди его трудов; и мы можем с уверенностью предположить, что его ранние лекции в Афинах были составлены по тому же принципу.

В 347 году Платон умер, оставив своего племянника Спевсиппа преемником на посту главы Академии. Аристотель покинул Афины в сопровождении другого платоника, Ксенократа, что свидетельствует о том, что его отношения со школой продолжали носить сердечный характер. Они поселились в Атарнее по приглашению тирана Гермеи, старого сокурсника по

Академии. Гермей был евнухом, который с положения раба поднялся до должности визиря, а затем, после смерти своего господина, до обладания верховной властью. Через три года после этого еще более крутой поворот судьбы положил конец его авантурной карьере. Как и Поликрат, он был вероломно схвачен и распят по приказу персидского правительства. Аристотель, женившийся на Пифии, племяннице своего покойного покровителя, бежал вместе с ней в Митилен. Всегда благодарный и необычайно восторженный в своих привязанностях, он прославил память Гермей, чем сильно оскорбил религиозные чувства Эллады, посвятив ему статую в Дельфах и сочинив элегию, сохранившуюся до наших дней, в которой он сравнивает евнуха-деспота с Гераклом, Диоскурами, Ахиллом и Аяксом и обещает ему бессмертие от муз в честь Зевса Зениана.

Когда мы в следующий раз слышим об Аристотеле, он находится при македонском дворе ,174 выступая в качестве воспитателя Александра, будущего завоевателя Азии, который оставался под его опекой в возрасте от тринадцати до шестнадцати лет. Скорее всего, философ получил это назначение благодаря интересам двора - его отец был придворным врачом деда Александра, Аминтаса, - чем благодаря своей репутации, которая вряд ли могла сложиться до нескольких лет после этого. Многие были сказаны о связи, которая, хотя и просуществовала недолго, сильно будоражит воображение и открывает большое поле для догадок. Величайший спекулятивный и величайший практический гений той эпохи - некоторые могут сказать, что и всех эпох - не могли, надо полагать, вступить в столь тесный контакт, не оставив друг на друге глубокого впечатления. Соответственно, предполагается, что философ подготовил героя к его будущим судьбам. Мильтон рассказал нам, как Аристотель "воспитал великого Александра, чтобы тот покорил мир". Гегель говорит нам, что это было сделано, дав ему сознание самого себя, полную уверенность в своих силах; для этого, похоже, требовалась бесконечная смелость мысли; и он замечает, что результат опровергает глупые разговоры о практической бесполезности философии.175 Было бы прискорбно, если бы философия не имела лучшего свидетельства в свою пользу, чем характер Александра. Не последним достоинством "Истории" Гроте является то, что он в полной мере высветил дикие черты, которыми было отмечено его поведение от начала до конца. Высокомерный, пьяный, жестокий, мстительный и крайне суеверный, он соединил в себе пороки вождя горцев и неистовство восточного деспота. Ни один человек не был так далек от серьезности, мягкости, умеренности - одним словом, от Софросинка истинного эллинского героя. Пришло время, когда сам Аристотель подвергся бы самому неминуемому риску, если бы оказался в непосредственной близости от тирана. Его племянник Каллистен () вызвал глубокое недовольство, протестуя против подневольного преклонения или, скорее, идолопоклонства, которого Александр требовал от своих слуг. Против него было выдвинуто обвинение в заговоре, и даже оправдательные показания, данные под пытками его предполагаемыми сообщниками, не спасли его. "Я накажу софиста, - писал Александр, - и тех, кто его послал". Было понятно, что под эту угрозу подпадает и его старый наставник. К счастью, как отмечает Грот, Аристотель находился не в Экбатанах, а в Афинах; поэтому он избежал участи Каллистена, которого постигла смерть при обстоятельствах, по некоторым данным, очень жестоких.

Целлер находит в Александре несколько хороших качеств - проницательную государственность, рвение к распространению эллинской цивилизации, длительное самоограничение в условиях почти непреодолимого искушения, и через все его последующие отклонения благородство, моральную чистоту, человечность и культуру, которые поднимают его над всеми другими великими завоевателями; и это он в немалой

степени приписывает заботе Аристотеля;¹⁷⁶ однако, за исключением нравственной чистоты, которая, вероятно, была делом темперамента и в равной степени проявлялась у других людей того же общего характера, он был превзойден во всех этих отношениях Юлием Цезарем; а беспощадная мстительность, которая была его худшей страстью, проявилась в самом начале его царствования в разрушении Фив. Лак литературной культуры ему, несомненно, придали, и за это можно поблагодарить Аристотеля; но любой обычный софист, вероятно, добился бы не меньшего. Что касается эллинизации Западной Азии, то это, по мнению Гроте, дело рук не Александра, а Диadoхов после него.

Прибыль, полученная Аристотелем от этой связи, кажется столь же сомнительной. Традиция гласит, что на его научные изыскания были потрачены огромные суммы денег, а целая армия слуг короны была направлена на сбор информации, касающейся его зоологических исследований. Современные исследования, однако, доказали, что завоевания Александра, по крайней мере, не обеспечили его новыми образцами, как утверждалось, и знания, содержащиеся в его сохранившихся трактатах, не превышают того, что можно было получить либо из его собственных наблюдений, либо путем частных расспросов. В то же время можно предположить, что его услуги были хорошо вознаграждены, а официальное положение при македонском дворе давало ему множество возможностей для общения с конюхами, егерями, пастухами, рыбаками и другими людьми, от которых он узнал большую часть того, что рассказывает нам о повадках животных. В связи с благосклонностью Аристотеля следует упомянуть, что он добился восстановления Стагейры, безжалостно разрушенной Филиппом, вместе с другими греческими городами Халкидского полуострова, как новое доказательство его доброжелательного характера.

Предполагается, что два отрывка из трудов Аристотеля свидетельствуют о его восхищении Александром. Один из них - описание великодушного человека в "Этике". Другой - упоминание в "Политике" об идеальном герое, чьи добродетели настолько возвышают его над обычными смертными, что они обязаны повиноваться ему, как если бы он был богом. Но великодушный человек олицетворяет собой серьезный и величественный тип характера, совершенно не похожий на рыцарскую, импульсивную театральную натуру Александра,¹⁷⁷ хотя, вероятно, нередко встречающийся среди настоящих эллинов; а о богоподобном государственном деятеле "Политики" говорится скорее как о недостижимом идеале, чем как о современном факте. В целом, таким образом, мы должны заключить, что общение этих двух необычных духов не оставило никакого отчетливого следа ни в действиях одного, ни в мыслях другого.

После отъезда Александра на Восток Аристотель вернулся в Афины, где теперь стал во главе новой философской школы. Последующий тринадцатилетний период был полностью занят чтением публичных лекций и написанием тех энциклопедических трудов, которые навсегда сохраняют память о нем, наряду, возможно, со многими другими, не дошедшими до нас. Как и Анаксагору, ему не позволили закончить свои дни в городе, где он родился. Его юношеские нападки на Исократа, вероятно, нажили ему немало врагов среди учеников этого ратора. По предположению Гроте, которое, однако, горячо оспаривается Целлером, его резкая критика Платона вызвала аналогичную враждебность среди сектантов Академии.¹⁷⁸ Так или иначе, обстоятельства неизбежно связали его с ненавистной македонской партией, хотя его положение, как медика или иностранца-резидента, не позволяло ему принимать какое-либо активное участие в политике. После смерти Александра буря разразилась. Против Аристотеля было выдвинуто обвинение на основании его неудачной поэмы в честь Гермей, которая была описана как оскорбление религии. То, что было выбрано именно такое обвинение, характерно для афинского фанатизма, даже если бы не было правды в истории о

том, что некоторые его философские взгляды также были выбраны для обвинения. Прежде чем дело было передано в суд, Аристотель воспользовался обычной привилегией, допускаемой в таких случаях, и удалился в Халкис, чтобы, по его словам, афиняне не согрешили во второй раз против философии. Но его телосложение, от природы слабое, было почти истощено. Через год после этого он скончался от болезни желудка, усугубленной, если не вызванной, непрерывным умственным трудом. Его современник, Демосфен, умер примерно в то же время и в том же возрасте - шестьдесят два года. Чуть больше чем за двенадцать месяцев мир потерял трех величайших людей; и после трех веков непрерывной славы Эллада осталась непредставленной одним человеком с выдающимся гением.

Нам рассказывают, что, когда его конец стал приближаться, умирающий философ был вынужден выбрать себе преемника на посту главы Школы. То, как он это сделал, характеризует его необыкновенную мягкость и нежелание обидеть. Было понятно, что выбор должен быть сделан между двумя его самыми выдающимися учениками, Теофрастом Лесбосским и Евдемом Родосским. Аристотель попросил прислать образцы вина, выращенного на этих островах. Сначала он попробовал родосское вино и высоко его оценил, но, попробовав другое, заметил: "Лесбосское слаще", тем самым показав свое предпочтение Теофрасту, который и стал вместо него править [Ликеем](#)¹⁷⁹.

Документ, выдаваемый за завещание Аристотеля, сохранился у Диогена Лаэртия, и хотя сэр А. Грант выдвинул некоторые возражения против его подлинности, они, по нашему мнению, были успешно опровергнуты Целлером.¹⁸⁰ Завещания философа служат еще одним доказательством его заботы о благополучии окружающих и преданности памяти ушедших друзей. Тщательно продумана опека над его малолетними детьми и обеспечение комфорта его второй жены, Герпиллиды, которая, по его словам, "была добра к нему". Некоторые рабы, указанные по именам, должны быть освобождены и получить наследство. Ни один из молодых рабов, которые ждали его, не должен быть продан, а когда они вырастут, их отпустят на свободу, "если они того заслуживают". Кости его первой жены Пифии, как она сама того желала, должны быть положены рядом с его костями. В память о его матери, а также о некоторых друзьях, в частности о Проксене, который был опекуном Аристотеля, и его семье, должны быть воздвигнуты памятники.

Внешне Аристотель напоминал скорее хрупкого студента нового времени, чем атлетические фигуры своих предшественников. Он не был ни воином, как Сократ, ни гимнастом, как Платон. Судя по нескольким упоминаниям в его работах, он очень верил в ходьбу как в средство сохранения здоровья - даже читая лекции, он любил прогуливаться по тенистым аллеям. И, вероятно, конституция была самым суровым упражнением, которое он когда-либо принимал. Он говорил с некоторым придыханием, и выражение его рта, как говорят, было саркастическим; но черты, сохранившиеся до нас в мраморе, говорят лишь о размышлениях и, возможно, о боли. Свободолюбивый и бесстрашный критик, он не был слишком чувствителен к себе. Когда ему говорили, что кто-то издевается над ним в его отсутствие, философ отвечал: "Он может бить и меня, если захочет - в мое отсутствие". Его могли оскорблять даже в его собственном присутствии, не отступая от той же позиции спокойного презрения, к большому разочарованию его обидчиков. Его невозмутимость лишь слегка нарушалась более публичными и существенными оскорблениями. Когда некоторые почетные знаки, присвоенные ему народным голосованием в Дельфах, были отменены, вероятно, по случаю его бегства из Афин, он со свойственной ему сдержанностью заметил, что, хотя и не совсем равнодушен, не чувствует себя очень глубоко обеспокоенным; черта, которая иллюстрирует характер "великодушного человека" гораздо лучше, чем что-либо, связанное с Александром. Два других высказывания имеют почти христианский оттенок:

когда его спросили, как мы должны относиться к друзьям, он ответил: "Так, как мы хотели бы, чтобы они относились к нам"; а когда его упрекнули в том, что он растратил свою щедрость на недостойный объект, он заметил: "Я жалел не человека, а человеческое существо" ¹⁸¹.

Тем не менее, если брать все в целом, жизнь Аристотеля производит впечатление чего-то довольно беспорядочного и зависимого, а не горделиво самоопределяющегося, как жизнь мыслителей, которые были до него. Нам напоминают о том, что в его трудах так часто встречаются новые начинания и апелляции к авторитетам. Сначала он на двадцать лет задерживается в Афинах из-за притяжения Платона; и не успевает Платон уехать, как попадает под влияние совершенно другого персонажа - Гермия. Даже когда в его услугах больше не нуждаются, он задерживается при македонском дворе, пока отъезд Александра снова не оставляет его без покровителя. Самый достойный период всей его карьеры - тот, когда он возглавлял перипатетическую школу; но этим положением он обязан иностранному влиянию и теряет его с временным возрождением греческой свободы. Более долгая жизнь, вероятно, заставила бы его вернуться в Афины в сопровождении своего последнего покровителя Антипатра, которого он назначил исполнителем своего завещания. Это был как раз тот человек, который придавал большое значение доказательной силе сенсаций и народного мнения. Это был также характер консерватора, который, скорее всего, считал, что все всегда было так, как было в его время, и будет оставаться таким и впредь. Аристотель был не тем человеком, который воображал, что нынешний порядок природы возник из совершенно иного порядка в далеком прошлом, и не поощрял подобные рассуждения, когда их предлагали ему другие. Он не мог с готовностью поверить, что явления, как он их знал, основаны на реальности, которую нельзя ни увидеть, ни почувствовать. Наконец, он не мог разгадать движения, которые постепенно подтачивали общество, в котором он жил, и тем более построить идеальную политику для его реорганизации на более высокой и широкой основе. И здесь мы сразу же осознаем главное отличие его от своего учителя, Платона.

III.

Часто цитируемое замечание Фридриха Шлегеля гласит, что каждый человек рождается либо платоником, либо аристотеликом. Если ограничить это замечание единственным классом, который, возможно, его автор признавал людьми, а именно всеми мыслящими людьми, то окажется, что в нем содержится определенная доля истины, хотя, вероятно, не та, которую имел в виду Шлегель; во всяком случае, что-то, требующее дополнения другими истинами, прежде чем его полное значение может быть понято. Распространено мнение, что Платон был трансценденталистом, а Аристотель - эмпириком, и что это наиболее характерное различие между ними. Однако было бы ошибкой полагать, что во времена Платона *априорный* и *апостериорный* методы были разграничены с такой определенностью, чтобы сделать возможным выбор между ними. Противостояние шло не между общими положениями и конкретными фактами, а между наиболее полными и наиболее ограниченными понятиями. Как если бы сейчас встал вопрос о том, следует ли начинать преподавать физиологию с разделения органического и неорганического мира или же направить внимание ученика на какой-то один жизненный акт. Нам прямо говорят, что Платон колебался между этими двумя методами, и, по крайней мере, в его "Диалогах" мы видим, что предпочтение отдается более легкому и популярному методу. Правда, он часто апеллирует к широким принципам, которые не опираются на адекватную основу экспериментальных доказательств; но Аристотель тоже так делает, даже чаще, и, как показало событие, с более фатальным ущербом для прогресса знания. В своей "Риторике" он даже идет дальше Платона, выстраивая все искусство из общих принципов диалектики,

психологии и этики, без какой-либо ссылки, кроме как для иллюстрации, на существующие образцы красноречия.

По мнению сэра А. Гранта, Платон отличается от Аристотеля именно мистической и поэтической стороной своей натуры. Первый "стремился к истине, превышающей истину научного знания", второй - к "методизированному опыту и определенности".¹⁸² Теперь, оставив в стороне вопрос о том, существует ли истина, превышающая истину научного знания, мы сильно сомневаемся, что Платон верил в ее существование. Он считал, что самая ценная истина - это та, которая может быть передана другим с помощью процесса, даже более строгого, чем математические рассуждения; и не было такой реальности, какой бы трансцендентной она ни была, которую он не надеялся подчинить диалектике, без которой невозможно понять даже самое низкое. Он, правда, верил, что до сих пор лучшие и мудрейшие из людей были в гораздо большей степени обязаны божественно заложенному инстинкту, чем любой сознательной цепи размышлений; но он отчетливо утверждал, что такое руководство уступает свету научного знания, если оно может быть получено, как он надеялся, что может. С другой стороны, Аристотель, вероятно, превосходил Платона как поэт; говоря о высших реалиях, он использует язык, который, хотя и менее богат и витиеват, чем язык его учителя, не уступает ему в силе и пылкости; в то время как его метафизические теории содержат большой элемент того, что сейчас считалось бы мистицизмом, то есть он часто видит свидетельства цели и одушевления там, где их на самом деле не существует. Его преимущество в определенности, конечно, неоспоримо, но это, возможно, потому, что он пришел после Платона и воспользовался его уроками.

И все же между ними было различие, выделяющее каждого из них как главу целой школы, гораздо более обширной, чем Академия или Лицей; различие, которое мы можем лучше всего выразить, сказав, что Платон был преимущественно практическим, а Аристотель - преимущественно спекулятивным гением. Целью первого было реорганизовать всю человеческую жизнь, другого - реорганизовать все человеческое знание. Если бы один из них жил раньше, он, скорее всего, стал бы великим государственным деятелем или великим полководцем, чем великим писателем; другой же ни в коем случае не стал бы ни философом, ни математиком, ни историком. Уже с рождения они, казалось, были предназначены для активной и созерцательной жизни: один - гражданин самого крупного государства Эллады, выходец из семьи, в которой политические амбиции были наследственными, сам сильный, красивый, увлекательный, красноречивый, одаренный тончайшей проницательностью в отношении способностей и побуждений людей; другой - стагирит и асклепиад, то есть не имеющий возможности сделать государственную карьеру, обладающий наследственной склонностью к анатомии и естествознанию, приспособленный своим ничтожным лицом и тонкой конституцией к сидячим занятиям и способный лучше приобретать знания даже о человеческой природе из книг, чем в живом общении с людьми и делами. Конечно, мы ни на минуту не отказываем Платону в месте среди знающих мастеров; он охватил всю науку своего века и в значительной степени наметил курс, которым должна была следовать наука будущих веков; тем не менее, для него знание было не столько самоцелью, сколько средством для достижения других целей, среди которых сохранение государства, по-видимому, было, в его глазах, наиболее важным. С другой стороны, Аристотель, провозгласив счастье высшей целью, определяет его как активизацию высшей природы человека, которую он снова отождествляет с процессом рассуждения или познания в его чистом виде.

Это же фундаментальное различие ярко проявляется в их теологии. Платон исходит из того, что Бог благ и, будучи благим, желает, чтобы все походило на него; из этого предположения вытекает божественное происхождение и провиденциальное управление миром. Аристотель

считает, что Бог занят исключительно созерцанием самого себя и воздействует на природу только через любовь, которую внушает его совершенство. Если далее мы рассмотрим, какое отношение обе философии имеют к этике, то обнаружим, что для Платона ее проблемы были самыми насущными из всех, что они преследовали его всю жизнь и что он внес необычайно ценный вклад в их решение; в то время как для Аристотеля она была просто отраслью естественной истории, изучением различных типов характера, встречающихся в греческом обществе, без малейшего представления о том, что поведение должно быть поставлено на более широкую и твердую основу, чем общепринятые стандарты его эпохи. Поэтому, читая Платона, мы постоянно вспоминаем о спорах, которые до сих пор бушуют между нами. Он дает нам изложение теории, известной сегодня как эгоистический гедонизм, к которой ничего не добавлено; затем он отказывается от нее и переходит к социальной стороне поведения, необходимости справедливости, отношению частных и общественных интересов, влиянию религии, образования и социальных институтов на мораль, а также к другим родственным темам, которые не нуждаются в дальнейшем изложении, поскольку они были достаточно полно рассмотрены в предыдущей главе. Аристотель, напротив, возвращает нас в древнегреческую жизнь, какой она была до времен Сократа, обращая внимание на теории этого великого реформатора только для того, чтобы отвергнуть их в пользу узкого стандарта, основанного на здравом смысле. Добродетельное поведение, говорит он нам, заключается в выборе среднего между двумя крайностями. Если мы спросим, как найти это среднее, он отправляет нас к способности, называемой *φρόνησις*, или практический разум; но при дальнейшем исследовании оказывается, что этой способностью не обладает никто из тех, кто уже не является добродетельным. На вопрос "Как люди становятся нравственными?" он отвечает: "Приобретая нравственные привычки"; это не более чем переформулировка проблемы, или, во всяком случае, предполагает другой, более сложный вопрос - как приобретаются хорошие привычки?

Ответ на этот вопрос мог бы быть получен, если бы Аристотель смог завершить тот набросок идеального государства, который первоначально должен был стать частью его "Политики". Но философ, очевидно, пришел к выводу, что сделать это было выше его сил. Если бы седьмая и восьмая книги трактата, в которых содержится фрагментарная попытка, о которой идет речь, первоначально занимали то место, на котором они сейчас находятся в наших рукописях, можно было бы предположить, что труды Аристотеля были прерваны смертью. Однако современная критика показала, что они должны следовать сразу после первых трех книг, и что автор прервался почти в самом начале своего идеального полиса, чтобы заняться гораздо более приятным делом - анализом и критикой реально существующих эллинских конституций. Но и то небольшое, что он сделал, доказывает, что он был глубоко неприспособлен к задаче практического реформатора. Те немногие реальные рекомендации, которые в нем содержатся, представляют собой компромисс - в некотором роде в духе "Законов" Платона - между "Республикой" и реальной жизнью. Остальное - это то, что он не перестает давать нам - массу подробностей о фактах, резюме его спекулятивной этики, а также советы умеренности в духе его практической этики; но ни одного практического принципа, представляющего какую-либо ценность, ни одного замечания, которое показало бы, что он понимает, в каком направлении движется история, или что он освоил элементы социальной реформы, изложенные в работах Платона. Постепенная специализация политических функций; необходимость духовной власти; создание обученной постоянной армии; допуск женщин к государственной службе; возвышение всей расы путем искусственного отбора; радикальная реформа религии; восстановление образования, как литературного, так и научного; перераспределение собственности; принятие нового кодекса; использование общественного мнения в качестве инструмента морализации - вот идеи, которые до сих пор будоражат умы людей, и это также идеи

"Республики", "Государственника" и "Законов". Аристотель же занимается в основном тем, что обсуждает, на каком расстоянии от моря следует строить город, нужно ли его укреплять; как *не* следует нанимать граждан; когда *не следует* жениться; что *не следует* разрешать детям видеть и какой музыке их *не следует* учить. Кроме увлечения философией, в нем нет ничего великодушного, ничего масштабного, ничего вдохновляющего. Территория города должна быть самодостаточной, чтобы его можно было изолировать от других государств; горожане должны держаться в стороне от всех промышленных занятий; наука ставится вне связи с материальным благосостоянием человечества. Короче говоря, это должен был быть город, где каждый джентльмен должен был проводить время в праздном общении; город, где Аристотель мог бы жить без помех и наслаждаться дружескими отношениями; так же как Бог его системы был еще более высоким Аристотелем, вечно занятым изучением формальной логики.

Даже в своей любимой критике реально существующих типов правления наш философ проявляет практическую слабость и колебания характера. Для всех них найдется хорошее слово - для монархии, для аристократии, для правления среднего класса и даже для чистой демократии¹⁸³. Пятая книга, посвященная политическим революциям, несомненно, самая талантливая и интересная во всем произведении; но когда Аристотель переходит от естественной истории к практическим предложениям, чтобы устранить указанные опасности, он не может придумать ничего лучшего, чем старый совет быть умеренным, даже если конституции, которые умеренность должна сохранить, по своей природе настолько чрезмерны, что их корректировка и уравнивание были бы равносильны их разрушению. По сути, предложения Аристотеля сводятся к следующему: там, где идеальная аристократия образования неосуществима, должно быть установлено правительство среднего класса; или же правительство, в котором классовые интересы богатых и бедных должны быть так хорошо сбалансированы, чтобы исключить опасность олигархической или демократической несправедливости. Его ошибка заключалась в том, что он не понимал, что единственным возможным средством обеспечения такой счастливой середины было прорвать узкий круг греческой городской жизни; продолжить процесс, который объединил семьи в деревни, а деревни в города; объединить группы городов в более крупные государства; и таким образом, добившись среднего уровня неравенства, свести к минимуму риск тех непрекращающихся революций, которые до сих пор обеспечивали временный триумф различных фракций за счет их общих интересов. И в самом деле, спонтанный процесс агрегирования, который Аристотель не предвидел, только и сделал, что исправил те беды, которые он видел, но не мог придумать эффективных средств лечения, и в то же время породил новые беды, которые его диагноз, естественно, не принимал во внимание.

Но если это так, то из этого следует, что апелляция мистера Эдвина Уоллеса к Аристотелю как к авторитету, с которым стоит посоветоваться по поводу наших современных социальных проблем, не может быть поддержана. Возьмем вопрос, процитированный самим мистером Уоллесом: "Является ли государство простым объединением для сохранения товаров и собственности или моральным организмом, развивающим идею права? Аристотель, безусловно, придерживался очень сильного мнения в пользу государственного вмешательства в образование и частную мораль, если это то, что подразумевает вторая альтернатива; но следует ли из этого, что он согласился бы с теми, кто выступает за подобный надзор в настоящее время? Ни в коем случае; потому что опыт показывает, что в огромных индустриальных обществах, подобных нашему, защита сопряжена с трудностями и опасностями, которые он не мог предвидеть в большей степени, чем открытия, на которых основана наша физическая наука. Или, возвращаясь на мгновение к этике, давайте рассмотрим еще одну проблему мистера Уоллеса: "Влечет ли интеллектуальный прогресс

также и моральный?". Какой свет на это может бросить разоблачение Аристотелем бессилия правильного знания сделать человека добродетельным, когда такие писатели, как Бакл, перенесли весь вопрос с конкретной на общую почву; с поведения отдельных людей на поведение людей, действующих в больших массах и в течение огромных периодов времени? Или, наконец, возьмем вопрос, который образует точку пересечения между этикой Аристотеля и его политикой: "Является ли высшая жизнь жизнью мысли или жизнью действия?". Какое значение имеет его решение для нас, которые уделяют гораздо больше внимания социальным, чем индивидуальным последствиям действий; которые научились принимать во внимание эмоциональный элемент счастья, которым пренебрегал Аристотель; на которых не влияет его призыв к блаженному теоретизированию о богах, в которых мы не верим; для которых, наконец, опыт полностью разрушил противоположность между знанием и практикой, показав, что умозрительные идеи могут произвести революцию во всей жизни? Аристотель представляет собой интересное историческое исследование; но мы так же далеко ушли от него в социальной, как и в физической науке.

IV.

Обратившись к "Риторике" Аристотеля, мы обнаруживаем, что с практической точки зрения его неудача здесь, если это возможно, еще более полна. Этот трактат содержит, как мы уже заметили, огромную массу более или менее ценной информации по психологии, этике и диалектике, но дает крайне мало советов о самой сути риторики как искусства, которая заключается в том, чтобы сказать все, что хочешь сказать, наиболее красноречивым образом, с помощью расположения тем и аргументов, использования иллюстраций и выбора языка; и это немного можно найти в третьей книге, подлинность которой вызывает серьезные подозрения. Можно сомневаться, что изучение правил Аристотеля принесло хоть малейшую пользу какому-либо оратору или критику ораторского искусства. Его сборники научных данных ничего не добавляют к нашим знаниям, а лишь превращают обычный опыт в абстрактные формулы; и даже как свод памяток они были бы бесполезны, поскольку никакая память не могла бы их вместить, а если бы кто-то и мог их запомнить, то у него хватило бы ума не нуждаться в них.¹⁸⁴ Профессиональные учителя, которых Аристотель так презирал, похоже, следовали гораздо более эффективному методу, чем его; они давали своим ученикам готовые речи для анализа и заучивания наизусть, справедливо полагаясь на инстинкт подражания, чтобы сделать все остальное. Он сравнивает их с мастером, который должен научить своих подмастерьев делать обувь, снабжая их большим разнообразием готовых пар. Но это был бы гораздо лучший план, чем прочитать им подробную лекцию по анатомии стопы с полным перечислением ее костей, мышц, сухожилий, нервов и кровеносных сосудов, что является наиболее подходящей параллелью к его системе обучения.

В "Поэтике" Аристотеля содержатся некоторые намеки на тему композиции, которые дают право упомянуть ее в данной связи. Недостатки, даже с чисто теоретической точки зрения, этого труда, некогда считавшегося непогрешимым, наконец стали настолько очевидны, что были построены сложные гипотезы, согласно которым дошедшее до нас переложение является лишь искаженным отрывком из оригинального трактата. Однако и этого достаточно, чтобы убедить нас в том, что поэзия была не более, чем красноречие, предметом, с которым Аристотель был способен справиться. Он начинает с того, что определяет ее, как и все другие искусства, как подражание. Здесь мы сразу же узнаем дух философии, вся сила и интерес которой заключались в знании; и, по сути, он говорит нам, что любовь к искусству проистекает из любви к знанию. Но истина, по-видимому, заключается в том, что эстетическое наслаждение обусловлено идеальным использованием

наших способностей, к которым иногда, хотя и не всегда, относится способность воспринимать тождества. То, что материалы, из которых состоит каждое художественное творение, взяты из мира нашего опыта, не имеет никакого значения; ведь нас интересуют именно новые формы, в которые они организованы, а не потому, что мы помним, что уже встречали их в каком-то естественном сочетании. Аристотель не мог не видеть, что это верно, по крайней мере, в случае с музыкой; и он может спасти свой принцип, только рассматривая музыкальные эффекты как репрезентации страстей в душе. Однако сказать, что музыкальное удовольствие возникает от восприятия сходства между определенными звуками и эмоциями, с которыми они ассоциируются, было бы крайне принудительным толкованием; удовольствие скорее обусловлено сочувственным участием в самой эмоции. И когда Аристотель далее говорит нам, что персонажи, которым подражают в эпической и драматической поэзии, могут быть либо лучше, либо хуже, чем в обычной жизни, он, очевидно, допускает другие эстетические мотивы, не учитываемые его общей теорией. Если, с другой стороны, мы начнем с идеального возбуждения как секрета эстетических эмоций, мы легко поймем, как воображаемое возвышение наших способностей происходит при виде того, что что-то либо поднимается выше, либо опускается ниже уровня, на котором мы стоим. В первом случае мы на мгновение обретаем силу, приведенную в действие на наших глазах; в другом - сознание собственного превосходства равносильно фонду резервных сил, которые, не будучи пущены в ход, полностью доступны для идеального наслаждения. И если это правильная точка зрения, то из нее следует, что Аристотель был совершенно неправ, когда объявил сюжет более важным, чем персонажи драмы. Причина, по которой он отдал предпочтение сюжету, даже с точки зрения принципов его собственной философии, неудачна. Он говорит, что может быть сюжет без прорисовки персонажей, но никогда не может быть прорисовки персонажей без сюжета. Однако в другом месте он учит нас, что человеческая душа имеет большую ценность, чем физический организм, от которого зависит ее существование. Именно эта параллель приходит ему в голову в "Поэтике"; но, по почти немыслимому просчету, именно сюжет он уподобляет душе произведения, тогда как на самом деле его следовало бы сравнивать с телом. Возможно, практика и предпочтения его собственного времени помогли ввести его в заблуждение, поскольку он утверждает (довольно непоследовательно, кстати), что сюжет должен быть более необходимым, поскольку молодые писатели способны построить хорошую историю, прежде чем они смогут изобразить характер; и более художественным, поскольку он был разработан намного позже в исторической эволюции трагедии. К счастью для нас, александрийские критики руководствовались другими канонами вкуса, иначе структурно неполноценные произведения Эсхила могли бы быть проигнорированы, а вместо них сохранены гениально построенные произведения Агатона.

Вероятно, однако, что пристрастие Аристотеля было обусловлено скорее систематизирующим и аналитическим характером его собственного гения, чем общественным мнением его эпохи; или, скорее, одна и та же тенденция действовала в философии и в искусстве одновременно, и теории одного бессознательно подстраивались под произведения другого. В обоих случаях наблюдался упадок проникновения и оригинальности, жизни и вдохновения; в обоих случаях происходило большое развитие того, что можно было получить благодаря техническому мастерству; в обоих случаях происходило расширение поверхности за счет глубины, приобретение беглости и потеря силы. Но поэзия потеряла от этой перемены гораздо больше, чем философия, и поэтому произведения одной из них погибли, а произведения другой сохранились.

Современная литература предлагает богатый материал для проверки теории Аристотеля, и подавляющее большинство критиков высказалось против нее. Даже среди достаточно

образованных читателей мало кто предпочтет "Этурди" Мольера его "Мизантропу", или "Марию Стюарт" Шиллера "Фаусту" Гете, или "Лукрецию" лорда Литтона "Ромоле" Джорджа Элиота, или "Повесть о двух городах" Диккенса "Николасу Никльби" того же писателя, или "Большие надежды" его "Дэвиду Копперфильду", хотя в каждом случае произведение, названное первым, имеет лучший сюжет из двух.

Персонажи, таким образом, вводятся не для того, чтобы они совершали действия; но действия представлены ради персонажей, которые их совершают или страдают от них. Нас интересует не столько призрачное явление или убийство, сколько тот факт, что призрак явился Гамлету, а убийство совершил Макбет. То же самое можно сказать и о греческой драме, хотя, возможно, и не в такой степени. Мы можем переживать за Эдипа в основном из-за его приключений; но нас гораздо больше волнует то, что говорят о себе Прометей или Клитемнестра, Антигона или Аякс, чем то, как они страдают или что они делают. Таким образом, и только таким образом, мы можем понять трагический элемент в поэзии - получение удовольствия от зрелища боли. Это не удовлетворение, вызванное искусной имитацией реальности, ведь мало кто видел в реальной жизни такие ужасные события, как на сцене; не боль как таковая интересует нас, ведь сцены пыток, представленные на некоторых испанских и болонских картинах, не доставляют удовольствия, они вызывают отвращение и негодование у образованного вкуса. Истинное трагическое чувство вызывают не сами страдания, а реакция персонажей на них, ибо это дает больше, чем что-либо другое, представление о силе, с которой мы можем объединиться, поскольку она чисто психическая; или беспомощная покорность жертв, которым мы хотим помочь, потому что они милы, и которых мы любим еще больше из-за нашей неспособности помочь им, через превращение задержанного действия в чувство, сопровождаемое наслаждением, свойственным нежным эмоциям. Отсюда особая важность женских ролей в драматической поэзии. Аристотель говорит нам, что изображать женщин благороднее и храбрее мужчин - плохое искусство, потому что в действительности они таковыми не являются.¹⁸⁵ Тем не менее, он должен был заметить, что на трагической сцене Афин женщины сначала соперничали с мужчинами, затем сравнивались с ними и, наконец, намного превзошли их в возвышенности характера.¹⁸⁶ Но со своей философией он не мог понять, что если героини не существуют, то их необходимо создать. Ибо, если женщины вообще задуманы как реакция на внешние обстоятельства, сама их беспомощность приведет к накоплению большего психического напряжения в виде возбужденных мыслей и чувств, лишенных возможности проявляться иначе, чем в словах; и именно с этим психическим напряжением зритель может легче всего взаимодействовать. Гнев Ореста неинтересен, потому что он целиком поглощен подготовкой и осуществлением своей мести. Страсть Электры глубоко интересна, потому что не имеет выхода, кроме бессильных обличений своих угнетателей и неудачных планов освобождения от их ига. Таким образом, Шекспир производит некоторые из своих величайших эффектов, ставя своих героев-мужчин в той или иной степени в положение женщин, либо из-за природной слабости и нерешительности, как у Гамлета, Брута и Макбета, либо из-за паралича, вызванного недоказанными подозрениями, как у Отелло; В то время как величайшая из его героинь, леди Макбет, стала таковой потому, что у нее хватило ума и воли, чтобы сформулировать решения бесстрашных амбиций, и красноречия, чтобы навязать их своему мужу, но не хватило ни физических, ни моральных сил, чтобы выполнить их самой. Во всех этих случаях именно остановка электрического тока производит наиболее интенсивное тепло или наиболее яркое освещение. Кроме того, благодаря своей чрезвычайной чувствительности и естественному желанию помочь им, женщины вызывают больше жалости, что, как мы уже говорили, означает больше любви, чем мужчины; и это в высшей степени, когда их страдания незаслуженны. Итак, мы видим, как далеко зашел Аристотель, когда установил правило, что страдания трагических персонажей должны быть частично

вызваны их собственной виной, и что, говоря в целом, они не должны отличаться ни справедливостью, ни добродетелью, ни крайним пороком. ¹⁸⁷ "Неумеренная сдержанность" Стагирита никогда не была выставлена в более неприглядном виде. Ведь для того, чтобы произвести подлинно трагический эффект, не только можно, но и нужно прибегать к излишествам любого рода. Именно реакция героической стойкости, либо против незаслуженного возмущения, либо против всего давления социальных законов, возбуждает наш синергетический интерес до самого сильного напряжения. Именно когда мы видим, как прекрасная душа воздает злом за добро, наши глаза наполняются самыми благородными слезами. Однако аристотелевские сентенции настолько извратили умы людей, что Гервинус, великий критик Шекспира, пытается доказать, что Дункан в какой-то степени заслужил свою судьбу, неосмотрительно доверившись гостеприимству Макбета; что Дездемона была очень неосмотрительна, заступившись за Кассию; и что Корделия поступила предательски, приведя французскую армию в Англию! Греческая драма могла бы дать Аристотелю несколько решительных опровержений его канонов. Он должен был увидеть, что "Прометей", "Антигона" и "Ипполит" воздействуют пропорционально выдающимся добродетелям их главных героев. Дальнейшее заблуждение об исключении очень виновных персонажей, конечно, наиболее решительно опровергнуто Шекспиром, чей Ричард III, чей Яго и чей Макбет вызывают живой интерес своей связью необыкновенного злодейства с необыкновенными интеллектуальными дарованиями.

Пока что Аристотель дает нам чисто поверхностный и сенсационный взгляд на драму. Однако он не мог не видеть, что в трагедии есть нравственный элемент, и стремился, в отличие от Платона, показать, что она оказывает улучшающее воздействие на зрителей. Результатом стала его знаменитая теория катарсиса, которую так долго не понимали и не понимают до сих пор. Цель трагедии, говорит он, состоит в том, чтобы очистить (или убрать) жалость и ужас с помощью самих этих эмоций. По-видимому, "Поэтика" первоначально содержала объяснение этого загадочного изречения, которое теперь утрачено, и критики попытались восполнить пробел, написав восемьдесят трактатов на эту тему. В результате удалось, по крайней мере, показать, что Аристотель не имел в виду. Популярная версия его сентенции, согласно которой трагедия очищает страсти жалостью и ужасом, явно не соответствует формулировке оригинального текста. Жалость и ужас - это и объект, и инструмент очищения. Он также не имеет в виду, как предполагалось ранее, , что каждая из этих эмоций должна уравнивать и сдерживать другую; ведь это означало бы, что они противоположны друг другу, тогда как в "Риторике" он говорит о них как о родственниках; а параллельный отрывок в "[Политике](#)" ¹⁸⁸ показывает, что он считал, что страсти поддаются гомеопатическому лечению. Бурный энтузиазм, говорит он нам, можно успокоить и унять с помощью возбуждающей, бесстрастной музыки. Но откуда берутся жалость и ужас, с которыми должна бороться трагическая поэзия? Очевидно, не из самого произведения, ибо прививать пациенту новую болезнь только ради того, чтобы вылечить его, не принесет ему никакой мыслимой пользы. Судя по уже упоминавшемуся отрывку из "Политики", он считает, что жалость и ужас в той или иной степени всегда присутствуют в сознании каждого человека; и теория, очевидно, заключается в том, что трагедия выводит их на поверхность и позволяет сбросить с себя под аккомпанемент приятных чувств. Конечно, мы постоянно способны испытывать все страсти, которым подвержена человеческая природа; но утверждать, что в отсутствие соответствующего внешнего стимула мы всегда ощутимо и болезненно страдаем от любой страсти, значит утверждать то, что не соответствует действительности для любого здравого ума. И даже если бы это было так, если бы нас постоянно преследовали смутные предчувствия зла себе или другим, то совершенно не очевидно, что вымышленные представления о бедствиях были бы подходящим средством, позволяющим нам избавиться от них. Целлер объясняет, что именно понимание

универсальных законов, управляющих нашей судьбой, ассоциация несчастья с божественной справедливостью, согласно Аристотелю, производит очищающий эффект¹⁸⁹; но это было бы очищением жалости и ужаса не самих по себе, а благодаря интеллектуальным рамкам, в которые они помещены, совокупности событий, работе характера или отсылке всего к вечной причине. Правда в том, что объяснение Аристотелем морального эффекта, производимого трагедией, иррационально, потому что вся его концепция трагедии ошибочна. Эмоции, возбуждаемые ее высшими формами, - это не ужас и жалость, а восхищение и любовь, которые в своем идеальном проявлении слишком святы для очищения, слишком высоки для ограничения и слишком восхитительны для облегчения.

Прежде чем расстаться с "Поэтикой", мы должны добавить, что в ней содержится один прекрасный совет драматургам, который заключается в том, чтобы представлять себя присутствующим при сценах, которые они предполагают, а также при представлении своей собственной пьесы. Это, однако, исключение, подтверждающее правило, поскольку исключительно теоретическая позиция Аристотеля здесь, как это иногда бывает, совпадает с подлинно практической.

Схожее наблюдение относится и к искусству рассуждения, которое можно было бы собрать воедино, собрав все правила по этому вопросу, разбросанные по "Органону". Аристотель открыл и сформулировал все каноны теоретической последовательности и все приемы диалектических дебатов с тщательностью и точностью, которые нельзя превозносить слишком высоко; его труды в этом направлении, возможно, внесли больший вклад, чем труды любого другого писателя, в интеллектуальное стимулирование последующих веков; но гений, необходимый для такой задачи, был скорее умозрительным, чем практическим; в нем не было опыта человеческой природы в ее конкретных проявлениях, не было предвидения реальных последствий. Такой кодекс мог быть, и, вероятно, в значительной степени был абстрагирован из платоновских диалогов; но для того, чтобы развить процессы мышления в серию драматических состязаний, проводимых между живыми людьми, как это сделал Платон, требовалось живое восприятие и понимание реальности, что, а не поэтический мистицизм, положительно отличает платоника от аристотелианца.¹⁹⁰

V.

Но если Аристотель не обладал энтузиазмом своего учителя в отношении практических реформ, не владел всеми силами, с помощью которых человечество поднимается к высшей жизни, то он обладал, даже в большей степени, чем его учитель, греческой страстью к знанию как таковому, помимо его утилитарного применения и охватывающему в своем огромном шаре самые низкие вещи с самыми высокими, самые фрагментарные проблески и самые большие откровения истины. Он не требовал ничего, кроме материалов для обобщения, и не было ничего, что он не мог бы обобщить. Для всего находилось место в пределах его всемирной системы. Никогда ни в одной человеческой душе страсть теоретизирования не горела таким ясным, ярким и чистым пламенем. Под ее вдохновением его стиль не раз прорывается в напряжение возвышенного, хотя и простого и грубого красноречия. Говоря о той вечной мысли, которая, по его мнению, составляет божественную сущность, он восклицает:

На этом принципе висят небеса и природа. Это та лучшая жизнь, которой мы обладаем лишь в течение короткого периода, ибо там она такова всегда, что с нами невозможно. И ее деятельность - чистое удовольствие; поэтому бодрствование,

чувство и мышление - самые приятные состояния, благодаря которым существуют надежда и память. И из всех видов деятельности теоретизирование - самый восхитительный и самый лучший, так что если Бог всегда имеет такое счастье, какое мы имеем в наши самые высокие моменты, то это прекрасно, и еще более прекрасно, если он имеет больше. [191](#)

И снова он говорит нам, что...

Если счастье состоит в соответствующем осуществлении наших жизненных функций, то высшее счастье должно быть результатом высшей деятельности, назовем ли мы это разумом или чем-либо еще, который является правящим и направляющим принципом внутри нас и благодаря которому мы формируем наши представления о благородном и божественном; и будь он внутренне божественным или только самым божественным в нас, его соответствующая деятельность должна быть совершенным счастьем. Эта деятельность, которую мы называем теоретической, должна быть самой могущественной; ведь разум верховен в нашей душе и верховен над объектами, которые он познает; кроме того, она самая непрерывная, ведь из всех видов деятельности теоретизирование - это тот, который может продолжаться наиболее непрерывно. Кроме того, мы считаем, что к счастью должно примешиваться некоторое удовольствие; если это так, то из всех наших занятий философия, по общему признанию, является самым приятным, ибо наслаждения, доставляемые ею, удивительно чисты и устойчивы; ведь существование тех, кто владеет знанием, естественно, более восхитительно, чем существование тех, кто просто ищет его. Из всех добродетелей эта - самая самодостаточная; ведь хотя, как и любая другая добродетель, она предполагает наличие необходимых условий жизни, мудрость, подобно справедливости, умеренности и мужеству, не нуждается в человеческих объектах для своего осуществления; теоретизирование может продолжаться в совершенном одиночестве, ибо сотрудничество других людей, хотя и полезно, не является абсолютно необходимым для ее деятельности. Все другие занятия осуществляются ради какой-то цели, лежащей вне их самих; война - исключительно ради мира, государственная деятельность - в значительной степени ради чести и власти; но теоретизирование не приносит никакой посторонней выгоды, ни большой, ни малой, и любимо только ради самого себя. Если же энергия чистого разума возвышается над такими благородными занятиями, как война и государственная деятельность, своей независимостью, присущей ей восхитительностью и, насколько позволяет человеческая слабость, своей неустанной энергией, то это должно составлять совершенное человеческое счастье; или, скорее, такая жизнь больше, чем человеческая, и человек может приобщиться к ней только через божественный принцип внутри него; Поэтому не будем слушать тех, кто говорит нам, что у нас не должно быть никаких интересов, кроме человеческих и смертных, как мы сами; но, насколько это возможно, облекитесь в бессмертие и направьте все наши усилия на то, чтобы жить в соответствии с тем элементом нашей природы, который, хотя и мал по объему, но по силе и ценности является высшим. [192](#)

Давайте посмотрим, как он переносит этот страстный энтузиазм познания на самые скромные исследования в зоологии: - Среди природных объектов некоторые существуют до сих пор.

Среди природных объектов одни существуют неизменными на протяжении всей вечности, а другие возникают и разрушаются. Первые божественно славны, но,

будучи сравнительно недоступными для наших средств наблюдения, о них известно гораздо меньше, чем нам хотелось бы; в то время как скоропортящиеся растения и животные предоставляют богатые возможности для изучения нам, живущим в одних с ними условиях. В каждой науке есть своя прелесть. Ведь знание о небесных телах настолько возвышенно, что даже малое его количество восхитительнее всех земных наук, вместе взятых; так же как малейший проблеск любимой красоты восхитительнее самого полного и близкого раскрытия обычных предметов; с другой стороны, там, где есть больше возможностей для наблюдения, наука может быть продвинута гораздо дальше; и наше более близкое родство с земными созданиями является некоторой компенсацией за интерес, испытываемый к той философии, которая имеет дело с божественным. Поэтому в наших рассуждениях о живых существах мы, насколько это возможно, не будем обходить вниманием ничего, независимо от того, высокое или низкое место оно занимает в шкале оценок. Ведь даже те из них, которые не нравятся чувствам, при взгляде на них глазами разума как на прекрасные творения природы доставляют невыразимое удовольствие тем, кто способен философски вникнуть в причины вещей. Ведь, конечно, было бы абсурдно и нерационально смотреть с восторгом на изображения таких объектов из-за нашего интереса к живописному или пластическому мастерству, которое они демонстрируют, и не получать еще большего удовольствия от научного объяснения самих реалий. Мы не должны с детским отвращением рассматривать низших животных, ибо во всех творениях природы есть нечто прекрасное; и мы можем повторить слова Гераклита, сказанные им неким незнакомцем, которые пришли навестить его, но задержались у дверей, увидев, что он греется у огня, и велели им смело входить, ибо и там есть боги; не позволяя себе называть какое-либо существо обычным или нечистым, ибо во всех них есть некая естественная красота. Ибо, если где-либо, то в творениях природы есть всепроникающая цель, а осуществление этой цели и есть красота вещи. Но если кто-то с презрением смотрит на научное изучение низших животных, он должен быть такого же мнения о себе; ведь самое большое отвращение вызывает взгляд на части, из которых состоит человеческое тело, такие как кровь, мышцы, кости, вены и тому подобное¹⁹³. Точно так же, обсуждая любую часть или орган, мы должны учитывать, что нам важна не материя, из которой он состоит, а вся форма; точно так же, как, говоря о доме, мы имеем в виду не кирпичи, раствор и дерево; так и теория природы имеет дело с существенной структурой объектов, а не с элементами, которые, помимо этой структуры, вообще не имели бы существования¹⁹⁴.

Для репутации Аристотеля хорошо, что он мог с такой преданностью заниматься трудными и, в его время, бесславными исследованиями естественной истории и сравнительной анатомии, поскольку только в этих областях он внес реальный вклад в физическую науку. В исследованиях, которые были для него самыми благородными и увлекательными из всех, его рассуждения представляют собой длинную запись изнурительных, безнадежных, безоговорочных заблуждений. Если в философии практики и философии искусства он вообще не давал никаких реальных указаний, то в философии природы его указания всегда приводили людей к фатальному заблуждению. Насколько простирались его средства наблюдения, не было ничего, что он не пытался бы объяснить, и в каждом отдельном случае он ошибался. Он писал об общих законах материи и движения, астрономии, химии, метеорологии и физиологии, в результате чего, вероятно, совершил больше ошибок в этих вопросах, чем любой человек до или после него. И если что и поражает больше, чем его

бесперывные неверные рассуждения, так это невозмутимая самоуверенность, с которой он выставляет свои заблуждения как доказанные научные истины. Если бы он был прав, ему были бы предоставлены не "легкие и частичные проблески возлюбленной", а "самое полное и близкое раскрытие" ее красот. Но чем больше он смотрел, тем меньше видел. Вместо того чтобы отвести в сторону, он лишь сгустил и затемнил завесу чувств, скрывавшую ее, приняв ее за великолепные формы, скрывавшиеся под ней.

Современные поклонники Аристотеля стараются доказать, что его ошибки были неизбежны и относились скорее к его эпохе, чем к нему самому; что без механических приспособлений современности наука не могла бы развиваться с надеждой на успех. Но что мы можем сказать, когда обнаруживаем, что одно за другим истинные объяснения уже были предположены предшественниками или современниками Аристотеля, но были с презрением отвергнуты самим Аристотелем? Возможно, их гипотезы часто были очень несовершенны и подкреплены недостаточными доказательствами, но должно было быть нечто большее, чем случайность, которая всегда приводила его к ошибке, когда они так часто оказывались правы. Начнем с того, что бесконечность пространства не установлена и никогда не будет установлена с помощью усовершенствованных инструментов наблюдения и измерения; она выводится с помощью очень простого процесса рассуждения, на который Демокрит и другие были способны, а Аристотель, очевидно, нет. Он отвергает эту идею, потому что она не согласуется с некоторыми весьма произвольными предположениями и определениями его самого, тогда как он должен был отвергнуть их, потому что они были несовместимы с ней. Далее он отвергает идею вакуума, а вместе с ней и атомную теорию, полностью на *априорных* основаниях, хотя даже при существовавшем тогда уровне знаний атомизм совершенно рационально объяснял различные явления, которые он мог объяснить только бессмысленными или вздорными фразами.¹⁹⁵ Уже в его время утверждалось, что видимые движения небесных тел обусловлены вращением Земли вокруг собственной оси.¹⁹⁶ Если бы Аристотель принял эту теорию, можно представить, как высоко превозносилась бы его проницательность. Поэтому мы можем справедливо считать, что он отверг ее как доказательство слепой приверженности старомодным мнениям. Когда он утверждает, что ни одно из небесных тел не вращается, потому что мы видим, что Луна не вращается, как это видно из того, что она всегда поворачивается к нам одной и той же *стороной*¹⁹⁷, не требуется ничего, кроме простейшей математики, чтобы продемонстрировать ошибочность его рассуждений. Другие предполагали, что Млечный Путь - это скопление звезд, а кометы - тела той же природы, что и планеты. Аристотель пришел к выводу, что и то, и другое - явления, подобные метеорам и бореальным аврорам, вызванные трением нашей атмосферы о твердый эфир над ней. Аналогичное происхождение приписывается теплу и свету, исходящим от солнца и звезд; ведь было бы унижительно для достоинства этих светил полагать вместе с Анаксагором, что они образованы из чего-то столь привычного и бренного, как огонь. Напротив, они состоят из чистого эфира, как и сферы, на которых они закреплены в виде выступов; хотя, как такое расположение может сосуществовать с абсолютным контактом между каждой сферой и следующей за ней, или как эффект трения может передаваться через такие огромные толщины твердого кристалла, остается необъясненным.¹⁹⁸ Счастливо предвосхищая Рёмера, Эмпедокл предположил, что передача света занимает определенное время: Аристотель объявляет его мгновенным.¹⁹⁹

Переходя к земной физике, мы обнаруживаем, что Аристотель, как обычно, оказывается обманутым поверхностной видимостью, против которой другие мыслители были начеку. Видя, что огонь всегда движется вверх, он предположил, что это происходит в силу естественной тенденции к окружности Вселенной, в отличие от Земли, которая всегда движется к центру. Атомисты ошибочно полагали, что вся материя тяготеет вниз через

бесконечное пространство, но правильно объясняли восхождение нагретых частиц давлением окружающей материи, в соответствии, скорее всего, с аналогией плавающих тел.²⁰⁰ Химия как наука, конечно, является полностью современным творением, но первый подход к ней был сделан Демокритом, в то время как ни один древний философ не стоял дальше от ее основных принципов, чем Аристотель. Он анализирует тела не по их материальным элементам, а по чувственным качествам, горячим и холодным, влажным и сухим, между которыми, по его мнению, основная субстанция находится в вечном колебании; теория, которая, если бы она была верна, сделала бы невозможными любые фиксированные законы природы.

Можно было ожидать, что, дойдя до физиологии, Стагирит будет стоять на более твердой почве, чем любой из его современников. Однако это не так. Как уже отмечалось, его достижения полностью относятся к области анатомии и описательной зоологии. Вся внутренняя экономика животного организма, по его мнению, предназначена для создания и умерения жизненного тепла; и в распределении их функций между различными органами он полностью подчиняется этой фундаментальной ошибке. Среди греков было распространено представление, вытекающее из достаточно очевидных соображений, что мозг является местом психической деятельности. Однако Аристотель переносит их в сердце, которое в его системе не только движет кровь по телу, но и является источником тепла, общим центром, где встречаются для сравнения различные особые ощущения, а также органом воображения и страсти. Единственная функция мозга - охлаждать кровь, для чего служат и легкие. Некоторые считают, что воздух - это своего рода пища, которую вдыхают, чтобы питать внутренний огонь; но из их теории вытекает абсурдное следствие, что все животные дышат, так как все они имеют некоторое количество тепла. Анаксагор и Диоген действительно делали такое утверждение, а последний даже зашел так далеко, что сказал, будто рыбы дышат жабрами, поглощая воздух, удерживаемый в растворе проходящей через них водой, - заблуждение, говорит Аристотель, возникшее из-за того, что он не изучил конечную причину дыхания.²⁰¹ Его физиологическая теория порождения столь же неудачна. В соответствии со своей метафизической системой, которая будет объяснена далее, он выделяет два элемента в репродуктивном процессе, из которых один, вносимый самцом, является исключительно формирующим, а другой, вносимый самкой, - исключительно материальным. Преобладало, очевидно, то мнение, которое мы знаем сейчас, - что каждый из родителей имеет как формирующую, так и материальную долю в составе эмбриона. Опять же, Аристотель, как ни странно, рассматривает генеративный элемент у обоих полов как неприсвоенную часть питания животного, последний и самый изысканный продукт пищеварения, и, следовательно, не часть родительской системы вообще; в то время как другие биологи, предвосхищая теорию Дарвина, считают, что в зародыше есть только материал. Дарвина в теории пангенезиса, говорили, что сперма - это поток молекул, полученных из всех частей тела, и таким образом пытались объяснить наследственную передачу индивидуальных особенностей [потомству](#)²⁰².

Однако все это лишь детали. Именно в вопросах глубочайшей философской важности Аристотель наиболее сознательно, наиболее радикально и наиболее фатально отличается от своих предшественников. Они были эволюционистами, а он - стационаристом. Они были механицистами, а он - телеологом. Они были униформистами, а он - дуалистом. Правда, как мы уже упоминали в начале этой главы, мистер Эдвин Уоллес заставляет его "признать генезис вещей путем эволюции и развития", но смысл этой фразы требует прояснения. В одном смысле это, конечно, почти идентичное предложение. Генезис вещей должен быть генезисом того или иного рода. Главный вопрос заключается в том, какие вещи были эволюционированы и как они были эволюционированы? Современная наука говорит нам,

что не только все конкретные агрегаты материи и движения, существующие в настоящее время, появились в течение ограниченного периода времени, но и что конкретные типы, под которыми мы понимаем эти агрегаты, также были созданы; и что их характеристики, структурные или функциональные, могут быть поняты только путем прослеживания их происхождения и истории. Кроме того, он учит нас, что свойства каждого агрегата вытекают из свойств его конечных элементов, которые в пределах нашего опыта остаются абсолютно неизменными. Аристотель же учил почти противоположному. Он считал, что космос, каким мы его знаем сейчас, существовал и будет существовать неизменным на протяжении всей вечности. Солнце, луна, планеты и звезды, а также содержащие их шары состоят из абсолютно невоспроизводимой, нетленной субстанции. Земля, холодная, тяжелая, твердая сфера, хотя и подвержена поверхностным изменениям, всегда занимала свое нынешнее положение в центре Вселенной. Конкретные формы животного мира - за исключением некоторых, возникающих спонтанно, - точно так же сохранялись неизменными на протяжении бесконечной череды поколений. Человек разделяет общий жребий. Не существует непрерывного прогресса цивилизации. Каждое изобретение и открытие было сделано и потеряно бесконечное число раз. Наш философ, конечно, не может отрицать, что отдельные живые существа появляются на свет и постепенно вырастают до зрелости; но он настаивает на том, что их формирование телеологически обусловлено родительским типом, который они стремятся реализовать. Он спрашивает, должны ли мы изучать вещь, исследуя, как она растет, или исследуя ее завершённую форму: и мистер Уоллес цитирует этот вопрос, не приводя ответа.²⁰³ Аристотель говорит нам, что генетический метод использовали его предшественники, но другой метод - его. И далее он порицает Эмпедокла за то, что тот утверждал, будто многие вещи в животном организме обусловлены просто механической причиной; например, сегментированное строение позвоночника, которое этот философ объясняет постоянным удвоением и скручиванием - то самое объяснение, которое, как мы полагаем, дал бы ему современный [эволюционист](#)²⁰⁴. Наконец, Аристотель допускает единственный вид превращения, который мы отрицаем и который в равной степени отрицал Демокрит, - а именно превращение конечных элементов друг в друга путем колебания неопределенной материи между противоположными качествами.

VI.

Истина заключается в том, что, хотя наш философ обладал одним из самых мощных интеллектов, которым когда-либо обладал любой человек, этот интеллект был строго ограничен поверхностью вещей. Он был совершенно неспособен разгадать скрытые силы, которые движут неорганической природой, жизнью и человеческим обществом. Он не обладал ни гением, способным восстановить прошлое, ни гением, который частично формирует, частично предсказывает будущее. Но где бы ему ни приходилось наблюдать или сообщать, перечислять или анализировать, описывать или определять, классифицировать или сравнивать; и что бы ни было предметом исследования - моллюск или млекопитающее, мышь или слон, строение и повадки диких животных, различные стадии развития эмбриона птицы; вариации одного органа или функции во всем зоологическом ряду; иерархия интеллектуальных способностей; законы умственной ассоциации; особые типы добродетельного характера; отношение справедливости к закону; отношение разума к импульсу; идеалы дружбы; различные члены семьи; различные порядки в государстве; возможные вариации политических конституций или в рамках одной и той же конституции; элементы драматической или эпической поэзии; способы предикации; принципы определения, классификации, суждения и рассуждения; различные системы философии;

все виды страстей, все мотивы действий, все источники убеждений; -здесь мы находим огромное накопление знаний, неустанное терпение исследований, широту понимания, тонкость дискриминации, точность изложения, беспристрастность решений и всепоглощающий энтузиазм к науке, которые если и не возносят его на высшую ступень творческого гения, то дают ему право занимать место немногим ниже ее.

Естественно, что тот, кто с таким совершенством владел всем миром видимой реальности, не верил ни в какую другую реальность; что для него истина должна была означать только систематизацию чувства и языка, мнения и мысли. Видимый порядок природы представлял перед его воображением в такой точной определенности и полноте деталей, что противостоял любым его попыткам представить его в иной форме. Каждое его заключение подкреплялось аналогиями из всех других областей знания, потому что он носил с собой ограничения, свойственные его мыслительному аппарату, куда бы он ни обращался, и бессознательно подгонял каждый предмет под рамки, которые они накладывали. Четкость его идей требовала использования резко очерченных различий, что препятствовало свободной игре обобщений и плодотворному обмену принципами между различными науками. И у нас еще будет повод показать, что, когда он пытался объединить конкурирующие теории, это делалось путем их сопоставления, а не взаимопроникновения. Кроме того, при его живом восприятии он не мог поверить в обоснованность какого-либо метода, претендующего на то, чтобы заменить или даже дополнить их авторитет. Поэтому атомизм Демокрита вызывал у него едва ли меньшую неприязнь, чем скептицизм Протагора или идеализм Платона. Отсюда и его неприязнь ко всем объяснениям, предполагающим наличие скрытых процессов под поверхностью вещей, даже если брать поверхность в самом буквальном смысле. Так, обсуждая вопрос о том, почему море соленое, он не принимает теорию о том, что реки растворяют соль в пластах, через которые они проходят, и несут ее в море, потому что речная вода пресная на вкус; вместо нее он выдвигает совершенно ложную гипотезу о сухом соленом испарении с поверхности земли, которое, как он полагает, разносится ветром по морю.²⁰⁵ Даже в его особой области естественной истории та же тенденция приводит его в заблуждение. Он утверждает, что паук сбрасывает свою паутину с поверхности тела, как кожу, а не развивает ее изнутри, как учил Демокрит²⁰⁶. Тот же мыслитель пытался доказать с помощью аналогии, что беспозвоночные животные должны иметь внутренности, и только их крайняя миниатюрность мешает нам их воспринимать; эту точку зрения не признает его преемник.²⁰⁷ В действительности, где бы ни пересекалась грань между видимым и невидимым, силы Аристотеля внезапно парализуются, как будто заколдованные.

Еще одним обстоятельством, побудившим Аристотеля пренебречь счастливым *apercus*'ом ранних философов, было его огромное превосходство над ними в позитивном знании. Ему не приходило в голову, что их проницательность может быть выше его, именно потому, что ее проявлению меньше мешал труд по приобретению и сохранению таких огромных масс не относящихся к делу фактов. И его уверенность еще более усиливалась благодаря убеждению, что все предыдущие системы вобраны в его собственную, их разрозненные истины скоординированы, их aberrации исправлены, а расхождения примирены. Но, выведя общее среднее между существующими философиями, он на самом деле возвращал их к той анонимной философии, которая воплощена в общем языке и общем мнении. И если впоследствии он управлял умами людей более деспотично, чем любой другой интеллектуальный мастер, то это потому, что он дал организованное выражение принципу авторитета, который, если бы мог, стереотипизировал и увековечил бы существующий тип цивилизации на все времена.

Итак, вот три основных момента, отличающих нашего философа от его предшественников, причем преимущество пока что полностью на их стороне. Он, подобно ионийским физиологам, не предвосхитил в общих чертах наши теории эволюции. Он считал, что космос всегда, по строгой необходимости, был устроен одинаково; звездные обороты никогда не менялись; четыре элемента сохраняли постоянный баланс; земля всегда была твердой; суша и вода всегда распределялись в соответствии с их нынешними пропорциями; живые виды передавали один и тот же неизменный тип через бесконечную череду поколений; человеческий род, живущий вечно, но время от времени теряющий все свои завоевания в результате какой-нибудь великой физической катастрофы и вынужденный начинать все сначала с удручающим сознанием того, что ничего нельзя придумать, что не было бы придумано уже бесконечное число раз; существующие различия между эллинами и варварами, господами и рабами, мужчинами и женщинами, основанные на вечных природных потребностях. Он, подобно Демокриту, не различал объективных и субъективных свойств материи, не признавал, что пустое пространство простирается до бесконечности вокруг звездной сферы и заполняет сотами те предметы, которые кажутся нашим чувствам наиболее несжимаемыми и непрерывными. Он не надеялся, подобно Сократу, на возрождение индивидуума, ни, подобно Платону, на возрождение расы с помощью просвещенной мысли. Казалось, что философия, отказавшись от своей высокой функции и преградив путь, который она открыла, теперь довольствуется систематизацией сил предрассудков, слепоты, неподвижности и отчаяния.

Ведь ограничения, в которых мыслил Аристотель, определялись не только его личностью; они вытекали из логического развития умозрения и наложались бы на любого другого мыслителя, в равной степени способного довести это развитие до заранее намеченной цели. Ионийские поиски первопричины и субстанции природы привели Парменида и Гераклита к почти одновременному, хотя и с противоположных точек зрения, различению видимости и реальности. Из этого различия возникла идея разума, организованная Сократом в систематическое исследование этики и диалектики. Время и пространство, необходимые условия физической причинности, были исключены из метода, имеющего своей формой вечные отношения различия и сходства, а своей материей - современные интересы человечества. Сократ учил, что прежде чем спрашивать, откуда берутся вещи, нужно сначала определить, что они собой представляют. Поэтому он свел науку к выработке точных определений. Платон пошел по тому же пути и отказывался отвечать на вопросы о чем бы то ни было, пока не будет четко определен предмет исследования. Но форма причинно-следственной связи настолько прочно завладела греческой мыслью, что ее не удалось сразу отбросить; и Платон, уделяя все больше внимания материальной вселенной, увидел, что вынужден, подобно древним философам, объяснять ее устройство, прослеживая историю ее роста. Что еще более важно, он применял тот же метод к этике и политике, находя, что проще описать, как появились различные добродетели и типы социальных союзов, чем анализировать и классифицировать их как неподвижные идеи без привязки ко времени. Опять же, взяв на вооружение элеатскую антитезу реальности и видимости и переосмыслив ее как различие между нуменом и феноменом, идеями и ощущениями, духом и материей, он был вынужден в силу необходимости объяснения и фактической ограниченности опыта ассимилировать эти два противоположных ряда или, по крайней мере, рассматривать мимолетные, поверхностные образы как отражение и адумбляж того бытия, которое они скрывают. И казалось, что из всех материальных объектов небесные тела с их упорядоченным, неизменным движением, чистым ярким светом и удаленностью от земных примесей лучше всего представляют собой идеал философа. Таким образом, Платон, с одной стороны, восходит к досократовской эпохе, а с другой - к аристотелевской системе.

Но и это было еще не все. В то время как мир чувств возвращался в моду, мир разума впадал в уныние. Как старая физическая философия была разложена софизмом Протагора и Горгия, так и диалектика Сократа была превращена в софистику Евбулида и Евтидема. Сам Платон обнаружил, что, рассуждая дедуктивно из чисто абстрактных предпосылок, можно с одинаковой силой утверждать противоречивые выводы. Трудно было понять, как можно прийти к решению, кроме как обратившись к свидетельству чувства. А реформа морали вряд ли могла быть осуществлена без аналогичного учета существующих верований и обычаев человечества.

Как нам кажется, можно проследить аналогичную эволюцию в истории аттической драмы. Трагедии Эсхила напоминают старую ионийскую философию тем, что наполнены материальными образами и затрагивают отдаленные интересы, отдаленные времена и отдаленные места. Софокл переносит действие в субъективную сферу и одновременно разрабатывает пронизывающий контраст между иллюзиями, которыми люди убаюкиваются в ложной безопасности или терзаются ненужными страданиями, и ужасной или утешительной реальностью, к которой они в конце концов пробуждаются. В его хорошо известной иронии, в бессознательном самопредательстве его героев мы также имеем ту тонкую мимолетную привлекательность скрытой истины, тот отблеск реальности сквозь видимость, который составляет сначала диалектику, затем мифическую иллюстрацию и, наконец, физику Платона. У Эсхила мы также видим зрелище внезапных и жестоких превратностей, унижение наглого процветания и наказание давно совершенного преступления; только у него персонажи, вызывающие наибольший интерес, - это не слепые жертвы, а соучастники или доверенные лица судьбы - великие фигуры Прометея, Дария, Этеокла, Клитемнестры и Кассандры, которые возвышаются над обычным уровнем и возвышаются там, где перед их взором раскрываются тайны прошлого и будущего. Совсем иначе обстоит дело с Софоклом. Главные действующие лица его наиболее характерных произведений - Эдип, Электра, Деянира, Аякс и Филоктет - окружены силами, которые они не могут ни контролировать, ни понять; двигаясь в мире иллюзий, они если и помогают вершить свои судьбы, то неосознанно, а то и прямо вопреки собственным замыслам.²⁰⁸ Таким образом, у Эсхила мы имеем нечто, подобное той превосходной уверенности в себе, которая отличает Парменида и Гераклита; у Софокла - то признание человеческого невежества, которое афинские философы делали от своего имени или пытались вытянуть из других. Еврипид знакомит нас с другим способом мышления, более близким к тому, который характерен для Аристотеля. Ибо, хотя в его трагедиях много тайны, она не имеет глубокого религиозного значения софокловской иронии; он использует ее скорее в романтических и сентиментальных целях, для построения запутанного сюжета или создания патетических ситуаций. Все его силы брошены на непосредственное и детальное изображение живой страсти и обстановки, в которой она проявляется, без углубления в ее исторические предшественники, как у Эсхила, или, как у Софокла, в божественные цели, которые лежат в ее основе. С другой стороны, поскольку греческий писатель не может не быть философом, он использует конкретные происшествия как повод для широких обобщений и диалектических дискуссий; именно они, а не идея справедливости или судьбы, являются пьедесталом, на который ставятся его фигуры. И можно отметить еще одно любопытное совпадение: как и Аристотель, он склонен критиковать своих предшественников или, по крайней мере, одного из них, Эсхила, с некоторой долей язвительности.

Критическая тенденция, о которой только что говорилось, предлагает еще одну причину, по которой философия из метода открытий превратилась, наконец, в метод описания и упорядочивания. Материалы, накопленные почти за три века наблюдений и рассуждений, были настолько огромны, что стали подавлять воображение. Если и оставалась возможность

для оригинальности, то она заключалась в том, чтобы навести порядок в этом хаосе, сведя его к нескольким общим главам, наметив всю область знаний и подвергнув каждую отдельную отрасль новоизобретенным процессам определения и классификации. А вместе с неспособностью к созданию новых теорий возникло желание уменьшить число уже существующих, создать, если возможно, систему, которая отбирала бы и объединяла все, что было хорошего в каждой из них или во всех.

VII.

Таким образом, революция, совершенная Аристотелем, заключалась в том, что он нашел греческую мысль в виде твердого тела и развернул ее в поверхность максимально возможной прочности, прозрачности и протяженности. Тем самым он завершил начатое Сократом и Платоном, повторил путь, уже описанный греческой поэзией, и дал первый пример того, что с тех пор не раз повторялось в истории философии. Именно таким образом остаточная субстанция Локка и Беркли была разрешена Юмом в феноменальную последовательность. Именно таким образом необъяснимая реальность Канта и Фихте была выведена Гегелем в игру логических отношений. И если мы можем рискнуть предсказать будущее, к которому сейчас движется спекуляция, то это означает, что пределы, наложенные на человеческое знание позитивистами и агностиками в наши дни, уступают критике тех, кто хочет установить либо совершенное тождество, либо совершенное уравнение между сознанием и бытием. Такова позиция, представленная во Франции М. Теном, мыслителем, имеющим много точек сходства с Аристотелем, которые было бы интересно проработать, если бы в нашем распоряжении было пространство для этой цели. Силы, которые сейчас направляют английскую философию в аналогичном направлении, до сих пор ускользали от наблюдения из-за их разобщенности между собой и смешения с другими, имеющими иной характер. Но в целом можно сказать, что философия Милля и его школы очень близко соответствует по своему практическому идеализму учению Платона; что г-н Герберт Спенсер приближается Аристотелю со стороны теоретической систематизации, разделяя при этом в более ограниченной степени метафизический и политический реализм, который сопровождает его; что Льюс проводит ту же трансформацию на шаг дальше в своих незаконченных "Проблемах жизни и разума"; что философия г-на Шедворта Ходжсона отмечена тем же духом актуализма, хотя и не без перспективы множества возможностей на заднем плане; что неогегельянская школа пытается повторить для нас то, что их учитель сделал в Германии; и что оплакиваемый профессор Клиффорд уже подал надежды на еще одну великую попытку расширить область нашего возможного опыта до со-расширения со всей областью природы.²⁰⁹

Систематизирующая сила Аристотеля, его способность приводить изолированные части поверхности в координацию и преемственность, очевидна даже в тех науках, с материальными истинами которых он был совершенно не знаком. За исключением ложности своих фундаментальных предпосылок, его научные трактаты являются для своего времени шедеврами метода. В этом отношении они намного превосходят его моральные и метафизические работы, а также написаны в гораздо более энергичном стиле, иногда даже переходящем в красноречие. Очевидно, что он гораздо увереннее движется на твердой почве внешней природы, чем в облаках платоновской диалектики или среди возможностей идеальной морали. Если, например, мы откроем его "Физику", то обнаружим, что такие понятия, как причина, бесконечность, материя, пространство, время, движение и сила, впервые в истории отдельно обсуждаются, определяются и становятся основой натурфилософии. Трактат "О небесах" очень правильно рассматривает небесные движения как чисто механическую проблему и стремится привести теорию и практику в полное

согласие. Хотя он прямо противоречит истинам современной астрономии, он стоит на одной почве с ними; и каждый, кто овладел им, был бы гораздо лучше подготовлен к восприятию этих истин, чем если бы он был знаком только с таким произведением, как "Тимей" Платона. Остальные части научной энциклопедии Аристотеля следуют в идеальном логическом порядке и почти полностью соответствуют классификации Огюста Конта, если, конечно, они не предполагали ее прямо или косвенно. Однако мы не можем смотреть на труды Аристотеля с неизменным удовлетворением, пока он не перейдет к рассмотрению областей естественной истории, сравнительной анатомии и сравнительной психологии. Здесь, как мы уже показали, предмет в точности соответствовал всестороннему наблюдению и систематизирующему формализму, в которых он преуспел. Здесь, соответственно, хорош не только метод, но и суть его учения. В теоретизировании о причинах явлений он отставал от лучшей науки своего века; в препарировании самих явлений он был далеко впереди нее. Конечно, очень многое из того, что он рассказывает, было получено из вторых рук, а кое-что и вовсе недостоверно. Но чтобы собрать такую массу информации из отчетов необразованных охотников, рыбаков, конюхов, пастухов, бимастеров и тому подобных людей, требовалась необычайная способность ставить уместные вопросы, которую можно было приобрести только в школе сократовской диалектики. Нельзя не отметить и яркий интеллект, который позволял даже простым грекам снабжать его фактами, необходимыми для обобщений. Но некоторые из его важнейших исследований должны быть совершенно оригинальными. Например, он должен был проследить развитие эмбриона цыпленка своими глазами; и здесь мы можем с уверенностью сказать, что его наблюдения отличаются точностью, причем в той области, где точность, по словам Каспара Фридриха Вольфа, практически [невозможна](#)²¹⁰.

Еще важнее, чем сами эти наблюдения, та великая истина, которую он вывел из них - с тех пор заново открытая и детально разработанная фон Баером, - что в развитии каждого индивидуума общие признаки появляются раньше специфических.²¹¹ Это не просто случайное или изолированное замечание, но, как мы покажем в следующей главе, тесно связанное с одной из метафизических теорий философа. Хотя он не был эволюционистом, он внес и другой вклад в биологию, важность которого впервые была осознана в свете теории эволюции. Так, он отмечает антагонизм между индивидуацией и размножением;²¹² связь увеличения размеров с увеличением жизненной силы;²¹³ связь большей подвижности,²¹⁴ и большего интеллекта,²¹⁵ с увеличением сложности строения; физиологическое разделение труда у высших животных;²¹⁶ образование гетерогенных органов из гомогенных тканей;²¹⁷ тенденция к большей централизации в высших [организмах](#)²¹⁸ - замечание, связанное с двумя его великими анатомическими открытиями, центральным положением сердца в сосудистой системе и наличием позвоночника у всех краснокровных [животных](#)²¹⁹ ; сходство интеллекта животных с зачаточным человеческим интеллектом, особенно проявляющееся у [детей](#)²²⁰ ; и, наконец, он пытается проследить непрерывный ряд градаций, связывающих неорганический и органический мир, растения с животными, а низших животных с человеком.²²¹

Последний принцип дает еще одну иллюстрацию различия между системой Аристотеля и системой эволюциониста, как ее правильно называть. Преемственность, признаваемая первым, существует только среди ряда сосуществующих типов; это чисто логическая или идеальная схема, облегчающая приобретение и сохранение знаний, но ничего не добавляющая к их реальному содержанию. Непрерывность последнего подразумевает причинную связь между последовательными типами, развившимися друг из друга под

действием механических сил. Более того, наша современная теория, учитывая все истинное в концепции Аристотеля, в то же время исправляет ее преувеличение. Совокупность существующих видов лишь несовершенно заполняет промежуток между высшей человеческой жизнью и неорганической материей, из которой, как мы предполагаем, она произошла, поскольку они связаны между собой не по линии, а по боковой линии. Вероятно, ни один из них не соответствует какой-либо менее развитой стадии другого, хотя некоторые сохранили, с большим постоянством, чем другие, черты общего родителя. Отличаясь от единого источника (если мы принимаем моногенетическую гипотезу), они оказались разделены значительными пространствами, которые могло бы заполнить только бесчисленное множество вымерших видов.

На этом наше предварительное исследование предмета завершено. До сих пор мы занимались изучением ума Аристотеля, а не его философской системы. В следующей главе мы попытаемся дать более полный отчет об этой системе в ее внутренней организации не в меньшей степени, чем в ее отношениях к современной науке и современной мысли.

ГЛАВА VII. СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ АРИСТОТЕЛЯ.

I.

Мы рассмотрели аристотелевскую философию в связи с великими конкретными интересами жизни, морали, политики, литературы и науки. Теперь мы должны спросить, что она может сказать нам о самых глубоких и серьезных проблемах, о первых принципах бытия и познания, о Боге и душе, о духе и материи, о метафизике, психологии и логике. Мы видели, что в отношении трактовки этих тем Аристотелем выдвигались очень высокие претензии; и если бы мы начали с них, то лишь последовали бы обычному примеру его толкователей. Однако мы предпочли оставить их напоследок, чтобы наши читатели могли немного познакомиться с аристотелевским методом, увидев, как он применяется к предметам, где результаты сразу же становятся понятными и могут быть проверены обращением к опыту двадцати двух веков. Мы знаем, что найдутся те, кто возразит против такого подхода, скажет, что Аристотель-метафизик стоит на совершенно иной почве, чем Аристотель-научный деятель, потому что в одном качестве у него было, а в другом - нет достаточно фактов, чтобы сделать авторитетное заключение. Они скажут вместе с профессором Сент-Джорджем Мивартом, что, накапливая естественные знания, человеческий разум стал мертвым для духовной истины; или вместе с мистером Эдвином Уоллесом, что вопросы, открытые Аристотелем, еще не закрыты, и что мы можем с пользой начать их изучение под его руководством. С другой стороны, мы постараемся показать, что через все труды Стагирита проходит единство композиции, что в них везде проявляются одни и те же достоинства и недостатки, присущие анатомическому, критическому, описательному, классификационному гению; что его важнейшие выводы, как бы ни был велик их исторический интерес, не имеют для нас ни положительного, ни даже воспитательного значения, будучи почти целиком основаны на ложных физических предположениях; что его онтология и психология не таковы, какими их представляют себе его почитатели; и что его логика, хотя и заслуживает нашей признательности, слишком

запутанна и неполна, чтобы пролить свет на вопросы, поднимаемые современными мыслителями.

Здесь, как и везде, мы будем использовать генетический метод исследования. В трудах Аристотеля, действительно, нет того постепенного развития идей, которое делает платоновские диалоги столь интересными. Тем не менее, они демонстрируют следы такого развития, и наиболее важные из них, похоже, были собраны из заметок, сделанных философом до того, как его выводы были определенно обоснованы или выработаны в последовательное целое. Именно этот фрагментарный сборник, помещенный каким-то неизвестным редактором после "Физики", получил название, до сих пор ассоциирующееся со всякого рода спекуляциями, которые не могут быть проверены прямым или косвенным обращением к свидетельствам внешнего чувства.

Существуют ли какие-то реальности за пределами того, что нам открывают эти свидетельства, и чего могут стоить сами разумные свидетельства - эти проблемы активно обсуждались уже во времена Аристотеля. Его "Метафизика" сразу же вводит нас в гущу дискуссий. Первым вопросом той эпохи был вопрос: "Каковы причины и принципы вещей? На одной стороне стояли материалисты - старые ионийские физики и их живые представители. Они утверждали, что все вещи происходят из воды, воздуха или огня, или из смеси четырех элементов, или из взаимодействия противоположностей, таких как влажное и сухое, горячее и холодное. Аристотель, следуя примеру своего учителя Платона, обвиняет их в игнорировании бесплотных субстанций, под которыми он понимает не то, что сейчас понимается под ощущениями, состояниями сознания или даже духовным субстратом сознания, а скорее общие качества или совокупности качеств, которые остаются неизменными среди колебаний чувственных явлений; рассматриваемых, заметим, не как субъективные мысли, а как объективные реальности. Другой недостаток старых физических теорий заключается в том, что они либо вообще игнорируют действенную причину движения (как Фалес), либо назначают причины, не соответствующие цели (как Эмпедокл); либо, когда они находят истинную причину, не используют ее правильно (как Анаксагор). Наконец, они не изучают конечную причину вещи - благо, ради которого она существует.

Телеология Аристотеля требует пояснения, которое может занять подобающее место в данной связи. Говоря о цели в природе, он не имеет в виду, что естественные продукты служат какой-то цели, лежащей вне их самих; как если бы, по примеру Гете, кора пробковых деревьев предназначалась для изготовления пробок для бутылок с имбирным пивом; но что в каждой совершенной вещи части взаимозависимы и существуют ради целого, к которому они принадлежат. Он также, как и многие другие богословы, как древние, так и современные, не доказывает, что в природе есть замысел, и что за ее пределами действует некий проектирующий разум. Не веря ни в какое творение, кроме произведений искусства, он не мог поверить и в творческий интеллект, отличный от человеческого. Он действительно постоянно говорит о природе, как о личном провидении, постоянно действующем на благо своих созданий. Но если присмотреться внимательнее, то мы обнаружим, что эта деятельность совершенно бессознательна и может быть отождествлена с конституцией каждой конкретной вещи или, скорее, с типом, к которому она принадлежит. Мы уже говорили, что интеллект Аристотеля был по сути своей описательным, и здесь мы имеем еще одну иллюстрацию его характерного качества. Телеология, которую он с такой помпой выставляет напоказ, ничего не добавляет к нашему знанию о причинах, не подразумевает ничего, что позитивист не мог бы с готовностью принять. Это просто исследование функций, анализ статических отношений. Конечно, если бы действительно существовали философы, утверждающие, что связь между зубами и жеванием совершенно случайна, аристотелевская

доктрина была бы полезным протестом против такого абсурда; но когда мы установили фиксированную связь между органом и функцией, мы обязаны объяснить эту связь каким-то более удовлетворительным способом, чем подтверждение ее в общих чертах, что Аристотель только и делает. Опять же, каким бы ни было относительное оправдание телеологии как исследования функций живого организма, у нас нет оснований для интерпретации явлений неорганической природы по аналогичному принципу. Некоторые греческие философы были достаточно остры, чтобы понять это различие. Признавая, что в растениях и животных есть следы замысла, они считали, что небесные тела возникли спонтанно в результате движения вихря или по какой-то подобной [причине](#)²²² ; точно так же, как некоторые религиозные саванты наших дней отвергают дарвиновскую теорию, принимая гипотезу о небулярных [образованиях](#)²²³. Но для Аристотеля непрерывная регулярность небесных движений, которая для нас является лучшим доказательством их чисто механической природы, была, напротив, доказательством того, что они были произведены и направлены абсолютно разумной целью; гораздо более разумной, чем земные организмы, отмеченные случайными отклонениями и несовершенствами; и он заключает, что каждое из этих движений должно быть направлено на достижение некоторой соответственно совершенной [цели](#)²²⁴ ; в то время как, опять же, имея дело с теми предшественниками г-на Дарвина, если таковые могут быть. Дарвина, если их можно так назвать, которые утверждали, что полезность органа не опровергает его спонтанного происхождения, поскольку выживут только те существа, которые по счастливой случайности окажутся обладателями этого органа; отвечает, что постоянного воспроизводства таких органов достаточно, чтобы убедиться, что они не являются делом [случая](#)²²⁵ , демонстрируя тем самым свою неспособность провести различие между двумя идеями - единой причинности и замысла.

В результате вышеизложенной критики Аристотель выделяет четыре различные причины или принципа, благодаря которым все вещи становятся тем, что они есть: материя, форма, агент и цель.²²⁶ Если, например, взять пилу, то материя - это сталь; форма - зубчатое лезвие; агент или причина, по которой она приобрела такую форму, - кузнец; цель - раскалывать дерево или камень. Когда мы перечислили эти четыре принципа, мы сказали все, что можно знать о пиле. Но Аристотель не смог сохранить три последних принципа отдельно; он постепенно расширял определение формы, пока она не поглотила или не стала отождествляться с агентом и целью.²²⁷ Именно то, что мы должны назвать идеей функции, облегчило этот переход. Если сама сущность или природа пилы подразумевает использование, деятельность, движение, то как мы можем определить ее, не сказав о ее назначении? Зубчатое лезвие можно понять только как режущий, разделяющий инструмент. Опять же, как появилась пила? Что придало стали такую форму? Мы уже говорили, что это был кузнец. Но, конечно, это слишком расплывчато. Кузнец - это человек, и он может заниматься и другими ремеслами. Предположим, что он музыкант, разве он сделал пилу в этом качестве? Нет; и здесь возникает различие, которое играет огромную роль в метафизике Аристотеля, откуда оно перешло в нашу повседневную речь. Он делает пилу не *как* музыкант, а *как* кузнец. Однако, занимаясь своим ремеслом кузнеца, он может изготовить множество других инструментов - ножи, топоры и так далее. Тем не менее, если бы он научился делать только пилы, этого было бы достаточно. Поэтому он не делает пилу *как* топорщик, он делает ее *как* пильщик. Он также не делает ее всем своим умом и телом, а только теми мыслями и движениями, которые необходимы для придания стали той или иной формы. Что же это за мысли, как не идея пилы, присутствующая в его сознании и проходящая через его глаза и руки, пока она не закрепится на стали? Нематериальная форма пилы создает реальную пилу, которую мы используем. Давайте применим

предыдущие аналогии к природному объекту, например, к человеку. Что такое форма, определение человека? Не существо, обладающее определенной внешней формой, ибо тогда мраморная статуя была бы человеком, а это не так; и не определенная совокупность органов, ибо тогда труп был бы человеком, а это, согласно Аристотелю, критикующему Демокрита, не так; но живое, чувствующее и разумное существо, цель существования которого состоит в выполнении всех функций, связанных с этим определением. Так и творческой причиной мужчины является другой мужчина, который непосредственно накладывает отпечаток человеческой формы на материал, поставляемый женским организмом. Точно так же каждая определенная индивидуальная совокупность становится тем, что она есть, благодаря агентству другого индивида, представляющего тот же тип в его совершенном [проявлении](#)²²⁸.

Субстанциальные формы Аристотеля, сочетающие в себе понятие определения с понятием движущейся причины и исполненной цели, очевидно, заимствованы из платоновских идей; это сразу же заставляет нас задуматься о том, в каком отношении он находится к спиритуализму Платона и к математическому идеализму неопифагорейцев. Он согласен с ними в том, что общие понятия являются единственным объектом познания - единственной неизменной реальностью в мире перемен. Он отличается от них тем, что считает, что такие понятия не имеют существования в отрыве от тех частных, в которых они пребывают. Возникает вопрос, действительно ли Аристотель когда-либо понимал учение своего учителя по этому вопросу. Среди недавних критиков М. Бартелими Сент-Илер утверждает, с большой яростью, что нет. Несомненно, что в некоторых отношениях Аристотель не справедлив к платоновской теории, что он преувеличивает ее нелепости, игнорирует ее развитие и иногда выдвигает против нее обвинения, которые можно было бы с не меньшим эффектом отвести против его собственной философии. Но в самом важном вопросе - приписывал или не приписывал Платон отдельное существование своим Идеям - мы вряд ли могли бы поверить, что ученик, проработавший у него двадцать [лет](#)²²⁹, ошибается, даже если бы мастер не оставил на память решающее свидетельство в пользу утвердительной стороны в своем "Пармениде" и не менее решающее в своем "Тимее".²³⁰ И пока спор сводится к этому конкретному вопросу, Аристотель полностью прав. Его самые сильные аргументы, действительно, не являются оригинальными, поскольку были предвосхищены самим Платоном; но поскольку они остались без ответа, он имел полное право повторить их, а его диалектическое мастерство было достаточно велико, чтобы сделать его независимым от их поддержки. Крайняя миниатюрность его критики утомляет нас, с трудом представляющих себе, как можно было придерживаться иного мнения. И все же идеализм Платона был настолько очарован, что его не только с ожесточением поддерживали его ближайшие последователи,²³¹ но в той или иной форме он возрождался снова и снова в течение долгого периода, прошедшего с момента его первого обнародования, и в каждом из этих случаев аргументы Аристотеля вновь поднимались, чтобы встретить его, каждый раз с триумфальным успехом. Бритва Оккама "*Entia non sunt sine necessitate multiplicanda*" заимствована из "Метафизики"; главное возражение Локка против врожденных идей близко напоминает саркастическое замечание в последней главы "Постсерьезной аналитики", что, согласно теории Платона, мы должны обладать каким-то удивительным знанием, которое мы не осознаем.²³² И оружие, которым Тренделенбург и другие ведут войну с Гегелем, явно взято из аристотелевского арсенала.²³³

В своей критике теории идеалов Аристотель утверждает, что она недоказуема; что следствия, к которым она приводит, отвергли бы сами идеалисты; что она предполагает ненужное добавление к сумме бытия; что она не объясняет происхождения вещей и не помогает нам понять их, отнимая у них их существенную реальность; что Идеи - это всего

лишь гипостазированные разумные объекты, подобные антропоморфным божествам первобытных людей; что говорить о них как об образцах, по подобию которых был создан мир, - это пустая метафора; Что, даже если допустить существование таких образцов, каждый человек должен быть создан по подобию не одной, а многих идей - человек, например, должен быть создан по образцу идеального двуногого и идеального животного, а также идеального человека; в то время как многие из самих идей, хотя и предполагается, что все они существуют абсолютно, должны быть зависимы от других и более простых типов; наконец, что, предполагая идею для каждого абстрактного отношения, должны существовать идеи для представления отношения между каждым чувственным объектом и его прототипом, другие для новых отношений, введенных таким образом, и так далее до бесконечности.

Возражения Аристотеля против неопифагорейской теории идеальных чисел не должны нас здесь задерживать. Отчасти они повторяют те, что выдвигались против платоновской доктрины в ее первоначальном виде, отчасти вытекают из невозможности отождествить качественные и количественные [различия](#)²³⁴.

Такие аргументы явно говорят не только против платонизма, но и против любого вида трансцендентального реализма, от естественной теологии Пейли до догматического агностицизма мистера Герберта Спенсера. Современный Аристотель мог бы сказать, что гипотеза творческой первопричины, личной или иной, логически подразумевает предположение о стольких исходных специфических энергиях, сколько существует качеств, подлежащих учету, и таким образом доставляет нам ненужные хлопоты по пересчету всего дважды; что все трудности и противоречия, от которых трансцендентальное предположение призвано нас избавить, должны при анализе вновь проявиться в самом предположении - например, Бог, который должен избавить нас от зла, сам должен быть задуман как творец зла; что бесконечное и абсолютное не может быть ни причиной, ни постигнуто конечным и относительным; что вычленение из природы всех сил, необходимых для ее увековечения, и отнесение их в отдельную сферу - это ложная антитеза и бесплодная абстракция; наконец, что причинность, будь то эффективная или конечная, однажды начавшись, не может прекратиться; что если этот мир не является самосуществующим, то ничто не является таковым; что взаимная адаптация мыслей в проектирующем интеллекте требует объяснения, как и любая другая адаптация; что если относительное включает абсолютное, то и отношение между ними включает другое абсолютное, и так далее до бесконечности.

Это трудности, которые будут стоять перед нами до тех пор, пока не будет отброшен каждый клочок старой метафизики. С этой задачей Аристотель не справился. На него оказала глубокое влияние та самая теория, против которой он выступал; рискуя показаться парадоксальными, мы можем даже сказать, что она приобрела в его системе большее значение, чем когда-либо приписывал ей сам Платон. Чтобы доказать это, мы должны возобновить нить нашего изложения и последовать за Стагиритом еще дальше в его анализе фундаментальной реальности, с которой имеет дело высшая философия.

II.

С эпохи Парменида и Гераклита греческую мысль преследовал всепроникающий дуализм, который каждая система в свою очередь пыталась примирить, не добиваясь ничего лучшего, чем его воспроизведение под другими именами. А в последнее время спекуляции стали еще более запутанными из-за вопроса о том, можно ли свести антитетические пары, которые, как

предполагалось, делят всю природу между собой, к стольким аспектам одной оппозиции. В предпоследней главе мы показали, что существует четыре таких конкурирующих пары - Бытие и Небытие, Единое и Многое, Одно и Другое, Покой и Движение. Платон использовал свою тончайшую диалектику, чтобы проследить их связи, скорректировать их отношения и уменьшить общее количество терминов, которые они включают. В своем последнем, вероятно, великом спекулятивном труде, "Тимее", он, похоже, выбрал "Подобие" и "Различие" как пару, лучше всего приспособленную для того, чтобы выдержать самое тяжелое напряжение мысли. Есть некоторые основания полагать, что в своих устных лекциях он более строго следовал пифагорейской системе, отдавая предпочтение Единому и Многому; или же он мог использовать эти два выражения безразлично. Первое скорее подойдет диалектику, второе - математику. Аристотель был и тем, и другим, но прежде всего он был натуралистом. Поэтому антитеза бытия и небытия, которой Платон не придавал практически никакого значения, подходила ему как нельзя лучше. Соответственно, он приступает к ее разработке с такой ясностью, которая прежде была неизвестна в греческой философии. Первый и самый надежный из всех принципов, провозглашает он, заключается в том, что вещь не может одновременно быть и не быть в одном и том же смысле этих слов, и, кроме того, она должна либо быть, либо не быть. Последующие логики добавили к этим аксиомам еще одну, гласящую, что все, что есть, есть. Все три аксиомы вместе известны как законы тождества, противоречия и исключенного среднего. Все, кроме гегельянцев, признают их высшими законами мышления; и даже Гегель был обязан им, через Фихте, за основу всей своей [системы](#)²³⁵.

Весь смысл и ценность таких чрезмерно абстрактных предложений должны заключаться в их применении к проблемам, которые они призваны решить. Аристотель сделал одновременно слишком много и слишком мало. Слишком много - потому что он использовал их для опровержения доктрин, на самом деле не содержащих никаких логических противоречий: теории Гераклита, что все находится в движении; теории Анаксагора, что все изначально было смешано вместе; теории Протагора, что человек есть мера всех вещей. Слишком мало - ведь он допускал сферу возможностей, где не действуют логические определения и где предметы одновременно обладают способностью принимать тот или иной из двух противоречивых атрибутов.

Но и это еще не все. Резко отличив то, что есть, от того, чего нет, и отказавшись признать какого-либо посредника между ними, Аристотель обнаруживает такого посредника в форме того, что он называет случайной предикацией.²³⁶ Случайность - это атрибут, не обязательно или обычно наследуемый субъектом, другими словами, сосуществование, не зависящее от причинности. Аристотель никогда не мог провести различие между двумя понятиями - причиной и родом, а также между вмешательством в действие какой-то конкретной причины и исключениями из закона причинности в целом; поэтому он не мог сформулировать внятную теорию случайности. Некоторые положения, говорит он нам, обязательно истинны, другие - только в целом; и именно исключения из последних составляют случайность, как, например, когда холодный день случается в середине лета. Так и человек обязательно является животным, но только в исключительных случаях белым. Такие различия небезынтересны, поскольку они доказывают, с какими трудностями пришлось столкнуться идее неизменной последовательности, прежде чем ее смогли постичь даже самые высокие интеллекты. Постоянно возникала опасность спутать порядок последовательности с порядком сосуществования, порядок наших ощущений с порядком объективного существования, а подчинение человеческих действий какому-либо фиксированному порядку - с невозможностью обдумывания и выбора. Ранние греческие мыслители провозглашали, что все вещи существуют по необходимости; но, придерживаясь чисто

геометрической или исторической точки зрения, они полностью игнорировали более сложные вопросы, поднимаемые теориями классификации, логической атрибуции и моральной ответственности. А изменения, внесенные Эпикуром в старую физику, показывают нам, насколько неопровержимыми казались рассуждения Аристотеля некоторым из его самых способных преемников.

Далее абсолютное бытие отличают от истины, которая, как нам говорят, не имеет объективного [существования](#)²³⁷ - замечательное заявление, которое проливает свет на другие части аристотелевской системы и к которому мы впоследствии [вернемся](#)²³⁸.

После подробного объяснения того, чем бытие не является, Аристотель переходит к выяснению того, чем оно является. Он говорит нам, что подобно тому, как все числа *quâ* number должны быть либо четными, либо нечетными, так и все бытие *quâ* Being должно обладать определенными универсальными атрибутами. Их он и ставит перед собой задачу обнаружить. Когда Декарт спустя долгое время занялся подобным вопросом, он опирался на факты своего индивидуального сознания. Аристотель, напротив, апеллирует к общему сознанию человечества, воплощенному в обычном языке. В скольких смыслах мы говорим, что вещь есть? Первый ответ содержится в его знаменитых Десяти категориях.²³⁹ Эти не являются, как некоторые полагают, *summa genera* бытия, но *summa genera* предикации. Иными словами, они представляют собой не классификацию вещей, а информацию, которую можно получить об отдельной вещи, особенно о самой богатой и конкретной из известных нам вещей - человеке. Если мы хотим узнать все о какой-либо вещи, мы спрашиваем: "Что это такое? Какого рода? Насколько велика? К чему она принадлежит? Где и когда мы можем его найти? Что он делает? Что с ним происходит? А если объект наших исследований - живое существо, мы можем добавить: каковы его привычки и склонности? Возникал вопрос, как Аристотель додумался до этих десяти конкретных категорий, и на эту тему было написано огромное количество ерунды, в то время как, очевидно, ни один ученый не мог увидеть то, что все время бросалось ему в глаза, - что Аристотель получил их, собрав все простые формы вопросов, которыми располагает греческий [язык](#)²⁴⁰, и выписав их самые общие выражения.

Получив свои категории, Аристотель приступает к выделению первой из девяти остальных. Предмет или субстанция, названная в ответ на вопрос "Что это такое?", может существовать, не имея никаких качеств, размеров и т. п., которые ей приписываются; но они не могут существовать без них. Логически их нельзя определить, не сказав, *что* они такое; на самом деле их нельзя представить без чего-то, что не является ими самими, в чего они заключены. Они подобны хвосту воздушного змея, придающему телу большую заметность и плавучесть, но полностью зависящему от него в качестве опоры. Наш философ не понимает, что эта зависимость взаимна, что субстанция не может быть понята без атрибутов, как и атрибуты без субстанции; или, скорее, что субстанция, как и все другие категории, может быть разрешена в [Отношение](#)²⁴¹.

Тем временем у него наготове была логическая машина, которую можно было с ужасающим эффектом использовать против платоновских идей. Любая из них - а их было великое множество - которую можно было подвести под одну из девяти последних категорий, сразу же лишалась всех претензий на независимое существование. Возьмем, к примеру, равенство. Оно не может быть обнаружено вне количества, а количество всегда предполагает наличие субстанции. То же самое можно сказать и о числе, что полностью уничтожает неопифагорейскую теорию, которая давала ему отдельное существование. Более того, категории служили не только для обобщения и объединения, но и для конкретизации и разделения. Идея движения встречается в трех из них: в количестве, где

она означает увеличение или уменьшение; в качестве, где она означает изменение, как от горячего к холодному, или *наоборот*; и в месте, подразумевая перенос из одной точки в другую. Идея блага, которая стоит на самой вершине системы Платона, может быть прослежена через все десять категорий.²⁴² Таким образом, предполагаемое единство и простота подобных концепций оказывались иллюзией. Платонизм, по сути, настолько не соответствовал понятиям, воплощенным в обычном языке, что не мог не быть осужден логикой, основанной на этих понятиях.

Далее Аристотель берет идею субстанции и подвергает ее новому анализу.²⁴³ Из всех вещей ни одна не обладает столь очевидным существованием, как тела, окружающие нас - растения и животные, четыре элемента и звезды. Но уже было показано, что каждое из этих состоит из формы и материи. Например, статуя - это кусок бронзы, из которого сделана фигура человека. Из этих двух составляющих материя, на первый взгляд, обладает большей реальностью. То же направление мысли, которое привело Аристотеля к тому, что он поставил субстанцию выше других категорий, теперь грозит вернуть его в материализм. Этого он боялся не по сентиментальным или религиозным соображениям, а потому, что считал это отрицанием знания. Сначала он показывает, что материя не может быть реальной субстанцией, которой индивиды обязаны своим детерминированным существованием, поскольку это всего лишь неизвестный остаток, оставшийся после того, как все предикаты, общие для них с другими, были отброшены. Субстанция, таким образом, должна быть либо только формой, либо формой в сочетании с материей. Форма, в самом полном смысле, эквивалентна сущностному определению вещи - совокупности атрибутов, вместе составляющих ее сущность или концепцию. Знать определение - значит знать определяемую вещь. Способ определения состоит в том, чтобы начать с самого общего понятия и, добавляя одно конкретное отличие за другим, дойти до самого конкретного и конкретного выражения. Соединение этого последнего с определенной частью материи дает нам индивидуального Сократа или Каллиаса. Реальных сущностей (как утверждают платоники), соответствующих последовательным стадиям обобщения, двунному, животному и т. д., не существует, так же как не существует самосуществующих количеств, качеств и отношений. Таким образом, проблема все более и более сужается, пока, наконец, мы не остаемся с *бесконечными видами* и содержащимися в них индивидами. Остается выяснить, в каком отношении они находятся друг к другу. Ответ неудовлетворителен. Нам говорят, что не существует определения индивидов, а также что определение тождественно индивиду.²⁴⁴ Таков, действительно, вывод, неизбежно вытекающий из неоднократных заявлений Аристотеля о том, что все знание состоит из определений, что все знание состоит из чего-то реально существующего и что ничего реально не существует, кроме отдельных вещей. Тем не менее, против этих заявлений мы должны выставить столь же сильные заявления о том, что знание относится к чему-то общему, а не к гибнущим индивидам, которые могут прекратить свое существование в любой момент. Истина заключается в том, что здесь, как показал [Целлер](#)²⁴⁵, мы находимся перед лицом неразрешимого противоречия, и мы должны попытаться объяснить не то, как Аристотель примирил его с самим собой, ибо это невозможно, а то, как он примирился с ним сам.

Его анализ индивидуальности был первым шагом в этом направлении. Мы видели, что он рассматривает определение как процесс постепенной конкретизации, начиная с самых общих понятий и последовательно дифференцируя их до самых конкретных. Теперь завершенная концепция сама по себе является интеграцией всех этих различий, связующим звеном, удерживающим их вместе. Обращаясь к противоположному порядку идей, к материальной субстанции, из которой состоят тела, и ее различным превращениям, мы видим, что он развивает ту же самую мысль. Согласно аристотелевской химии, конечное

неопределенное непознаваемое нечто облекает себя в тот или иной из противоположных атрибутов, сухой и влажный, горячий и холодный; и когда два из них соединяются, проявляется в наших чувствах как один из четырех элементов. Элементы соединяются особым образом, образуя однородные ткани животных, а те снова объединяются в разнородные органы, которые вместе составляют живое тело. Таким образом, мы имеем два аналогичных ряда спецификаций - один концептуальный, ведущий от абстрактного к конкретному, другой физический, ведущий от неопределенного, простого и однородного к определенному, сложному и неоднородному. Аристотель охватывает оба процесса одним всеобъемлющим обобщением. Он описывает каждый из них как непрерывное превращение возможности в действительность. Для большей ясности возьмем на себя смелость заменить его громоздкие и устаревшие классификации современными научными терминами. Тогда мы скажем, что общее понятие "живое существо" включает в себя два менее общих понятия - "растение" и "животное". Если мы знаем о каком-либо объекте только то, что он обладает жизнью, то подразумевается возможность того, что он может быть либо тем, либо другим, но не тем и другим вместе. Определив, что это (скажем) животное, мы актуализируем одну из возможностей. Но эта актуализация лишь относительна и сразу же превращается в возможность быть либо позвоночным, либо беспозвоночным животным. Актуализация позвоночного превращается в возможность живородящего или яйцекладущего, и так далее через последовательные дифференциации, пока мы не придем (скажем) к человеку. Теперь давайте начнем с материальной части. Вот масса молекул, которые в своем актуальном состоянии представляют собой лишь углерод, азот и так далее. Но они потенциально могут быть крахмалом, клейковиной, водой или любым другим продуктом питания, который можно было бы назвать; ведь при благоприятных условиях они соединятся и образуют его. Актуализировавшись как таковые, они становятся возможными клетками крови, возможными тканями, возможными органами, и наконец мы приходим к консенсусу жизненных функций, которым является человек. Что сырье для готового продукта, что части для целого организма, элементы для соединения, род для вида, и такова в самом широком смысле потенция для реализации, δύναμις для ἐντελέχεια, во всей вселенной роста и [распада](#)²⁴⁶.

Следует заметить, что до сих пор эта знаменитая теория не добавила ни йоты к нашим знаниям. Под видом объяснения она представляет собой описание тех самых фактов, которые нуждаются в объяснении. Мы не хотели, чтобы Аристотель сказал нам, что прежде чем вещь существует, она должна быть возможной. Мы хотим знать, как она возможна, каковы реальные условия ее существования и почему они сочетаются в определенный момент, чтобы ее произвести. Атомисты показали, в каком направлении следует искать решение, и весь последующий прогресс был обусловлен развитием их метода. Будущие века, возможно, сочтут наше постоянное различие между силой и движением выживанием перипатетической философии. Как разумные агрегаты материи возникают не из потенциальной материи, а из материи, находящейся в состоянии чрезвычайно тонкой диффузии, так и разумное движение будет повсеместно прослежено не до потенциального движения, которое означает только силу, а до молекулярных или эфирных вибраций, подобных тем, которые, как известно, образуют тепло и свет.

Мы уже говорили, сравнивая его с предшественниками, что Стагирит развернул греческую мысль из сплошной в непрерывную поверхность. Теперь мы должны добавить, что он придал своей поверхности ложный вид твердого тела с помощью теней и аэриальной перспективы. Другими словами, он заставил индикацию своего собственного невежества и путаницы выполнять функции глубины и расстояния. Ведь сказать, что вещь развивается из ее возможности, означает лишь то, что она развивается из чего-то, природы чего мы не знаем.

И говорить о таких возможностях, как несовершенные существования, или материя, или как бы еще ни называл их Аристотель, значит просто конструировать вселенную не из наших идей, а из нашего абсолютного отсутствия идей.

Мы видели, как вместо антитезы между формой и материей была заменена более широкая антитеза между действительностью и возможностью. Но даже в этой последней оппозиции больше кажущегося, чем реального. Постоянная возможность умопостижима только через идею ее реализации, и рано или поздно она обязательно реализуется. Аристотель еще больше преодолевает промежуток между ними с помощью новой концепции - концепции движения. Движение, говорит он нам, - это процесс реализации, превращения силы в действие. Почти вся его "Физика" занята исследованием его природы и происхождения. В его первом понимании оно эквивалентно тому, что мы называем изменением, а не механическому движению. Таблица категорий содержит исчерпывающее перечисление его разновидностей. Это, как мы уже упоминали, изменение качества или трансформация, увеличение или уменьшение количества, эквивалентные росту и упадку, и перенос с места на место. Иногда добавляется четвертая разновидность, вытекающая из первой категории, субстанции. Он называет это порождением и уничтожением, приходом в существование или уходом из него. Внимательный анализ показывает, что движение в пространстве - это первичное изменение, от которого зависят все остальные. Его объяснение - самая жизненно важная проблема философии.

III.

Прежде чем перейти к цепочке рассуждений, которые привели Аристотеля к постулату о существовании личной Первой причины, мы должны объяснить разницу между его научной точкой зрения и той, которую сегодня принимают все образованные умы. Для него вечность не только материи, но и того, что он называл формой, - то есть совокупности признаков, придающих определенность природным агрегатам, особенно тем, которые известны как органические виды, - была аксиоматической уверенностью. Каждый вид, способный к самовоспроизведению, который вообще мог существовать, существовал и будет существовать вечно. Для этого не требовалось никакого объяснения, кроме генеративной силы природы. Но когда ему пришлось объяснить механизм, с помощью которого сохраняется вечное чередование рождения и смерти внизу и неизменное вращение небесных сфер над Луной, возникли трудности. Все остальные изменения он сводил к перемещению в пространстве, и в этом отношении его представления были совершенно ошибочны. Он считал, что движущаяся материя стремится остановиться, если ее не поддерживает какая-то внешняя сила; и каковы бы ни были его преимущества в других отношениях, мы не можем сказать, что атомисты были в состоянии поправить его здесь: ведь их теория, согласно которой каждая частица материи тяготеет вниз через бесконечное пространство, была совершенно несовместима с последними астрономическими открытиями. Аристотель с триумфом показал, что тенденция тяжелых тел заключается не в бесконечном движении вниз по параллельным линиям, а в движении по сходящимся линиям к центру Земли, который он, как и большинство греческих астрономов, считал также центром Вселенной; а наблюдая движение легких тел вверх, он приписывал им равную и противоположную тенденцию к окружности Вселенной, которая, как Парменид и Платон, по его мнению, имеет конечную протяженность. Таким образом, каждый вид материи имеет свое место, движение к которому заканчивается покоем, а движение от него, будучи стесненным, не может длиться долго. Соответственно, постоянная периодичность земных явлений требует столь же постоянного превращения сухих и влажных, горячих и холодных тел друг в друга. Это с совершенной точностью объясняется суточными и годовыми

оборотах солнца. Здесь, однако, мы знакомимся с новым видом движения, которое, вместо прямолинейного и конечного, является круговым и вечным. Чтобы объяснить его, Аристотель предполагает наличие пятого элемента, совершенно отличного по характеру от четырех земных элементов. В отличие от них, он абсолютно прост и имеет соответственно простой способ движения, который, как ошибочно полагает наш философ, может быть не чем иным, как круговым вращением.

Из этой вечной неизменной божественной субстанции, которую он называет эфиром, образованы небесные тела и содержащие их прозрачные сферы. Но за его пределами есть нечто еще более высокое и чистое. Аристотель с большой тонкостью доказывает, исходя из своих фундаментальных предпосылок, что движение протяженной субстанции не может быть самопричинным. Он также доказывает, что движение должно быть абсолютно непрерывным и безначальным. Поэтому нам не остается ничего другого, как признать существование непротяженной, нематериальной, вечной и бесконечной Силы, от которой зависит весь космос.

Столь многое установлено только в "Физике". Более подробные сведения содержатся в двенадцатой книге "Метафизики". Там мы узнаем, что, поскольку все движение происходит от возможности к актуальности, источником движения должна быть полностью реализованная актуальность - чистая форма без какой-либо примеси материи. Но высшей формой, известной нам в восходящей шкале органической жизни, является человеческая душа, а высшей функцией души - разум. Разум, таким образом, должен быть тем, что движется, не будучи движимым сам, влечет все вещи вверх и вперед любовью, которую внушает его совершенство. Вечная, бесконечная, абсолютная актуальность, существующая за пределами самой внешней звездной сферы, - это Бог. Аристотель описывает Бога как мысль, которая мыслит себя и находит в простом акте самосознания вечное счастье, прекрасное, если оно всегда равно лучшим моментам нашей земной жизни, и еще более прекрасное, если оно превосходит их. Существует только один верховный Бог, ибо множественность обусловлена примесью материи, а Он - чистая форма. Владычество многих не есть благо, как говорит Гомер. Пусть будет один Господь".

Таковы заключительные слова, возможно, последнего произведения Аристотеля, ясного исповедания его монотеистического вероучения. Монотеистическое вероучение, как мы уже говорили, настолько не похоже на все остальные религии, что его природа постоянно подвергалась недопониманию. Если одни находили в нем теологию, подобную иудейской, платоновской или современной европейской, то другие сводили ее к смутному пантеизму. Среди последних мы с удивлением обнаруживаем сэра А. Гранта, писателя, которому аристотелевские тексты должны быть прекрасно знакомы как по духу, так и по букве. Однако ничто не может быть более ясным и категоричным, чем содержащиеся в них утверждения. Пантеизм отождествляет Бога с миром; Аристотель разделяет их как чистую форму и форму, более или менее сплавленную с материей. Пантеизм отрицает в Боге личность; Аристотель наделяет его единством, духовностью, самосознанием и счастьем. Если эти качества в совокупности не включают в себя личность, то мы хотели бы знать, что ее включает. Нужно ли напоминать искушенному редактору "Никомаховой этики", какое большое место в этой работе отведено человеческому самосознанию, бодрствующей активной мысли в отличие от просто дремлющих способностей или нереализованных возможностей действия? И то, что Аристотель считал необходимым для человеческого совершенства, он считал бы еще более необходимым для божественного совершенства. Наконец, Бог пантеизма - это общая идея, а Бог Аристотеля - личность. Сэр А. Грант говорит, что он (или оно) - это идея Блага.²⁴⁷ Мы

очень сомневаемся, что в "Метафизике" найдется хоть один отрывок, оправдывающий такое выражение. Однако если бы оно встретилось, это не было бы основанием для сближения аристотелевской теологии с платоновской, при наличии такого отчетливого заявления, как то, что Перводвигатель и концептуально, и численно един,²⁴⁸ после неоднократных отказов от платоновской попытки изолировать идеи от конкретных вещей, в которые они погружены. Далее сэр А. Грант говорит о стремлении природы к Богу как о том, что она сама является **Богом**²⁴⁹ и, следовательно, подразумевает веру в пантеизм. Такое представление обычно называют не пантеизмом, а гилозоизмом, приписыванием жизни материи. Однако у нас нет желания спорить о словах. Философ, верящий в существование смутного сознания, духовного усилия к чему-то высшему, проникающего в природу, может, если хотите, называться пантеистом, но только если это единственное божество, которое он признает. Этот термин вводит в заблуждение, когда применяется к тому, кто также провозглашает существование чего-то, по его мнению, гораздо более высокого, лучшего и реального - живого Бога, который выходит за пределы природы и не зависит от нее, хотя она не зависит от него.

Мы также должны заметить, что параллель, проведенная сэром А. Грантом между теологией Аристотеля и теологией Джона Стюарта Милля, крайне неудачна. Прежде всего, неверно говорить, что Милль представлял Бога благосклонным, но не всемогущим. Он лишь предложил эту идею как менее противоречащую фактам, чем другие формы теизма.²⁵⁰ Далее, Бог Аристотеля был почти в точности противоположен этому. Он обладает безграничной властью, но не имеет никакой благосклонности. Он не имеет никакого отношения к внутреннему устройству мира ни как творец, ни как провидец. По сути, он эгоист самого трансцендентного толка, который только и делает, что думает о себе и своих собственных совершенствах. Ничто не может быть более характерным для непрактичной аристотелевской философии; ничто не может быть более отвратительным для жаждущего реформ английского реформатора, ученика Бентама и Платона. И, в-третьих, сэр А. Грант берет то, что вовсе не является Богом системы Аристотеля, а всего лишь абстракцию, имманентную причину природы, Форму, которая никогда не может полностью победить Материю, и ставит ее в один ряд с Богом, который, пусть и гипотетический, не является ничем, если не является личностью, отличной от мира; А чтобы еще больше запутать несчастного "английского читателя", он добавляет в следующем же предложении, что "большим недостатком концепции Бога у Аристотеля является" отрицание того, "что Бог может быть моральным существом"²⁵¹.²⁵¹

Процитированные слова, которые в христианском смысле достаточно верны, приводят нас к противоположному взгляду на теологию Аристотеля, к ложной теории, которой придерживаются такие критики, как профессор Георгий Миварт. Стагирит соглашается с католическим теизмом, принимая личного Бога, и он согласен с Первой статьей английской церкви, хотя и не с Пятикнижием, говоря, что Бог не имеет частей и страстей; но на этом его согласие заканчивается. Исключая такую вещь, как божественное вмешательство в природу, его теология, конечно же, исключает возможность откровения, вдохновения, чудес и благодати. Это не просто упущение; это необходимость системы. Если не может быть существования без времени, времени без движения, движения без нереализованного желания, желания без идеала, идеала, но вечно мыслящей себя мысли, то из этого логически следует, что Бог, в смысле такой мысли, не должен интересоваться делами людей. Опять же, аристотелизм в равной степени исключает аргументы, с помощью которых современные богословы пытаются доказать существование Бога. И здесь система верна своему современному, статичному, поверхностному характеру. Перводвигатель отделен от нас не цепью причин, протянувшихся в прошлые века, а промежуточной широтой

пространства и колесами в колесах космической машины. Аристотелю не составило труда представить себе то, что некоторые с тех пор объявили немислимым, - ряд предшествующих событий без какого-либо начала во времени; скорее, он не мог уяснить для себя начало такого ряда. Как мы видели, он также не считал, что приспособление в живых организмах каждой части к каждой другой требует внешнего объяснения. И уж тем более ему не приходило в голову, что производство впечатлений на наши органы чувств обусловлено действием сверхъестественной силы. Совершенно точно, что он отверг бы картезианский аргумент, согласно которому совершенное существо должно существовать, если оно только мыслимо - существование неизбежно связано с идеей совершенства.²⁵² Наконец, не признавая такой способности, как совесть, он не признал бы ее голосом Бога, говорящим в душе.

С другой стороны, теистические аргументы самого Аристотеля не могут устоять перед лицом современной науки. Мы знаем, что закон инерции требует объяснения не продолжения, а остановки или начала движения. По системе Коперника мы знаем, что не существует твердой сидерической сферы, управляющей оборотами всей природы. И мы знаем из ньютоновской физики, что гравитация не зависит от фиксированных точек в пространстве для своей работы. Философия философа Аристотеля так же не согласуется с демонстрациями современной астрономии, как и с верой средневекового католицизма.

Остается выяснить, согласуется ли рассматриваемая нами система сама с собой. Это не так. Прайм-двигатель, будучи нерасширенным, не может находиться за пределами сидерической сферы; он также не может быть приведен в непосредственный контакт с ней в большей степени, чем с любой другой частью космоса. Если эфир обладает движением, присущим только ему, то для поддержания его в вечном вращении не требуется никакой духовной силы. Если кристаллические сферы точно подогнаны друг к другу, как они и должны быть, чтобы нигде не оставалось вакуума, то не может быть никакого трения, никакого выделения тепла и, следовательно, никакого воздействия на подлунную сферу. Наконец, никакое вращательное или иное движение само по себе не может иметь никакой мыслимой связи с реализацией возможности, в смысле перехода от низшего к высшему состоянию бытия. Это всего лишь вечный обмен одного безразличного положения на другое.

Теперь мы должны рассмотреть, каковы были спекулятивные мотивы, побудившие Аристотеля не замечать этих противоречий и найти успокоение в теории, еще менее удовлетворительной, чем более ранние системы, на которые он всегда нападает с неумолимой враждебностью. Первым мотивом, как мы полагаем, был уже изложенный читателю ход рассуждений, в котором универсальные сущности, объекты познания, постепенно отождествлялись с конкретными объектами, единственными существующими реальностями. Ведь аргументы против такого отождествления, выдвинутые самим философом, все еще оставались без ответа. Индивиды, составляющие вид, все еще были слишком преходящими для уверенности и слишком многочисленными для понимания. Но когда на место антитезы между формой и материей была поставлена антитеза между действительностью и возможностью, появились два способа уклонения. Первый заключался в проведении различия между актуальным и потенциальным знанием. Первое соответствовало существующим частностям, второе - общим идеям.²⁵³ Однако это не только нарушало единство знания, но и противоречило всей сути предыдущего учения Аристотеля. Что может быть более актуальным, чем демонстрация, и как может быть демонстрация преходящих частностей? Другой способ примирения, возможно, был предложен необходимостью внешней причины, чтобы возвести возможность в действительность. Такая причина может быть представлена со всеми преимуществами и без

недостатков платоновской идеи. Она была бы одновременно движущим агентом и образцом совершенства; она могла бы примирить общее и частное тем, что была бы вечной во времени, всеобъемлющей в пространстве и уникальной в своем роде. Аристотель нашел такую причину, вернее, целый ряд таких причин, в небесных сферах. В его системе они имеют такое же отношение к земным явлениям, какое платоновские Идеи имеют к миру чувств. По сути, это Идеи, сделанные разумными и поверхностными, помещенные рядом, а не под или позади преходящих частных, которые они облучают и поддерживают.

Аналогию можно провести еще дальше. Если Платон считал чувственные вещи не просто завесой, а несовершенной имитацией единственно истинных реальностей, то и Аристотель представлял подлунные элементы как копирующие расположение и деятельность эфирных сфер. У них тоже есть свои концентрические расположения: сначала огонь, затем воздух, затем вода и, наконец, земля в центре; а их вечное превращение друг в друга представляет собой образ пространственного вращения во времени, которое совершают эти возвышенные существа. И хотя мы считаем, что сэр А. Грант ошибается, отождествляя Высший разум Аристотеля с идеей блага, не может быть никаких сомнений в том, что он был подсказан этой идеей. По сути, это перевод платоновской абстракции в конкретную реальность и завершение процесса, который начал сам Платон. С другой точки зрения можно сказать, что и учитель, и ученик работали, каждый по-своему, над решением проблемы, которая полностью доминирует в греческой философии, начиная с Эмпедокла, - примирение Парменида и Гераклита, бытия и становления, вечного и изменчивого, единого и многого. Аристотель применяет поверхностный, внешний метод, размещая два принципа рядом в пространстве; и долгое время мир принимал его решение по той же причине, которая послужила основанием для его собственного признания, - очевидное согласие с народной традицией и фактами опыта. Однако следует признать, что и здесь он следовал линиям, заложенным Платоном. В "Тимее" и "Законах" прослеживается схожая тенденция заменить астрономию диалектикой, изучать небесные движения с религиозным благоговением, восстановить на научной основе древнее звездопоклонство, которое даже среди греков пользовалось гораздо большим авторитетом и престижем, чем очеловеченная мифология поэтов. Если бы не христианство, это звездопоклонство, возможно, стало бы официальной верой римского мира. Как бы то ни было, великая поэма Данте представляет нам своеобразный компромисс между двумя вероучениями. Кристаллические сферы сохранились, только вместо воплощения вечных богов они стали обителью прославленных духов. Мы часто слышим, как говорят, что система Коперника была отвергнута как оскорбляющая человеческую гордость, потому что она удалила Землю из центра Вселенной. Это глубокая ошибка. Ее преступление заключалось в том, что она унижала небесные тела, уподобляя их Земле.²⁵⁴ Между несколькими планетами, вращающимися вокруг Солнца, не могло быть никаких заметных качественных различий. В теологическом смысле неба больше не существовало, а с исчезновением твердой боковой сферы отпала и необходимость в Перводвигателе.

Пожалуй, нет в трудах Аристотеля - и уж точно нет в его научных трудах - более красноречивого отрывка, чем тот, в котором описывается слава воображаемых небес. Приведенный ниже перевод может дать слабое представление о его торжественности и великолепии.

Итак, мы верим, что все небо едино и вечно, не имеет ни начала, ни конца в течение всей вечности, но удерживает бесконечное время в своей сфере; не создано, как говорят некоторые, и не может быть разрушено. Мы верим в это по уже изложенным основаниям, а также с учетом последствий, вытекающих из другой гипотезы. Ведь

это должно придать большой вес нашей уверенности в его бессмертии и вечной продолжительности, поскольку это мнение может быть истинным, в то время как противоположное мнение, возможно, не может быть истинным. Поэтому мы можем доверять традициям древности, и особенно нашей собственной расы, когда они говорят нам, что есть нечто бессмертное и божественное в вещах, которые, хотя и движутся, имеют движение, которое не ограничено, но само является универсальной границей, совершенным кругом, заключающим в своих оборотах несовершенные движения, которые подлежат сдерживанию и остановке; в то время как это, не имеющее ни начала, ни конца, ни покоя в течение бесконечного времени, является тем, из чего происходят все остальные и в чем они исчезают. То небо, которое античность приписывала богам как бессмертную обитель, настоящим аргументом доказывается как несотворенное и неразрушимое, свободное как от смертной слабости, так и от усталости подчинения силе, действующей вопреки естественной склонности; ибо в пропорции к вечному продолжению такое принуждение было бы трудоемким и не участвовало бы в высшем совершенстве замысла. Поэтому мы не должны верить вместе со старыми мифологами, что для его поддержания необходим Атлас; ведь они, как и некоторые в более поздние времена, считали, что небеса состоят из тяжелой земной материи, и таким образом представляли себе одушевленную необходимость для их поддержки; как говорит Эмпедокл, они будут существовать только до тех пор, пока их собственный импульс будет превышать вихревое движение, частью которого они [являются](#)²⁵⁵. Также маловероятно, что их вечное вращение может поддерживаться исполнением сознательной воли; ибо ни одна душа не могла бы вести счастливое и блаженное существование, занимаясь такой задачей, требующей, как бы это ни было, непрерывной борьбы со своей врожденной тенденцией двигаться в другом направлении, без даже душевного расслабления и телесного отдыха, которые смертные получают во сне, но обреченные на вечные муки колеса Иксиона. Наше объяснение, с другой стороны, как мы уже сказали, не только более соответствует вечности небес, но и может быть согласовано с признанными ватиканствами религиозной веры.²⁵⁶

Из приведенного выше отрывка видно, как прочно закрепилось в сознании Аристотеля древнегреческое представление о круговом пределе, и как он вернул его из того высокого интеллектуального значения, которое придал ему Платон, в его первоначальный смысл простой фигуры, ограничивающей пространство. Также будет видно, как он наделяет свои сферы полной мерой той движущей силы, которой, согласно его довольно несправедливой критике, не обладали платоновские Идеи. Его астрономия также снабдила его серией градуированных переходов между двумя крайностями, которыми так восхищалась греческая мысль. Небесные тела являются посредниками между Богом и землей; частично активные и частично пассивные, они как получают, так и передают движущийся творческий импульс. Четыре земных элемента движутся в различных категориях: субстанция, количество, качество и место; эфир движется только в месте. Бог остается "непостоянным и без тени изменения". Наконец, благодаря своей абсолютной простоте и чистоте, эфир является посредником между грубой материей, воспринимаемой нашими чувствами, и абсолютно нематериальным *Nous*, и сам, как предполагается, пронизан аналогичной градацией тонкости сверху донизу. Кроме того, верхний огонь, который не следует путать с пламенем, служит связующим звеном между эфиром и другими элементами, будучи связан с ними как форма с материей или как агент с пациентом; а если разложить элементы на составляющие их качества, то горячее и холодное занимают аналогичное положение по отношению к влажному и сухому.

IV.

Овладев космологией Аристотеля, мы получили ключ ко всему его методу систематизации. Отныне у Стагирита нет от нас секретов. Если раньше мы довольствовались тем, что показывали, что он ошибается, то теперь мы можем показать, почему он ошибается; обобщив его принципы расположения, мы можем еще более наглядно продемонстрировать их в их противоречии с современной мыслью. Метод, которого придерживается Аристотель, состоит в том, чтобы разделить свой предмет на две более или менее неравные массы, одна из которых, как предполагается, управляется необходимыми принципами, допускающими определенную демонстрацию; другая же нерегулярна и может быть изучена только в соответствии с правилами вероятного доказательства. Части одной из них однородны и концентрически расположены, движениями каждой управляет та, что находится непосредственно вне и над ней. Части другой неоднородны и распределены между несколькими антитетическими парами, между членами которых сохраняется или должно сохраняться общее равновесие; вся система имеет общий центр, который либо колеблется от одной крайности к другой, либо удерживает равновесие между ними. Вторая система заключена внутри первой и полностью зависит от нее в плане импульсов, определяющих ее процессы метаморфозы и равновесия. Там, где внутренние приспособления системы к самой себе или одной системы к другой осуществляются неосознанно, Аристотель называет их природой. Они всегда приспособлены к тому, чтобы обеспечить ее вечное существование либо в индивидуальной, либо в конкретной форме. Действительность в большей степени относится к первой сфере, а возможность - ко второй, но обе они в определенной степени представлены в каждой.

Мы уже видели, как это фундаментальное деление применяется к Вселенной в целом. Но наш философ не довольствуется классификацией явлений, которую он находит них; он пытается доказать необходимость их двойного существования и при этом попадает в нечто очень похожее на порочный круг. Ибо, доказав на примере земных движений, что для их поддержания должно существовать вечное движение, он теперь принимает вращающийся эфир и утверждает, что для его вращения должен существовать неподвижный твердый центр, хотя геометрическая ось могла бы служить этой цели с тем же успехом. С помощью еще более вопиющего заблуждения он доказывает, что телу, чья тенденция направлена к центру, по природе вещей должно противостоять другое тело, чья тенденция направлена к окружности. Чтобы заполнить промежуток, образовавшийся в результате этого противостояния, необходимы два промежуточных тела, и таким образом мы получаем четыре элемента - землю, воду, воздух и огонь. Они снова распадаются на антитетические пары: сухое и влажное, горячее и холодное, возможные комбинации которых по два раза дают нам снова четыре элемента. Земля сухая и холодная, вода холодная и влажная, воздух влажный и горячий, огонь горячий и сухой; каждая смежная пара имеет общее качество, а каждый элемент характеризуется избытком определенного качества; земля особенно сухая, вода холодная, воздух влажный, огонь горячий. Общим центром каждой антитезы является то, что Аристотель называет первой материей, абстрактной неоформленной возможностью существования. Эта материя всегда сочетает в себе два качества и обладает способностью колебаться от одного качества к другому, но она, как правило, не может одновременно менять оба качества на их противоположности. Земля может переходить в воду, меняя сухое на влажное, но не так легко в воздух, что потребовало бы двойного обмена в один и тот же момент.

Желающие могут увидеть во всем этом предвосхищение химического замещения и двойного разложения. Уверяем их, что это будет отнюдь не самая абсурдная параллель, обнаруженная между древними и современными идеями. Можно, однако, проследить более реальную связь между аристотелевской физикой и средневековой мыслью. Мы, конечно, не имеем в виду схоластическую философию, поскольку никогда не было ни малейших сомнений в ее происхождении; мы имеем в виду алхимию и астрологию, которые на протяжении многих веков выполняли функции позитивной науки и даже перекрывали ее вплоть до времен Ньютона, который сам был ярым алхимиком. Суеверия астрологии возникли независимо от перипатетической системы, а возможно, и задолго до нее, но они, скорее всего, поощрялись ею, а не подавлялись, как это делала бы менее антропоморфная философия. Сам Аристотель, как мы видели, ограничивал действие небес на подлунной сфере их силой нагрева; но, приписывая им бессмертный разум и стремление к неизвестным нам целям, он открыл широкое поле для догадок о том, что это за цели и как их можно достичь. То, что звезды и планеты постоянно думают и действуют, но никогда не думают о наших делах, не было понятием, с которым можно было бы окончательно смириться. Нелегко было поверить и в то, что их различные конфигурации, движения и имена (последние, вероятно, открываются сами собой) не имеют никакого значения. От подобных рассуждений до составления гороскопов не так уж и далеко. Аристотелевская химия с еще большей готовностью может быть использована для целей алхимии. Если природа - это один огромный процесс трансмутации, то конкретные тела, такие как металлы, не только могут, но и должны превращаться друг в друга. И даже те, кто с презрением отвергал логику Аристотеля, все равно цеплялись за его натурфилософию, когда она льстила их надеждам на выгоду. Бэкон сохранил теорию субстанциальных форм. Его оригинальность заключалась в том, что он нашел метод, с помощью которого любая форма или совокупность форм может быть по своему усмотрению наложена на основную материю. Реальное развитие знаний шло совсем другим путем. Великие первооткрыватели XVI и XVII веков добились успеха, полностью перевернув метод Аристотеля, приведя в плодотворный контакт принципы, которые он обрек на бесплодную изоляцию. Они перенесли земную физику на небо; они спустили на землю абсолютность и вечность небесного закона; они показали, что антитетические качества Аристотеля - это всего лишь количественные различия. Они превратили их в виды движения, а также свели все движения к одному, прямолинейному и вечному. Но они и их преемники положили конец всем мечтам о трансмутации, когда с помощью другого синтеза показали, что вся материя, по крайней мере в пределах нашего опыта, обладает неизменным постоянством, которое когда-то приписывалось исключительно звездным сферам.

Когда Аристотель переходит от всего космоса к философии жизни, его метод систематического разделения проявляется менее отчетливо, но все же его можно проследить. Фундаментальное разделение проходит между телом и душой. Последнее имеет более широкое значение, чем то, которое мы связываем с ним в настоящее время. Оно охватывает психические функции и всю жизнь организма, что, опять же, не является тем, что мы понимаем под жизнью. Ведь жизнь у нас одновременно и индивидуальна, и коллективна; она живет в каждой частичке протоплазмы, а также в консенсусе всего организма. У Аристотеля она - исключительно центральный принцип, конечная причина организма, сила, которая удерживает его вместе и благодаря которой он был изначально сформирован. Биология начинается с определения идеи целого, а затем рассматривает средства, с помощью которых она реализуется. Психические функции расположены в соответствии с системой телеологической субординации. Низшая предшествует высшей по времени, но логически обусловлена ею. Так, питание, или вегетативная жизнь в целом, должна изучаться в тесной связи с ощущениями и импульсами, или животной жизнью; а та, в свою очередь, с мышлением или чистым рассуждением. С другой стороны, анатомия и физиология

рассматриваются с чисто химической и механической точки зрения. Каждому органу, правда, приписывается жизненное назначение, но не в большей степени, чем если бы он был частью паровой машины. Здесь, как и всегда у Аристотеля, идея умеренности определяет точку зрения, с которой следует изучать низшую или материальную систему. Органическая ткань состоит из четырех элементарных начал - горячего, холодного, влажного и сухого, смешанных вместе в соответствующих пропорциях; цель органической функции - поддерживать их в должном равновесии, что достигается регулирующей силой души, которая, соответственно, располагается в сердце или центре тела. Уже было показано, как, пытаясь разработать эту химерическую теорию, Аристотель зашел гораздо дальше от истины, чем многие другие греческие физиологи, менее предвзятые к требованиям симметричного метода.

После того как формальные и материальные элементы жизни были рассмотрены по отдельности, следует рассказ о процессе, посредством которого они впервые соединяются друг с другом, ибо именно так Аристотель рассматривает порождение. У него это передача материи психической силой; и его представления о роли, которую играет каждый родитель в производстве нового существа, во всем искажены этим ошибочным предположением. Тем не менее его трактат на эту тему является для своего времени одной из самых замечательных работ, когда-либо написанных, и, как нам говорят, по [праву257](#), сейчас он менее устарел, чем соответствующие исследования Гарвея. Особый гений философа к наблюдению, анализу и сравнению отчасти объясняет его успех; но, если мы не ошибаемся, есть и другая, менее очевидная причина. Здесь фатальное разделение формы и материи было, за исключением первых моментов, исключено самой идеей порождения; а телеологический принцип спонтанных усилий по реализации предопределенной цели, как оказалось, полностью соответствовал самим фактам.

И теперь, оглядываясь на его космологию, мы видим, что Аристотель никогда не был так близок к истине, как когда он пытался преодолеть пропасть между двумя сферами, одной тленной и другой вечной, с помощью идеи движения, рассматриваемого как специфическое свойство всей материи и сохраняющееся во все время; как связь между небесными оборотами и изменениями, происходящими на поверхности земли или вблизи нее; и, наконец, как непосредственная причина тепла, великого агента, действующего в противовес гравитации - последний взгляд, возможно, подсказал Бэкону его капитальное открытие, что тепло само по себе является способом движения.

Другим методом, с помощью которого Аристотель пытался преодолеть противопоставление жизни как механического устройства и жизни как метафизической концепции, было недавно созданное исследование сравнительной анатомии. Вариации в структуре и функции, сопровождающие изменения в окружающей среде, хотя и воспринимаются статически, а не динамически, приближают нас к истине, что биологические явления подчиняются тем же общим законам причинности, что и все остальные явления; и именно эта истина в науке о жизни соответствует отождествлению земной и небесной физики в науке общей механики. Жизненная сила не является индивидуализированным принципом, расположенным в сердце и служащим только для уравнивания противоположных сил друг против друга; она распространяется по всем тканям и наделяет их той необычайной пластичностью, которая отвечает на действия окружающей среды спонтанными изменениями, способными суммироваться в любом направлении и таким образом создавать совершенно новые органические формы без вмешательства какого-либо сверхъестественного агентства.

V.

Теперь нам предстоит рассмотреть, как Аристотель рассматривает психологию, не в связи с биологией, а как отдельную науку - разделение, не вполне согласующееся с его собственным определением души, но вынужденное традициями греческой философии и природой вещей. Здесь фундаментальная антитеза принимает троякую форму. Во-первых, теоретическая деятельность разума отличается от его практической деятельности; первая осуществляется в отношении вещей, которые не могут, а вторая - в отношении вещей, которые могут быть изменены. Опять же, подобное различие преобладает в пределах особой области каждого из них. Там, где объектом является истина, знание противостоит чувству; там, где стремятся к добру, разум превосходит страсть. Первая антитеза была введена в философию ранними физиками, вторая - Сократом. В психологии Платона они были смешаны, и Аристотелю принадлежит заслуга еще раз разделить их. Однако даже он сохраняет некий искусственный параллелизм между ними, используя общее имя *Nous*, или разум, для обозначения управляющего члена в каждой из них. Чтобы сделать его антропологию еще более сложной, необходимо принять во внимание третью антитезу - между индивидом и сообществом, которая также иногда частично совпадает с двумя другими.

Трактат Аристотеля о душе в основном посвящен описанию теоретических способностей - чувства и мысли, или разума. С помощью чувства мы знакомимся с материальными качествами вещей, с помощью мысли - с их формами или идеями. Уже упоминалось, что, по мнению нашего философа, организм - это система противоположных сил, удерживаемых в равновесии душой, местопребывание которой он полагает в сердце. Теперь мы узнаем, что каждое ощущение является нарушением этого равновесия. Другими словами, сенсориум, являющийся практически любой формой материи, переходит из состояния возможности в состояние актуальности благодаря присутствию какой-то одной силы, например тепла или холода, достаточной для того, чтобы склонить равновесие в ту или иную сторону. Здесь мы имеем, в обычном стиле Аристотеля, описание вместо объяснения. Атомное представление о тонких пленках, отбрасываемых от объекта ощущения и падающих на органы зрения или осязания, было лишь грубой догадкой; тем не менее оно имеет больше общего с открытиями Юнга или Гельмгольца, чем схоластические фразы о потенциальности и актуальности. То, что ощущение подразумевает нарушение равновесия, - действительно, важная истина; только равновесие должно быть представлено как баланс не возможных ощущений, а молекулярных состояний, то есть должно быть интерпретировано в соответствии с атомной теорией.

Аристотель добивается большего успеха, когда переходит к обсуждению воображения. Он объясняет его как продолжение движения, первоначально переданного ощущаемым объектом органу чувств, сохраняющееся в отсутствие самого объекта, - настолько близкий подход к истине, насколько это было возможно в его время. И он также прав, когда говорит, что операции разума возможны только с помощью того, что он называет фанатами, то есть слабыми воспроизведениями ощущений. Кроме того, он указывает на связь между памятью и воображением и кратко, но очень точно перечисляет законы ассоциации. Однако он совершенно не осознает их масштабов. Он даже не видит, что они объясняют произвольное припоминание, и ограничивает их добровольной операцией, с помощью которой мы вызываем в сознании отсутствующее имя или другой образ.

До сих пор Аристотель рассматривает душу как функцию, или энергию, или совершенство тела, от которого она может быть отделена не больше, чем зрение от глаза. Иначе обстоит

дело с той частью ума, которую он называет *Nous*, или Разум, - способностью познавать абстрактные идеи или чистые формы вещей. В микрокосме оно соответствует вечному *Nous* макрокосма и, как и он, абсолютно нематериально, не зависит в своей деятельности от работы какого-либо телесного органа. Однако существует общая аналогия между ощущением и мыслью, рассматриваемыми как процессы познания. До опыта *Nous* не является мыслью как таковой, но лишь возможностью мыслить, подобно гладкой восковой доске, ожидающей, когда на ней напишут. Соприкасаясь с объективными формами вещей, оно определяется к определенной идее и в этом определении поднимается от силы к актуальности. Закон умеренности, однако, не распространяется на мысль. Чрезмерная стимуляция сначала вредна, а затем разрушительна для органов чувств, но мы не можем иметь слишком много идей; чем интенсивнее они, тем лучше мы можем представить себе все идеи, которые подпадают под них, просто потому, что идеализация - это бесплотный процесс. И еще одно различие между ощущением и мыслью состоит в том, что последняя гораздо полнее отождествляется со своим объектом, чем первая; именно в самом акте запечатления в *Nous* формы вещей становятся совершенно отделенными от материи и таким образом достигают своей окончательной реализации. Только в нашем сознании вечные идеи преходящих явлений осознают себя. Такова, как мы полагаем, истинная интерпретация знаменитого аристотелевского различия между активным и пассивным *Nous*. Один, говорит он нам, *делает* все, что *делает* другой. Активный *Nous* подобен свету, поднимающему цвета от возможности к актуальности. Он вечен, но мы не помним о его прошлом существовании, потому что пассивный *Nous*, без которого он не может ничего мыслить, тленен.

Как видно, мы не считаем, что два вида *Nous* отличаются друг от друга как высшая и низшая способности. В этом, на наш взгляд, заключается большая ошибка комментаторов, по крайней мере тех, кто не отождествляет активный *Nous* с Богом или с неким агентством, исходящим от Бога - гипотеза, совершенно не соответствующая теологии Аристотеля. Они описывают его как факультет и как имеющий отношение к какому-то более высокому виду знания, чем то, что находится в пределах досягаемости пассивного *Nous*.²⁵⁸ Но у Аристотеля факультет - это всегда потенция и пассивный получатель, тогда как творческая причина прямо объявлена актуальностью, которая, в этой связи, не может означать ничего, кроме индивидуальной идеи. Трудность заключается в том, чтобы понять, почему об объективных формах вещей вдруг заговорили как о существующих внутри разума и обозначили их термином, несущим такие субъективные ассоциации, как *Nous*; трудность не уменьшается от загадочного сравнения со светом в его отношении к цвету, *illumination*, который в данном случае лишь сделал тьму видимой. Мы полагаем, что Аристотеля побудили высказаться так, как он это сделал, следующие соображения. Он начал с того, что, подобно тому как органы чувств переходят от потенции к актуальности через контакт с соответствующими качествами внешних объектов, так и рассудочная способность формирует конкретные мысли через контакт с конкретными вещами, воплощающими их; так, например, к общей идее прямого угла привел реальный опыт прямых линий. Затем, возможно, ему пришло в голову, что один и тот же объект не может производить два столь глубоко различных впечатления, как ощущение и мысль; что разум противопоставляется внешним реалиям благодаря атрибуту самосознания; и что форма, присущая материи, не может непосредственно наложить отпечаток на нематериальную субстанцию. Идея творческого Нуса, как нам кажется, была придумана для того, чтобы избежать этих недоумений. Идеальные формы вещей переносятся в сознание вместе с ощущениями и, проходя через воображение, очищаются от материи, ранее связанной с ними. Таким образом, их можно представить как часть разума, находящуюся в нем, хотя еще не являющуюся его частью, и как действующую на его высший факультет, пассивный *Nous*. И, как бы предвосхищая, они называются именем того, с чем они полностью отождествляются в познании. Как формы вещей они вечны; как мысли они

самосознательны; в то же время, в обоих качествах, они творческие, и их творческая деятельность - это по сути нематериальный процесс. Здесь мы имеем старую путаницу между формой и функцией; старую неспособность примирить притязания всеобщего и особенного в познании и существовании. В конце концов, Аристотель вынужден извлекать актуальность из встречи двух возможностей, а не из встречи актуальности и возможности. Вероятно, слабость его собственной теории не ускользнула от него, поскольку впоследствии он никогда к ней не [возвращается](#)²⁵⁹.

Многие полагают, что в работе Аристотеля о воспроизводстве содержится ссылка на его различие между двумя Причинами, но мы убеждены, что это ошибка. Нам говорят, что при первом формировании нового существа вегетативная душа, будучи исключительно телесной функцией, заранее содержится в элементах, поставляемых женщиной; что чувствительная душа вносится мужчиной (очевидно, зарождаясь в сперме под воздействием жизненного тепла родительского организма); и, наконец, что рациональная душа, хотя и полностью нематериальная, также вносится со спермой, в которую она сначала была привнесена извне, но где, когда и как - не [уточняется](#)²⁶⁰. Но даже если бы данная генетическая теория была полностью прояснена, она все равно не пролила бы свет на различие между активным и пассивным разумом, поскольку последний может быть понят только разумной душой, к которой он относится. Ведь нам прямо сообщают - что, в сущности, вряд ли нужно говорить, - что эмбриональные души существуют не в акте, а в [потенции](#)²⁶¹. Поэтому кажется, что мистер Эдвин Уоллес вдвойне ошибается, когда цитирует предложение из этого отрывка в оправдание своего утверждения, что "Аристотель, кажется, почти отождествляет" творческую причину "с Богом как вечным и вездесущим мыслителем" ²⁶²; во-первых, потому что оно вообще не относится к творческому Nous; и, во-вторых, потому что, если бы это было так, слова не выдержали бы того смысла, который он в них [вкладывает](#)²⁶³.

Но если даже такая малость, как это, остается недоказанной, то что же нам думать о поразительном утверждении, что "теория творческого разума Аристотеля, как бы фрагментарна ни была эта теория, является ответом на все материалистические теории вселенной. Для Аристотеля, как для тонкого шотландского проповедника,²⁶⁴ "реальной предпосылкой всякого знания, или мыслью, которая есть *prius* всех вещей, является не сознание индивидом себя как личности, а мысль или самосознание, которое находится за пределами всех индивидуальных "я", которое есть единство всех индивидуальных "я" и их объектов, всех мыслителей и всех объектов мысли." ²⁶⁵ Как можно опровергнуть материализм или что-либо еще с помощью теории, которая изложена настолько туманно, что ни один из толкователей не может прийти к согласию в ее объяснении? И даже если бы она была изложена с совершенной ясностью и полнотой, как можно опровергнуть любую гипотезу простым догматическим заявлением Аристотеля? Неужели мы вернулись в Средневековье, и его *ipse dixit* заключается в том, чтобы решать вопросы, поднятые сейчас, с помощью гораздо более широких средств обсуждения, чем те, которыми он мог обладать? Что касается метафизики директора Кэрда, то у нас нет желания оспаривать ее теоретическую точность, и мы можем только восхищаться либеральностью Церкви, в которой разрешено проповедовать предложения, столь совершенно разрушающие традиционную ортодоксию. Но в одном мы уверены: независимо от того, согласуются ли они с христианским теизмом или нет, они совершенно не согласуются с аристотелевскими принципами. Что такое "мысль или самосознание", о котором идет речь, - возможность или действительность? Если первое, то это не *prius* и не творческая причина. Если второе, то она

не может выйти за пределы всех или любых индивидуальных "я", поскольку, по Аристотелю, индивиды - единственная реальность, а высшее существо его системы в высшей степени индивидуально; не может она и объединить их, поскольку, согласно Аристотелю, две вещи, которые являются двумя в актуальности, не могут быть одной в [актуальности](#)²⁶⁶.

Теперь мы обратимся к сэру А. Гранту, который, как уже говорилось начале предыдущей главы, делает Аристотеля сторонником покойного профессора Феррьера. Мы изложим точку зрения ученого директора его собственными словами: - "Его высказывания по этому вопросу [о природе - прим. пер.

"Его высказывания на эту тему [существование внешнего мира], пожалуй, в основном можно найти в третьей книге его трактата "О душе", начиная с четвертой главы. Обратившись к ним, мы увидим, что он никогда не отделяет существование от знания. "Вещь в действительном существовании", - говорит он, - "тождественна знанию об этой вещи". И снова: "Возможное существование вещи тождественно возможности ее восприятия или познания". Таким образом, пока вещь не воспринята или не познана, о ней можно говорить только как о потенциальной или возможной. Отсюда можно вывести доктрину, очень похожую на доктрину Феррьера: "Ничто не существует иначе как *плюс я*", то есть по отношению к какому-то воспринимающему его уму" (*Aristotle*, p. 165.).

После долгих поисков нам не удалось найти оригиналы двух отрывков, процитированных сэром А. Грантом. Однако мы нашли другие, излагающие доктрину естественного реализма с ясностью, не оставляющей желать лучшего. Аристотель говорит нам, что прежние натуралисты ошибались, когда говорили, что без зрения не может быть черного или белого, а без вкуса - вкуса; то есть они были правы в отношении актуальности и неправы в отношении возможности; ведь, как он объясняет, наши ощущения возникают в результате воздействия внешних тел на соответствующие органы, причем деятельность одна и та же, а существование разное. Звучащее тело производит звук в нашем слухе; воспринимаемый звук и действие тела идентичны, но не их существование; ибо, добавляет он, слушатель не обязательно должен всегда слушать, а звучащее тело - звучать; и так же со всеми другими [чувствами](#)²⁶⁷.

Это не делает *percipi* объектов их *esse*. Опять же, в восьмой главе он говорит нам, что душа - это "определенным образом" (τῷς) все вещи, поскольку все вещи либо чувственны, либо познаваемы; и затем он переходит к объяснению того, что подразумевается под "определенным образом". Чувство и знание распределены по вещам таким образом, что их возможность - это возможность, а их актуальность - актуальность вещей. Таким образом, они должны быть либо самими вещами, либо их формами. *Но самими вещами они, конечно, не являются*, ибо камень находится не в душе, а в ее форме". В "Метафизике" Аристотель высказывается в том же духе, но еще более определенно. Критикуя протагоровскую доктрину, он доводит ее до абсурда, утверждая, что если бы не было ничего, кроме чувств, то в отсутствие одушевленных существ вообще ничего не могло бы существовать, поскольку без них не было бы никаких ощущений. Он признает, что в предполагаемом случае не было бы ни ощущений, ни ощущаемых объектов, поскольку они предполагают наличие чувствующего субъекта; но добавляет, что для субстанций (τὰ ὑποκείμενα), которые производят ощущения, не существовать невозможно; "ведь кроме ощущений есть еще что-то, что обязательно должно существовать до них".²⁶⁸ И сразу же после этого он завершает аргумент, замечая, что если бы видимость была единственной истиной, то не было бы никаких независимых существований, и все было бы относительным, поскольку видимость

существует только по отношению к тому, кому она кажется. Вряд ли стоит говорить, что эта универсальная относительность была именно тем, за что ратовал Феррье.

Сэр А. Грант находится на более сильной или, скорее, на более недоступной почве, когда использует различие между двумя причинами как подразумевающее некую идеалистическую теорию, поскольку здесь смысл Аристотеля выражен гораздо менее четко. И все же, если наша интерпретация верна, если творческий *Nous* означает просто формы вещей, действующие через воображение на возможности субъективного восприятия, взгляд Аристотеля будет прямо противоположен тому, который отстаивает сэр Александр; мысль, вместо того чтобы лепить, сама будет лепиться внешней реальностью. Ни в коем случае мы не имеем права ставить неясный и спорный отрывок против отчетливых, эмфатических и неоднократных заявлений Аристотеля о том, что ощущения и представления - существенно аналогичные процессы, вместе с его столь же отчетливым заявлением о том, что объекты ощущений независимы от наших чувств. Мы думаем, что при повторном рассмотрении сэр А. Грант обнаружит, что он слишком много доказывает. Ведь если бы вещи, которые создает разум, были внешними по отношению к разуму, то Аристотель зашел бы по меньшей мере так же далеко, как те "крайние немецкие идеалисты", от которых его хочет отделить его разоблачитель. И наконец, мы хотели бы заметить, что выставлять аристотелевское различие между формой и материей в противовес материалистическим теориям современности - значит глубоко заблуждаться относительно его смысла. Форма и материя нигде не отличаются друг от друга как субъект и объект. Форма означает просто атрибуты вещи, всю совокупность ее дифференциальных характеристик. Но о том, что это само по себе не равнозначно сознательному разуму, нам говорит сам Аристотель.²⁶⁹ С другой стороны, "материя", которой "некоторые философы" приписывают "независимое существование", вовсе не является его "материей", а просто суммой вещей *за вычетом* сознания. Стагирит, правда, не верил в возможность существования такой вселенной, но только потому, что (как мы показали) не был знаком с высшими законами движения. И все же, даже принимая "материю" в своем собственном техническом смысле, Аристотель согласился бы с профессором Тиндаллом, что она содержит в себе обещание и потенцию всей будущей жизни, за исключением только разума. Он очень ясно говорит нам, что чувствительная душа - это соматическая функция, то, что, хотя и не является телом, но принадлежит телу; и это, как мы полагаем, все, на что сейчас может претендовать любой материалист.²⁷⁰ И если бы он зашел так далеко, ничто не помешало бы ему пойти еще дальше, если бы он только был знаком с зависимостью всего интеллекта от нервных действий. Во всяком случае, сейчас наблюдается тенденция к тому, чтобы стереть различие, которое он провел, и заменить его другим различием, которым он пренебрег. В то время как все функции сознания, от самых элементарных ощущений до самых сложных рассуждений, переходят друг в друга по незаметным градациям, сознание в целом по-прежнему отделено от объективного существования непроходимой пропастью; и если и есть какая-то надежда примирить их, то она кроется в абсолютном идеализме, который он так резко отверг. То, на что мы уже неоднократно имели случай указать в других разделах его системы, еще раз подтверждается в его психологии. Прогресс мысли стал результатом объединения принципов, между которыми он проводил жесткую демаркацию. Мы обнаружили, что восприятие может быть понято только как процесс, по существу однородный с высшей мыслью, и ни более, ни менее нематериальный, чем она сама. С объективной стороны и то и другое может быть разрешено в сенсомоторные действия, с субъективной - в группы связанных между собой ощущений. И здесь мы также должны отметить, что, когда Аристотель предвосхищает современную мысль, это происходит через его одну великую посредническую, синтетическую концепцию. Он случайно замечает, что наши знания о размерах и формах приобретаются не с помощью

специальных органов чувств, а благодаря движению - это открытие намного опередило Локка²⁷¹.

Если есть те, кто ценит Аристотеля как защитника спиритуализма, они должны принимать его с его обременениями. Если его философия доказывает, что одна часть души нематериальна, она в равной степени доказывает, что душа, если брать ее в целом, тленна. Он не только отвергает платоновский метемпсихоз как несовместимый с физиологией, но и заявляет, что привязанность, память и рассудок являются функциями не вечного Nous, а всего человека, и прекращаются с его распадом. Что касается активного Nous, то он говорит нам, что оно не может мыслить без помощи пассивного Nous, которое смертно. И в "Никомаховой этике" есть различные отрывки, показывающие, что он столкнулся с этим отрицанием будущей жизни и совершенно смирился с его последствиями.²⁷² В какой-то период своей жизни, вероятно под непосредственным влиянием Платона, он предавался мечтам о бессмертии; но более глубокого знакомства с естественными науками хватило, чтобы рассеять их. Возможно, томительное почитание своего учителя заставило его намеренно использовать двусмысленные формулировки, говоря о вечности творческого разума, который он так тесно связывал с самосознанием. Это может напомнить нам знаменитое предложение Спинозы *"Sentimus experimenturque nos aeternos esse"*, слова, абсолютно не связанные с надеждой на продолжение существования человека после смерти, но, очевидно, предназначенные для того, чтобы привлечь некоторые чувства, связанные с этой верой, на сторону собственной философии писателя.

С другой стороны, дух платоновской религии сохранился в учении его ученика в новой форме. Идея вечной личности была как бы объединена и объективирована, будучи перенесена с человеческого на божественное; и таким образом каждый философ развивает тот аспект религиозной веры, который отсутствует у другого, иллюстрируя тем самым тенденции, в некоторой степени взаимоисключающие, которые разделяют всю теологию между ними. Остается заметить, что если даже теизм Аристотеля несовместим с католической верой, то тем более его психология должна быть ее прямым отрицанием. Философия философа столь же фатальна для доктрины Церкви о будущих наградах и наказаниях, как и для ее доктрины о божественном вмешательстве в обычный порядок природы.

VI.

Теперь мы переходим к рассмотрению самого важного достижения Аристотеля - его системы логики. И поскольку и здесь мы найдем немало поводов для критики, начнем с того, что, по нашему мнению, его вклад в эту науку - самый ценный из когда-либо сделанных, и, возможно, он сделал для ее развития больше, чем все остальные труды на ту же тему, вместе взятые.

Главное дело разума, как мы видели, формировать абстрактные идеи или понятия о вещах. Но еще до Аристотеля было обнаружено, что понятия, или, скорее, термины, их выражающие, способны объединяться в предложения, которые могут быть либо истинными, либо ложными, и чья истинность может быть вопросом либо уверенности, либо простого мнения. В современной психологии, вплоть до самых последних времен, всегда предполагалось, что, подобно тому как существует интеллектуальная способность или операция, называемая абстракцией, соответствующая терминам, из которых состоит пропозиция, так же существует способность или операция, называемая суждением, соответствующая всей пропозиции. Иногда третья операция, заключающаяся в соединении пропозиций вместе для формирования силлогизмов, приписывается отдельной

способности, называемой разумом; иногда все три операции рассматриваются как восходящие ступени одного фундаментального процесса. Однако ни Платон, ни Аристотель не рассматривали этот вопрос с такой научной точки зрения. Для них обоих создание или, скорее, открытие понятий было самым важным делом философа, а суждения и рассуждения были лишь вспомогательными. Поэтому, если в одной части своей логики они были реалистами и концептуалистами, то в другой - номиналистами. Абстрактные имена и определения, раскрывающие их смысл, соответствовали реальным сущностям в природе - вечным идеям одних и субстанциальным формам других, - а также ментальным представлениям, с существованием которых они соглашались, хотя и приписывали им иное происхождение. Но они не относились к пропозициям как к выражению естественных законов вне или суждений внутри разума; а рассуждение они рассматривали скорее как искусство мышления, метод открытия идей, чем как систематизацию процесса, спонтанно осуществляемого каждым человеком без осознания этого; и даже в этом качестве они склонны связывать его с теорией определения, а не с теорией синтетических пропозиций. Некоторое приближение к реалистическому взгляду, действительно, есть и у тех, и у других. Беспокойная и проницательная мысль Платона, вероятно, к концу его карьеры, привела его к исследованию взаимных отношений тех Идей, которые он сначала был склонен рассматривать как абсолютно отдельные. В "Софисте" он показывает нам, как самые абстрактные понятия, такие как бытие, тождество и т. д., должны в определенной степени принимать природу друг друга; а когда их связь не лежит на поверхности, он пытается установить ее путем введения третьей идеи, очевидно связанной с обеими. В поздних книгах "Республики" он также указывает на схему расположения своих Идей в соответствии с фиксированной иерархией, напоминающей конкатенацию математических доказательств, путем восхождения и нисхождения по которым разум должен приобщиться к абсолютной истине; и мы увидим, как Аристотель, следуя по тому же пути, искал аналог своего силлогистического метода в объективном порядке вещей. Тем не менее у него, как и у его учителя, наука была не тем, чем она является для нас, - изучением законов, вечно растущим сводом истин, - а процессом определения и классификации, систематизацией того, что уже было воспринято и осмыслено.

Именно благодаря инициативе Сократа логика получила такое направление. Настаивая на первостепенной важности определения, он отвлек внимание от предложений, пополняющих наши знания, и сосредоточил его на тех, которые лишь точно фиксируют значение слов. Однако при этом на него оказал влияние как дух старой физической философии, которую он осуждал, так и потребности новой гуманистической культуры, которую он помогал внедрять. Его определения были, по сути, воспроизведением в очень малых масштабах тех попыток сформулировать всю Вселенную, которыми были заняты самые ранние ионийские спекуляции. Следуя естественной тенденции греческой мысли и мощному притяжению космической философии, быстро были предприняты усилия по обобщению и соединению этих частичных определений, пока они не выросли в систему универсальной классификации. Именно тогда, когда под влиянием нового анализа эта система грозила развалиться на куски, впервые появилась рудиментарная доктрина суждения. Структура грамматического предложения была использована для объяснения того, как объективные идеи могут, в некотором роде, накладываться друг на друга и примыкать друг к другу. Поэтому предложения, которым как выражению общих истин суждено было стать началом и концом мысли, поначалу оставались в строгом подчинении у отдельных понятий, которые они связывали и согласовывали.

У Аристотеля пропозиции приобрели новое значение. Он рассматривал их как посредников не только между понятиями, но и между понятием и рассуждением. Однако ни как психолог,

ни как логик он не оценил их по достоинству. В его работе о душе суждение рассматривается очень кратко, и мы остаемся в сомнении, является ли оно функцией только Nous или Nous в сочетании с какими-то другими способностями. Если оставить в стороне трактат "Толкование", который, вероятно, является подделкой и, во всяком случае, не бросает нового света на эту тему, мы можем собрать из его логических трудов полдюжины различных предложений по классификации предложений, основанных частично на их форме и частично на их значении. Во всех них мы обнаруживаем явную тенденцию применить и здесь его великое фундаментальное различие между сферой единообразия и сферой изменения и противопоставления. Все предложения либо универсальны, либо конкретны; либо позитивны, либо негативны; либо необходимы, либо актуальны, либо условны; либо взаимны, либо не взаимны; либо существенны, либо случайны; либо отвечают на первый вопрос категорий, либо на один из девяти других.²⁷³ Но нигде не делается попытки объединить и систематизировать эти различные точки зрения.

В теории умозаключений простая пропозиция берется в качестве отправной точки; но вместо того, чтобы выводить силлогизм из синтеза двух посылок, Аристотель доходит до посылок через заключение. Он говорит нам, что рассуждение - это способ открыть из того, что мы знаем, то, чего мы не знали раньше. Однако у него это процесс не открытия, а доказательства. Он начинает с вывода, анализирует его на предикат и субъект или на главное и второстепенное, а затем, путем дальнейшего анализа, вводит средний термин, соединяющий эти два понятия. Так, мы начинаем с предложения "Кайус смертен" и доказываем его, интерполируя понятие "человечество" между двумя крайностями. С этой точки зрения посылки - лишь временные подмости для приведения главных и второстепенных членов в связь со средним членом; и это также причина, по которой Аристотель признает только три фигуры силлогизма вместо четырех, признаваемых более поздними логиками. Ведь середина может либо содержаться в одной крайности и содержать другую, что дает нам первую фигуру; либо она может содержать обе, что дает вторую фигуру; либо содержаться в обеих, что дает третью; и это исчерпывающее перечисление возможных комбинаций²⁷⁴.

Здесь также кроется секрет того сложного механизма, придуманного для совершенно ненужной цели преобразования силлогизмов второй и третьей фигуры в силлогизмы первой, который является одним из главных вкладов Стагирита в логику. Ведь только в первой фигуре понятие, с помощью которого крайности либо соединяются, либо удерживаются друг от друга, действительно является средним термином, то есть действительно находится между другими. Различие между совершенными и несовершенными силлогизмами также служит иллюстрацией систематического деления Аристотеля на необходимое и условное. Метод доказательства включением соответствует в своей безусловной и независимой действительности концентрическому расположению надземных сфер; вторая и третья фигуры, с их преобразованиями и сокращениями, - подлунной сфере в ее беспомощной зависимости от небесных вращений и превращений элементов друг в друга.

Правила, которые Аристотель дает нам для преобразования предложений, несомненно, очень поучительны и проливают свет на их смысл; но нельзя не заметить, что такой процесс, как преобразование, должен был бы, согласно его собственным принципам, быть недопустимым. У Платона соположение субъекта и предиката соответствовало почти механическому сопоставлению двух самосуществующих идей. Поэтому было безразлично, в каком порядке они располагаются. С другой стороны, Аристотель, настаивая на восстановлении конкретного объекта и сводя общие понятия к анализу его частных

аспектов, не мог не сделать предикат подчиненным и зависимым от субъекта - отношение, которое полностью исключает логическую возможность их взаимозаменяемости друг с другом²⁷⁵.

Антитетическая структура всей системы воспроизводится даже в первой фигуре силлогизма, где существует аналогичная оппозиция между первым настроением, с помощью которого можно получить только универсальные утверждения, и остальными тремя, выводы которых либо отрицательны, либо конкретны, либо и то и другое. А сложные правила проверки истинности тех силлогизмов, в которых посылки различаются как необходимые, действительные и возможные, еще более очевидно основаны на ложных метафизических различиях Аристотеля; так что с отменой этих различий значительная часть "Аналитики" полностью теряет свою ценность для современных студентов.

С другой стороны, теория рассуждений, основанная на отношениях понятий, а не на отношениях суждений, неизбежно оставляет без внимания всю доктрину гипотетических и дизъюнктивных предложений, а также основанные на них силлогизмы, поскольку элементы, из которых они состоят, сами являются предложениями. И это неизбежное упущение тем более примечательно, что альтернативные и, в меньшей степени, гипотетические аргументы составляют основу диалектики самого Аристотеля, а категорические рассуждения вообще не встречаются в ней. Его постоянный метод - перечисление всех возможных точек зрения на предмет и рассмотрение их одной за другой, отбрасывая несостоятельные и довольствуясь оставшимися. Другими словами, он приходит к своим положительным выводам через ряд отрицательных предпосылок, представляющих собой процесс постепенного устранения. Первая "Аналитика" сама по себе является замечательным примером его излюбленного метода. Обсуждаются все возможные комбинации терминов, и достоверные настроения отсеиваются из гораздо большего числа незаконных силлогизмов. Диалектика Сократа и Платона следовала той же процедуре. По сути, она была экспериментальной - методом проб, исключений и отбора. Возвращаясь еще дальше назад, мы обнаруживаем, что, когда в Гомере появляются какие-либо рассуждения, они проводятся по той же схеме. Гектор в своем солилоквиите перед Скейскими воротами представляет себе три альтернативных пути, в совокупности исчерпывающих возможности ситуации. Он может либо отступить за стены, либо предложить Ахиллу условия мира, либо сражаться. Первые две альтернативы отвергнуты, остается только третья. Это самый подробный пример; но во многих других случаях действующие лица Гомера представлены колеблющимися между двумя вариантами и в конце концов решающими один из них.

По правде говоря, дизъюнкция - это изначальная форма всех рассуждений, из которой последовательно развиваются другие формы; и как таковая она является общей для человека и низших животных. Вы гуляете со своей собакой в деревне. Вы подходите к ручью и перепрыгиваете через него. Измерив расстояние взглядом, животное боится идти за вами. Подождав немного, он сначала бежит вверх по течению в поисках переправы, но, не найдя ее, возвращается и ищет ее в противоположном направлении. Потерпев неудачу и там, он снова возвращается и либо пускается вскачь, либо добирается до дома каким-то другим путем. Теперь, рассмотрев этот вопрос чуть более внимательно, мы обнаружим, что гипотетические рассуждения берут свое начало рассмотрения каждой отдельной альтернативы, представленной дизъюнктивной посылкой. Если перед нами открыто множество вариантов, мы рассматриваем, что последует за принятием или отвержением каждого из них. Собака на нашей иллюстрации думает (в собачьей манере), что если она прыгнет, то может упасть, а если нет, то останется позади. Гектор не укроется в стенах, потому что, если он это сделает, Полидамас одержит над ним победу; он также не предложит

условия мира, потому что, если он это сделает, Ахилл их отвергнет. И снова категорические рассуждения развиваются из гипотетических рассуждений благодаря необходимости выводить следствия из общего правила. Из известных характеров Полидама и Ахилла Гектор должен был сделать вывод, что при определенных обстоятельствах они поступят определенным образом. Мы можем добавить, что этот прогресс сознательных рассуждений является воспроизведением бессознательной логики, в соответствии с которой развивается сама жизнь. Спонтанно возникают всевозможные комбинации, которые в результате борьбы за существование не могут выжить все. Те из них, которые приспособлены к условиям жизни, отбираются на испытаниях за счет остальных, и их адаптация или неприспособленность определяется в соответствии с категориальными законами. Более того, формулировка дизъюнктивного предложения требует систематического распределения возможностей по взаимоисключающим категориям, что влечет за собой логические процессы определения, деления и классификации. Диалектика, как ее понимал Платон, почти полностью состояла в совместном выполнении этих операций; этот процесс Аристотель рассматривает как непосредственного, но весьма несовершенного предшественника своего собственного метода силлогизма.²⁷⁶ Нельзя, говорит он, ничего доказать, разделив, например, все живые существа на два класса - смертных и бессмертных; если, конечно, не исходить из самого обсуждаемого вопроса - к какому классу принадлежит тот или иной вид. Тем не менее, именно так он постоянно рассуждает сам; и даже демонстративный разум *ing*, как он его понимает, подразумевает наличие готовой классификации. Ибо, по его мнению, он состоит исключительно из предложений, в которых предсказывается некий существенный признак вещи, иными словами, некий признак, уже включенный в определение предмета; а непрерывный ряд таких определений может быть дан только посредством фиксированной классификации вещей.

VII.

Мы постарались показать, что изложение силлогизма у Аристотеля, с одной стороны, избыточно, а с другой - ущербно; обе ошибки обусловлены ложным анализом самого процесса рассуждения в сочетании с ложной метафизической философией. То же дурное влияние с гораздо большим эффектом сказывается на его теории прикладного рассуждения. Здесь фундаментальное разделение, соответствующее разделению между небом и землей в космосе, проходит между демонстрацией и диалектикой или экспериментальным рассуждением. Первое начинается с первых принципов, достоверность которых не вызывает сомнений, второе - с принципов, достоверность которых должна быть проверена их последствиями. В самом абстрактном виде это различие вполне обоснованно и почти предвосхищает современное разделение между дедукцией и индукцией, процессом применения общих законов и процессом их установления. Аристотель, однако, совершил две большие ошибки: он считал, что каждый метод соответствует совершенно различному порядку явлений, и полагал, что оба они по большей части связаны с определениями. Задняя аналитика, содержащая его теорию демонстрации, отвечает астрономической части его физики; это учение о вечной и необходимой истине. И подобно тому, как в его онтологии проводится различие между первотолчком, который сам не движется, и вечным движением, производимым его воздействием, так и в его логике проводится различие между непогрешимыми первыми принципами и истинами, выводимыми из них, причем последние, по его мнению, имеют меньшую ценность. Так вот, согласно Аристотелю, эти первые принципы являются определениями, и именно этим обусловлена их самоочевидная определенность. При этом это не словесные, а реальные определения, то есть всеобщие формы вещей самих по себе, явленные взору разума, или, точнее, отпечатанные на нем, как отпечаток перстня на воске. И, в результате дальнейшего уточнения, он, кажется, проводит

различие между понятием в целом и отдельными знаками, которые его составляют, причем эти последние являются конечными элементами всего существования и настолько же выходят за пределы своих сложных форм, насколько Nous выходит за пределы разумной истины.

Такая точка зрения была в корне неблагоприятна для прогресса науки, поскольку наделяла скудные и весьма сомнительные абстракции более высоким достоинством, чем далеко идущие комбинации, с помощью которых только мы и можем разгадать внутреннюю структуру видимых явлений. Вместо того чтобы использовать разум для дополнения чувства, Аристотель превратил его в более тонкий и универсальный вид чувства; и если эта катастрофическая ассимиляция была в определенной степени навязана ему традициями афинской мысли, она прекрасно гармонировала с описательным и поверхностным характером его собственного интеллекта. Многое было связано и с методом геометрии, который в его время уже принял форму, известную нам по "Началам" Евклида. Использование аксиом наряду с определениями, действительно, могло привлечь его внимание к существованию и важности суждений, которые, по кантовской терминологии, являются не аналитическими, а синтетическими, то есть дополняющими содержание понятия, а не просто анализирующими его. Но хотя он упоминает аксиомы и утверждает, что из них выводятся математические теоремы, ему, похоже, никогда не приходило в голову подозрение об их существенном отличии от определений или о том типичном значении, которое им суждено было принять в теории рассуждений; иначе он вряд ли мог бы не спросить, как мы приходим к нашему знанию о них и чему они соответствуют в природе. В целом, кажется вероятным, что он рассматривал их как анализ наших идей, отличающийся от собственно определения только общностью применения; ведь он называет закон противоречия самой важной из всех аксиом, из которой исходят [остальные](#)²⁷⁷; рядом с ней он помещает закон исключенного среднего, который также является аналитическим; а его единственный пример состоит в том, что если от равных отнять равные, то остатки будут равны, - суждение, синтетический характер которого ни в коей мере не ясен и иногда [оспаривался](#)²⁷⁸.

Мы не можем согласиться с теми критиками, которые приписывают Аристотелю признание таких вещей, как "законы природы", в смысле единообразных сосуществований и последовательностей.²⁷⁹ Такая идея подразумевает определенный баланс и равенство между субъектом и предикатом, которые он никогда бы не признал. На его языке это означало бы, что ведущей категорией является отношение, а не сущность. Следует также помнить, что он не признавал существования тех постоянных конъюнкций в природе, которые мы называем законами. Он не признавал, что вся материя тяжелая, или что текучесть предполагает наличие тепла. Обладание постоянными свойствами, или, скорее, одним постоянным свойством - круговым вращением - относится только к эфиру. Это не общее свойство различных и бесконечно многообразных явлений; оно характеризует одно тело, измеримое в объеме и уникальное в своем роде. Более того, у нас есть нечто лучшее, чем косвенные доказательства на этот счет; мы располагаем прямым утверждением самого Аристотеля, что вся наука зависит от первых принципов, в отношении которых невозможно ошибиться именно потому, что они являются универсальными абстракциями, не представляемыми разуму ни в какой [комбинации](#)²⁸⁰, - мнение, совершенно несовместимое с тем приоритетом, который сейчас отдается общим законам.

Отвечающие первым принципам демонстрации в логике, если не абсолютно тождественные им, - это то, что Аристотель называет причинами в природе вещей. Мы видели, какую важную роль играет средний термин в теории силлогизма Аристотеля. Это жизненно важный

принцип демонстрации, связующее звено, с помощью которого два крайних термина привязаны друг к другу. В теории прикладной логики, целью которой является приведение порядка мысли в полный параллелизм с порядком вещей, средний термин, через который демонстрируется факт, отвечает причине, благодаря которой он существует. Согласно нашим представлениям, в идее причинности задействованы только два термина, предшествующий и последующий; и причинность становится предметом рассуждений только тогда, когда мы видим, что последовательность повторяется единообразно. Но Аристотель был очень далек от того, чтобы достичь или даже предположить такую точку зрения. Причина для него - не определяющая предшественница, а тайная связь, с помощью которой объясняется сосуществование двух явлений. Вместо того, чтобы предшествовать, она заступает, и именно поэтому он находит ее субъективный аналог в среднем члене силлогизма. Некоторые из его собственных примеров сделают этот вопрос более понятным. Почему луна затмевается? Потому что между ней и солнцем находится земля. Почему светлая сторона Луны всегда повернута к Солнцу? Потому что она светит его отраженным светом (здесь свет - средний термин). Почему этот человек разговаривает с богачом? Потому что он хочет занять у него денег. Почему эти два человека дружат? Потому что у них один и тот же враг²⁸¹.

Аристотель даже заходит так далеко, что полностью исключает понятие последовательности из причинности. Он говорит нам, что причины событий современны самим событиям: причины прошлых событий - прошлым, настоящих событий - настоящим, будущих событий - будущим. "Эта вещь не произойдет потому, что произошла другая вещь, ибо средний срок должен быть однороден с крайними"²⁸². Очевидно, что такое ограничение упраздняет силу научного предсказания, которое если и не является единственной проверкой знания, то, во всяком случае, является его наиболее ценным подтверждением. Стагирита обвиняли в том, что он слишком доверял дедуктивным рассуждениям; теперь выясняется, что, напротив, он не понимал их важнейшей функции. Здесь, как и везде, он следует не синтетическому методу математика, а аналитическому методу естествоиспытателя. Наконец, вместо того чтобы объединить понятия причины и вида, он систематически путает их. Вспомним, как его превосходное деление причин на материальные, формальные, действенные и конечные было сведено на нет продолжающимся влиянием идей Платона. Формальная причина всегда была склонна поглощать три другие; и именно путем их полной ассимиляции он пытается согласовать порядок демонстрации с порядком существования. Ведь формальная причина явления означала лишь те свойства, которые оно разделяло с другими подобными явлениями, и именно в силу этих свойств оно становилось предметом общего рассуждения, которое трактовалось как методичное расположение понятий одно в другом, соответствующее концентрическому расположению космических сфер.

В силу того, что Аристотель придает суждениям незначительное значение по сравнению с понятиями, он не очень глубоко вникает в вопрос, как мы получаем наши предпосылки? Он говорит, причем весьма категорично, что все знания приобретаются либо путем демонстрации, либо путем индукции; точнее, мы можем добавить, что в последнем случае только путем последней, поскольку демонстрация опирается на общие положения, которые открываются индуктивным путем; но его общие положения означают определения и абстрактные предикаты или субъекты, а не синтетические предложения. Если бы, однако, его внимание было обращено на это различие, мы не можем предположить, что он, исходя из своих собственных принципов, принял бы выводы, существенно отличающиеся от выводов современной эмпирической школы. Мистер Уоллес, правда, утверждает, что он

является сторонником теории, согласно которой нельзя сделать вывод от частных к частностям без помощи общей посылки, и опроверг, предвидя это, утверждение Милля об обратном. Мы приводим анализ, который, как предполагается, доказывает это, в собственных словах мистера Уоллеса:-

Мы рассуждаем так: поскольку война между Фивами и Фокисом была войной между соседями и являлась злом, следовательно, война между Афинами и Фивами, будучи также войной между соседями, по всей вероятности, также будет злом. Таким образом, из одного параллельного случая - войны между Фивами и Фокисом - мы формируем *общее* положение: все войны между соседями - зло; к этому мы добавляем второстепенное: война между Афинами и Фивами - это война между соседями, и отсюда делаем вывод, что война между Афинами и Фивами также будет [злом](#)²⁸³.

На основании этого мистер Уоллес в другом месте замечает: "Аристотель - это не просто человек.

Его [Аристотеля] теория силлогизма - это просто явное утверждение того факта, что все знание, все мышление покоится на универсальных истинах или общих положениях - что все знания, будь то "дедуктивные" или "индуктивные", достигаются с помощью, незаменимой помощью, общих положений. Мы в Англии почти очарованы верой в то, что рассуждения постоянно ведутся от частного к частному, а "деревенская матрона" и ее "Люси" используются для выражения истины в конкретной форме, адаптированной к нашему слабому пониманию (Mill's Logic, bk. ii. ch. 3). Далее нам скажут, что кислород и водород не входят в состав воды, потому что наша деревенская матрона "вечно" пьет ее, не "пропуская" через себя ни один из элементов, и анализ химика окажется такой же большой фикцией, как и анализ логика. Аристотель поставил звенья, которые сразу же разрушили весь такой поверхностный анализ. Он показал, что даже в аналогии или примере, которые, *казалось бы*, идут от одного конкретного случая к другому конкретному случаю, мы оправданы только в той мере, в какой мы превратили конкретный случай в общую [посылку](#)²⁸⁴.

Между Аристотелем и Миллем существует огромная разница: первый лишь показывает, как рассуждения на примерах могут быть изложены в силлогистической форме, а второй исследует психологический процесс, лежащий в основе всех рассуждений, и реальное основание, на котором покоится достоверное умозаключение, - вопросы, которые вообще никогда не представлялись уму греческого философа ясными. В первую очередь Милль утверждает, что, когда из общего положения выводится какое-либо частное, оно доказывается теми же доказательствами, что и то, на которое опирается само общее, а именно другими частностями; и в этом он полностью согласен с Аристотелем. Затем он утверждает, что умозаключения от частных к частностям постоянно делаются без прохождения через общую посылку, и, чтобы проиллюстрировать свой смысл, приводит пример "деревенской матроны и ее Люси", на который мистер Уоллес ссылается с весьма незаслуженной [усмешкой](#)²⁸⁵.

Однако, как мы уже видели, он не преминул обратить это против Милля. Суть его собственной иллюстрации не очень ясна, но мы полагаем, что она подразумевает, что матрона бессознательно формулирует общее предложение: Мое средство подходит для всех детей, страдающих от той же болезни, что и Люси; и с такой же неосознанностью переходит от этого к случаю с ребенком ее соседки. Теперь совершенно неоправданно называть

анализ Милля поверхностным, потому что он оставляет без внимания гипотезу, несовместимую с номинализмом, который Милль исповедовал. Еще более неоправданно цитировать против него авторитет философа, который полностью согласен с теми, кто не верит в возможность бессознательного [знания](#)²⁸⁶, и презрительно отвергает мнение Платона об обратном. Но и это еще не все. Доктрина о том, что рассуждения ведутся от частных к частностям, даже если они проходят через общие предложения, может быть строго выведена из признаний самого Аристотеля. Если не существует ничего, кроме частных, и если знание относится к тому, что существует, то все знание относится к частностям. Поэтому, если предложения, входящие в цепь рассуждений, являются знанием, они должны иметь дело исключительно с частностями. И, совершенно не считаясь с позднейшим развитием философии Аристотеля, мы имеем его прямое утверждение, что все общее выводится из частных, что абсолютно несовместимо с утверждением, что "все знание, все мышление покоится на универсальных истинах, на общих предложениях; что все знания, будь то "дедуктивные" или "индуктивные", достигаются с помощью, необходимой помощью, общих предложений". Для Аристотеля основой знания были не "истины" какого-либо рода, а понятия; и в последней главе "Задней аналитики" он объяснил, как эти понятия выводятся из чувственных восприятий без помощи каких-либо "пропозиций".

Здесь мы сталкиваемся с важным и вызывающим много споров вопросом: был ли Аристотель эмпириком? Мы решительно утверждаем, что был, если под эмпириком понимать то, что только и следует понимать - того, кто считает, что разум не предвосхищает ничего в содержании и не вносит ничего в форму опыта; другими словами, кто считает, что знание - это согласие мысли с вещами, навязанное вещами мысли. Мы уже показали, обсуждая противоположную точку зрения сэра А. Гранта, что Аристотель ни в коем случае не был трансцендентальным идеалистом. Вторую половину нашей позиции доказывает уже упомянутая глава в "Постсерьезной аналитике", язык которой *primâ facie* настолько свидетельствует в пользу нашей точки зрения, что бремя доказательства ложится на тех, кто дает ей другую интерпретацию. Среди них последним, с кем мы знакомы, является Целлер. Выдающийся немецкий историк, утверждавший в прежних изданиях своей работы, что Аристотель выводил свои первые принципы из самосозерцания *Nous*, теперь, вероятно, в знак уважения к неопровержимым аргументам Кампе, отказался от этой позиции. Однако он все же допускает существование довольно неопределенного *априорного* элемента в аристотелевской ноологии, опираясь на следующие соображения: - Во-первых, согласно Аристотелю, даже чувственное восприятие не является чисто пассивным процессом, а потому интеллектуальное познание тем более не может быть таковым (р. 190). Но процитированные отрывки сводятся лишь к тому, что пассивность вещи, возведенной из возможности в действительность, отличается от пассивности, подразумеваемой при разрушении ее собственной природы; и что объекты абстрактного мышления приходят изнутри, а не извне, в том смысле, что они представляются воображением разуму. Чистому эмпирику не нужно отрицать ни ту, ни другую позицию. Он свободно признает, что потерять рассудок из-за пьянства или болезни - это совсем другой вид операции, нежели быть впечатленным новой истиной; и он также признает, что мы обобщаем не непосредственно из внешнего опыта, а из того сильно сокращенного и репрезентативного опыта, который предоставляет память. Однако ни тот, ни другой процесс не является предвосхищением внешнего опыта или его дополнением. Аристотель отличается от материалиста, а не от эмпирика. Он считает, что формы, под которыми предстает материя, отделимы от каждой конкретной части материи, хотя и не от всей материи, во внешнем мире; и он верит, что полное разделение между ними происходит в единственном случае самосознающего разума, который, познавая любую конкретную вещь, снова отождествляется с этой вещью за вычетом ее материи. Следующий аргумент Целлера заключается в том, что познание идей с

помощью Nous является непосредственным, в то время как процесс обобщения опыта, описанный Аристотелем, является крайне опосредованным. Здесь Целлер, похоже, неправильно понимает слово *ἄμεσος*. Аристотель никогда не применяет его к знанию, но только к объективным отношениям идей друг с другом. Два термина составляют "непосредственную" предпосылку, когда они не связаны другим термином, совершенно независимо от того, какими путями мы приходим к осознанию их связи. Так же и с самими терминами. Они "непосредственны", когда не могут быть выведены из какого-либо внешнего принципа; короче говоря, когда они просты и беспричинны. Наконец, возражение, что первые принципы, будучи наиболее определенными и необходимыми из всех, не могут быть выведены из чувственного опыта, который, имея дело только с материальными объектами, должен унаследовать неопределенность и случайность материи, - это возражение не против эмпирической интерпретации философии Аристотеля, а против самого эмпиризма; и нельзя объяснять простые слова древнего писателя, чтобы примирить их с предположениями, которые он нигде не допускает. То, что универсальность и необходимость предполагают *априорное* познание или интеллектуальную интуицию, - это современная теория, не подкрепленная ни одним предложением Аристотеля.²⁸⁷ Мы вполне согласны с Целлером, когда он продолжает говорить, что в психологии Аристотеля "определенные мысли и представления возникают благодаря действию объекта, о котором думают, на мыслящий ум, так же как восприятие возникает благодаря действию воспринимаемого объекта на воспринимающего" (р. 195); но чем это отличается от чистого эмпиризма, мы понять не в состоянии.

Примечательно, что Аристотель, неоднократно говоря об индукции как о восхождении от частных к общему, когда он приходит к прослеживанию процесса, посредством которого мы приходим к наиболее общим представлениям о чем-либо, не допускает возможности такого движения только в одном направлении. Всеобщее и индивидуальное, по его мнению, сочетаются в наших самых элементарных ощущениях-впечатлениях, и дело научного опыта состоит в том, чтобы разделить их. Начиная со средней точки, мы поднимаемся к неделимым предикатам, с одной стороны, и к неделимым субъектам - с другой, причем окончательное постижение обеих крайностей - дело не науки, а Нуса. Эта теория в равной степени верна и остра. Восприятие отдельных фактов дается так же трудно и так же медленно, как и постижение конечных абстракций. Более того, эти два процесса протекают *параллельно*, каждый из них возможен только благодаря другому. Ни одно истинное понятие не может быть сформулировано без твердого понимания частных, от которых оно абстрагируется; ни один отдельный объект не может быть изучен без анализа его на группу общих предикатов, идиосинкразия которых - то есть их особое сочетание - отличает его от любого другого объекта. Однако мы хотим обратить внимание на иллюстрацию, которую дает этот поразительный взгляд на аналитический метод Аристотеля, который также является по сути греческим методом мышления. Мы видели, что для нашего философа силлогизм был не подведением конкретного случая под общий закон, а интерполяцией среднего между двумя крайностями; теперь мы видим, что его индукция - это не нахождение закона для конкретного явления, а его анализ на два элемента - один универсальный, а другой индивидуальный - разложение среднего на крайности. И отличительной оригинальностью всей его системы было установление двух таких крайностей для вселенной - самодумывающей мысли в абсолютной самоидентичности на одном конце шкалы и абсолютно неопределенной материи на другом; комбинируя их в различных пропорциях, он затем переконструировал всю промежуточную феноменальную реальность. При изучении каждого конкретного класса фактов он придерживается того же метода. Род обозначается неким характерным признаком, который один вид - так сказать, прерогативный вид - демонстрирует в наибольшей чистоте, в то время как остальные образуют градуированную шкалу, по-

разному сочетая этот признак с его противоположностью или недостатком. Отсюда его теория, возрожденная Гете, что цвета представляют собой различные смеси света и тьмы.

До недавнего времени было принято говорить, будто все, что Аристотель знал об индукции, содержится в нескольких разрозненных отрывках, где она упоминается под этим названием в "Аналитике". Это, несомненно, верно, если под индукцией понимать простое обобщение. Но если мы понимаем под ней философию экспериментальных доказательств - анализ тех средств, с помощью которых, в отсутствие непосредственного наблюдения, мы принимаем решение между двумя конфликтующими гипотезами, - то "Топики" следует признать настолько хорошим обсуждением этого вопроса, насколько это было совместимо с его общей теорией познания. Ведь он полагает, что существуют большие классы явлений, включая, среди прочего, весь спектр человеческой жизни, которые, не будучи связанными никаким фиксированным порядком, лежат вне рамок научной демонстрации, хотя и могут быть определены с различной степенью вероятности; и здесь он также имеет в виду не открытие законов, а построение определений. А они, будучи вопросом мнения, всегда могут быть как атакованы, так и поддержаны. Таким образом, постоянный конфликт и уравнивание противоположных сил, которые мы привыкли ассоциировать с подлунной сферой, имеет своего логического представителя не меньше, чем родственные идеи неопределенности и переменчивости. И в связи с этой стороной прикладной логики Аристотелю приходится учитывать также требования тех, кто принимал участие в публичных дебатах по спорным вопросам, весьма распространенным в то время среди образованных афинян и часто опирающимся на словесные определения. Поэтому, хотя мы и находим множество вариантов рассуждений, таких как рассуждение по аналогии, дизъюнктивное рассуждение, гипотетическое рассуждение (хотя и без обобщенного выражения для всех его разновидностей), и, что особенно примечательно, три из четырех экспериментальных методов [Милля](#)²⁸⁸, мы не находим, чтобы они нашли какое-либо интересное или полезное применение. Даже если рассматривать "Темы" в качестве пособия для дискутантов, они не имеют успеха. С практической некомпетентностью простого естествоиспытателя Аристотель снабдил головы для аргументов в таком изобилии и с такой абсолютной небрежностью к их относительной важности, что никакая память не смогла бы выдержать это бремя, за исключением, вероятно, редких случаев, когда их изучению посвящалась целая жизнь.

VIII.

Мы закончили рассмотрение первого великого антитезиса разума между разумом, с одной стороны, и чувством и мнением - с другой. Следующая антитеза - между разумом и страстью - займет у нас гораздо меньше времени. С ним мы переходим от теории к практике, от метафизики и логики к моральной философии. Но, как мы видели в предыдущей главе, Аристотель не является практическим гением; для него высшим интересом жизни по-прежнему остается приобретение знаний. Теоретическая деятельность соответствует небесному миру, в котором не может быть ни противостояния, ни избытка; страсть - подлунной сфере, где порядок сохраняется только благодаря уравниванию противоборствующих сил, а умеряющее влияние разума - контролю, осуществляемому высшим над низшей системой.

Сами страсти и средства, с помощью которых их можно возбудить или контролировать, описаны в "Риторике" Аристотеля с прекрасным знанием человеческой природы в абстрактном виде, но почти без ссылки на искусство, для целей которого эта информация якобы систематизирована; в то время как в "Этике" они изучаются, так сказать, статично, в состоянии постоянного равновесия или неравновесия; добродетели и пороки представлены как множество различных аспектов этих условий. Очевидно, что такой крайне

искусственный параллелизм не может быть осуществлен без значительного напряжения и искажения соответствующих фактов. Единственная добродетель, которую можно с полным правом назвать формой умеренности, - это воздержанность; и даже в воздержанности это скорее случайность, чем необходимость. В других местах Аристотель выводит крайности из среднего, а не среднее из крайностей; иногда одна из крайностей придумывается для случая. Вписать справедливость, признанную важнейшей добродетелью, в такую схему было явно невозможно, если не переосмыслить идею умеренности. Вместо равновесия между противоположными импульсами в одном и том же человеке мы имеем равенство в обращении с разными людьми; что опять-таки сводится к тому, чтобы дать им свое, без какого-либо определенного определения того, каким может быть это свое.²⁸⁹ Нельзя даже сказать, что Аристотель представлял собой либо лучшую этическую мысль своей эпохи, либо необходимый этап в развитии всей мысли. Крайняя недостаточность его этической теории объясняется надуманной необходимостью соотносить ее с требованиями его космологической системы. Ибо не успевает он встать на точку зрения народа, как уже выводит отдельные добродетели из соображений благополучия других и рассматривает их все как множество различных форм справедливости.²⁹⁰

Аристотеля иногда представляли как защитника свободы воли против необходимости. Но в его время этот вопрос еще не был по-настоящему открыт. Он отвергал фатализм, но ему и в голову не приходило, что внутренние мотивы могут оказывать сдерживающее влияние на действия. Его свобода также не имеет ничего общего с самоутверждением разума, его освобождением от цепи физических предпосылок. Это просто элемент произвола и неопределенности, который, как предполагается, характеризует область изменений и противостояния, в отличие от более высокой области неизменной регулярности.

Только в этой высшей области может быть реализована совершенная добродетель. Поддержание равновесия между соперничающими просьбами или между избытком и недостатком тех импульсов, которые заставляют нас искать удовольствия и избегать боли, - это, конечно, хорошо, но не единственное и не главное благо. Закон умеренности не распространяется на ту в высшей степени счастливую жизнь, которая связана с нашим эмоциональным существованием, как эфир с земными элементами, как душа с телом, как разум с чувством, как наука с мнением. Здесь речь идет о неуклонном подчинении средств целям, которое имитирует инспирирование небесных сфер, иерархию психических способностей и цепь силлогистических аргументов. Теоретической деятельности не может быть слишком много, а вся остальная деятельность, будь то общественная или частная, должна рассматриваться как механизм, обеспечивающий ее мирное осуществление. Мудрость и воздержание были абсолютно отождествлены Сократом; столь же абсолютно их разделяет и Аристотель. И то, что мы уже имели возможность наблюдать в других областях мысли, подтверждается здесь еще раз. Метод анализа и противопоставления, казалось бы, столь благоразумный, в конце концов оказался неплодотворным. Несмотря на свои парадоксы, Сократ был по существу прав. Нравственное возрождение мира должно было быть осуществлено не дорийской дисциплиной, а свободной афинской мыслью, работающей над практическими понятиями, открытием новой нравственной истины или, скорее, диалектическим развитием старой истины. И, наоборот, высшее развитие теоретической деятельности достигалось не тем, что она изолировалась в эгоистическом самосозерцании от мира человеческих потребностей, а тем, что она посвящала себя их служению, сообщала им свою жизненную силу и подчинялась вместе с ними тому закону умеренности, от которого не освобождается никакая энергия, какой бы божественной она ни была.

Последняя антитеза сознательной жизни - это антитеза между индивидом и государством. В этом смысле "Политика" Аристотеля является завершением его "Этики". Только в хорошо организованном обществе можно приобрести нравственные привычки; и только в таком обществе можно достичь лучшей или интеллектуальной жизни, хотя, собственно говоря, это не социальная жизнь. Тем не менее "Политика", как и любая другая часть системы Аристотеля, воспроизводит внутри себя элементы самостоятельного целого. Чтобы понять ее внутреннюю организацию, мы должны начать с того, что отбросим неудачную классификацию Аристотеля (в основном заимствованную у Платона) конституций на три легитимные - монархию, аристократию и республику; и три нелегитимные - демократию, олигархию и тиранию. Аристотель различает их, говоря, что законные формы управляются с учетом общего блага, а незаконные - с учетом интересов отдельных классов или лиц. Но на самом деле, как показывает [Целлер291](#), он не может придерживаться этого различия; и мы лучше поймем его истинную идею, заменив ее другой - между интеллектуальным и материальным состоянием. Цель первого - обеспечить высочайшую культуру для правящей касты, которая должна воздерживаться от промышленных занятий и поддерживаться трудом зависимого населения. Такое правительство может быть монархическим или аристократическим, но оно обязательно должно находиться в руках немногих. Цель другого - поддержание стабильного равновесия между противоположными интересами богатых и бедных - двух классов, практически разделенных на немногих и многих. Эта цель лучше всего достигается там, где верховная власть принадлежит среднему классу. Отклонения представлены олигархией и тиранией, с одной стороны, и крайней демократией - с другой. Там, где существуют такие конституции, лучшим способом их сохранения является сдерживание характерных для них излишеств путем заимствования некоторых институтов у противоположной формы правления или путем изменения своих собственных институтов в примирительном смысле.

В прошлой главе мы подробно рассмотрели теории искусства и особенно трагической поэзии, изложенные в "Поэтике" Аристотеля. Для формальной полноты здесь можно упомянуть, что эти теории вписываются в общую схему его систематической философии. Сюжет или план произведения отвечает формальному или рациональному началу в природе, и именно поэтому Аристотель так переоценивает его значение. И, как и в его моральной философии, этический элемент, представленный прорисовкой характеров, строго подчинен ему. Центр равновесия, однако, обеспечивается не добродетелью, а точным подражанием природе, так что персонажи не должны сильно отклоняться от посредственности ни в сторону героизма, ни в сторону порока.

IX.

Несмотря на коренную ошибку философии Аристотеля - ложное абстрагирование и изоляцию интеллектуальной сферы от материальной в природе и человеческой жизни - она может послужить полезным коррективом для гораздо более ложной философии, которую внушают, если не прививают, некоторые моралисты нашего века и страны. В целом, учение этих писателей сводится к тому, что промышленность, направленная на удовлетворение наших материальных потребностей, гораздо более достойна, чем художественная работа, доставляющая нам непосредственное эстетическое наслаждение, или литературная работа, стимулирующая и удовлетворяющая наши интеллектуальные запросы; в то время как в художественной сфере верность портрета предпочитается созданию идеальной красоты, а в

интеллектуальной сфере простое наблюдение фактов ставится выше теоретической способности, с помощью которой факты объединяются и объясняются. Некоторые представители школы, на которую мы ссылаемся, являются большими врагами материализма; но учение, подобное их, является материализмом наихудшего описания. Последовательно проводимый, он сначала низведет Европу до уровня Китая, а затем и весь человеческий род до уровня пчел или бобров. Они забывают, что когда все мы будем удобно одеты, обуты и накормлены, наша настоящая жизнь только начнется. Тогда останется выбор между каким-то новым усовершенствованием животного аппетита и теоретической деятельностью, которая, согласно Аристотелю, является абсолютной целью, а все остальные виды деятельности - лишь средствами для ее достижения. Действительно, такого фундаментального различия, как он предполагал, не существует, поскольку виды деятельности любого порядка связаны между собой непрерывной взаимностью услуг; но это означает лишь то, что высшее знание является средством для всех других целей не в меньшей степени, чем самоцелью. Аристотель также вполне обоснованно настаивает на необходимости досуга как условия интеллектуального прогресса. Мы можем добавить, что этот досуг вполне заслужен, поскольку без него промышленное производство не могло бы поддерживаться на нынешнем уровне. К духовному труду также не следует предъявлять одинаковые требования к совершенству, как и к материальному. Последний вообще не мог бы продолжаться, если бы успех, а не неудача, был правилом. В идеальной сфере все обстоит иначе. Там пропорции неизбежно меняются на противоположные. Мы должны довольствоваться тем, что из тысячи догадок и проб одна внесет хоть какой-то вклад в бессмертное наследие истины. И все же мы можем надеяться, что так будет не всегда, что великие открытия и творения, созданные благодаря трате бесчисленных жизней, не только искупают все ошибки и страдания прошлого, но и являются залогом будущего, когда подобные жертвы больше не потребуются.

Два элемента - ошибка и достижение - настолько тесно сочетаются и взаимообусловлены в философии, которую мы рассматривали, что решить вопрос об их важности невозможно без предварительного решения еще более важного вопроса - ценности систематического мышления как такового, помимо его фактического содержания. Ведь Аристотель был, возможно, величайшим мастером систематизации, который когда-либо жил. Рамки и язык науки до сих пор в значительной степени остаются такими, какими он их создал; и еще предстоит выяснить, будут ли они когда-нибудь полностью переделаны. Однако даже этот дар не был безусловным благом, поскольку он долгое время использовался на службе ложных доктрин и до сих пор побуждает критиков вчитывать в аристотелевские формы истины, которых они на самом деле не содержат. В заключение заметим, что среди всех древних или даже среди всех мыслителей до XVIII века нет ни одного, кому бы так легко было объяснить методы и результаты современной науки. Обнаружив, что они противоречат его собственным самым заветным убеждениям по каждому пункту, он все же был бы подготовлен своими логическими исследованиями, чтобы оценить доказательства, на которые они опираются, и своей горячей любовью к истине, чтобы принять их без оговорок. Больше всего он приветствовал бы нашу астрономию и биологию с удивлением и восторгом, в то время как на развитие современной техники смотрел бы с гораздо более квалифицированным восхищением, а на прогресс демократии, возможно, с подозрительным страхом. Тот, кто считал, что ум и тело ремесленника в равной степени разрушаются от занятий простым ремеслом под чистым ярким небом Греции, что бы он сказал о том, какой эффект производит на человека шумная, скрежещущая, бессолнечная, бездушная каторга наших фабрик и шахт! Как глубоко непригодны, по его мнению, ее жертвы для влияния на те политические вопросы, с которыми интересы науки с каждым днем становятся все более жизненно важными! И все же медленно, возможно, и нехотя, он мог бы осознать, что наша

промышленность была незаменимой основой нашего знания, обеспечивая как материальные средства, так и моральные цели его выращивания. Он мог бы также узнать, что между ними существует еще более тесная связь: в то время как сторонники привилегий объединяются для поддержания суеверия, рабочие и те, кто отстаивает их требования политического равенства, объединяются для его сдерживания и ниспровержения. И если он все еще сторонится жара, дыма и суматохи, среди которых гений нашего века стоит, как другой Гераклит, в лихорадочном возбуждении, у паровой топки, откуда черпает свои силы революционная трансмутация, мы тоже можем применить слова старого ефесского пророка, советуя ему смело входить, ибо и здесь есть боги.

КОНЕЦ ПЕРВОГО ТОМА.

> ЛОНДОН: НАПЕЧАТАНО
SPOTTISWOODE AND CO., NEW-STREET SQUARE
И ПАРЛАМЕНТ-СТРИТ

ССЫЛКИ:

1 Die Philosophie der Griechen, III., a, pp. 5 f.

2 Если я правильно помню, Полибий делает такое же замечание, но я не могу вспомнить точную ссылку.

3 Софист, 243, A.

4 См. особенно интересное примечание по этому вопросу в его недавней работе, Die wirkliche und die scheinbare Welt, Vorrede, pp. x. ff.

5 Платон, Rep. IV., 435, E; Аристотель, Pol. VII., 1327, b., 29.

6 Nem. III. 40-42. (Дональдсон.)

7 Nem. VI. sub in.

8 Слово дифференциация (ἑτεροίωσις), по-видимому, впервые употребил Диоген Аполлониат. Simpl. Phys. fol. 326 ff., цитируется Риттером и Преллером, Hist. Phil., p. 126 (6-е изд.).

9 Ritter and Preller, p. 112.

10 Ritter and Preller p. 8.

11 Die Philosophie der Griechen, I. p. 401 (3-е изд.).

12 Ritter and Preller, p. 54.

13 Ritter and Preller, p. 54.

14 Ib.

15 Metaph. I. v.

16 Ritter and Preller, p. 63.

17 Op. cit. p. 475.

18 Тенденция, которую мы попытались охарактеризовать как фундаментальный момент греческой мысли, может быть названа аналитической только в отсутствие лучшего слова.

Это процесс, при котором два связанных термина одновременно разделяются и соединяются вместе путем введения одного или нескольких промежуточных звеньев; как, например, когда между колонной и архитравом вставляется заглавная буква или когда предложение доказывается путем введения среднего термина между его субъектом и предикатом. Немецкие слова *Vermitteln* и *Vermittlung* достаточно точно выражают то, что имеется в виду. Они играют огромную роль в философии Гегеля, и следует помнить, что Гегель был самым эллинским из современных мыслителей. При таком понимании перестанет существовать противоречие между элеатами и греческой мыслью в целом, по крайней мере с одной точки зрения, поскольку их целью было заполнить пустые пространства, которые, как предполагалось, отделяют один способ существования от другого.

19 Ritter and Preller, p. 62.

20 Оригиналы этой и последующих цитат из Гераклита см. в Ritter and Preller, pp. 14-23.

21 Τῆ μὲν ἡλικίᾳ πρότερος ὢν, τοῖς δ' ἔργοις ὕστερος. *Metaph.* I. iii.

22 Ritter and Preller, p. 90.

23 Prantl, *Aristoteles' Physik*, p. 484.

24 Ritter and Preller, p. 11.

25 После того как вышеприведенные замечания были впервые опубликованы, мистер Уоллес в своей работе об эпикурействе заявил, что, согласно Эпикуру, "сами животные, обитающие на земле, стали такими, какие они есть, благодаря медленным процессам отбора и адаптации в ходе жизненного опыта"; и далее он называет данную теорию "ультрадарвинистской" (*Epicureanism*, p. 114). Лукреций - цитируемый авторитет - ничего не говорит о "медленных процессах адаптации", равно как и о том, что животные "стали такими, какие они есть", благодаря "отбору", а не детородной силе самой земли. Выбор готовой пары ботинок из множества не подходящих - это совсем другой процесс, чем изготовление той же пары по мерке или ношение ее по фигуре. Назвать эмпедоклеанскую теорию ультрадарвинистской - все равно что назвать демократическую или эпикурейскую теорию гравитации ультраньютоновской. И мистер Уоллес, похоже, признает это, когда продолжает говорить на той же странице: "Конечно, в этом нет никакого намека на специфически дарвиновскую доктрину происхождения или развития вида из вида с изменением и усложнением структуры в соответствии с меняющимися обстоятельствами". (Кстати, это не специфически дарвиновская доктрина, поскольку она возникла благодаря Ламарку, а спонтанная вариация и отбор были дополнениями английских натуралистов). Но как же тогда быть с "медленными процессами адаптации" и "ультрадарвиновской теорией", о которой говорилось ранее?

26 По любопытному совпадению, атомная конституция материи по-прежнему находит свое самое убедительное подтверждение в оптических явлениях. Свет распространяется с помощью поперечных волн, а такие волны возможны только в прерывистой среде. Но если светящийся эфир состоит из дискретных частиц, то такой же должна быть и материя, которую он пронизывает во всех направлениях.

27 *Ar. De Gen. et Corr.*, I., viii., 325, b, 5.

28 Eurip. *Frag. Incert. Fab.*, CXXXVI. Didot, p. 850. [За эту версию я обязан мисс А. М. Ф. Робинсон, переводчице "Коронованного Ипполита"].

29 Curtius, Griechische Geschichte, 342-5 (3-е изд.).

30 Zeller, op. cit., p. 791.

31 Ar. De Coelo, III., iii., 302, a, 28.

32 M. Antoninus, XII., 28.

33 Zeller, Ph. d. Gr., III., b, p. 669.

34 Даже регулирование календаря по солнцу, а не по луне, похоже, рассматривалось более консервативными афинянами как опасное и нечестивое нововведение - по крайней мере, если судить по полусерьезным любезностям Аристофана, Nub., 608-26. (Диндорф.)

35 σύμβολον δ' οὗ πῶ τις ἐπιχθονίων πιστὸν ἀμφὶ πράξιος ἐσσομένης εὔρεν θεόθεν.-Ol., XII., 8-9.

36 Frag., 102.

37 Griechische Geschichte, ii., 112-3 (3-е изд.).

38 Аристофан, Весп., 1176.

39 Herod., VII., 204; IX., 64.

40 Агам., 750-71.

41 Ib., 311.

42 Ol., XIII., 17 (Donaldson).

43 "Не бери того, что принадлежит мне, и пусть я поступаю с другими так, как хотел бы, чтобы они поступали со мной" (Plato, Legg., 913, A. Jowett's Transl., vol. V., p. 483). Исократ заставляет царя, обращаясь к своим правителям, сказать: "Вы должны быть для других такими, какими, по вашему мнению, я должен быть для вас" (Nicocles, 49). И снова: "Не делайте другим того, что вас злит, когда вы страдаете сами" (Ibid., 61). Аналогичное замечание приписывается Фалесу, несомненно, в результате анахронизма (Diogenes Laertius, I., i., 36).

44 Мы с удовольствием пользуемся мастерским переводом профессора Джебба. Весь этот великолепный отрывок можно найти в его "Аттических ораторах", т. II, с. 78-79.

45 Симпозиум, 211, C; перевод Джоуэтта, т. II.

46 Aesch., Sep. con. Theb., 592.

47 Legg., 727, E; Jowett's Transl., V, 299.

48 См. "Шармиды" Платона и "Медю" Еврипида, 635 (Диндорф).

49 Пиндар использует καίρος и μέτρον как синонимичные термины.

50 Opp. et D., 271.

51 Hom. Il., IV., 160, 235; VII., 76, 411; XVI., 386. Hes., Opp. et D., 265. Эти ссылки скопированы из Welcker, Griechische Götterlehre, I., p. 178, q. v.

52 См. "Древнее право" Мейна, гл. X., Ранняя история деликта и преступления.

53 Preller, Griechische Mythologie, I., p. 523 (3-е изд.), с которым можно сравнить Welcker, op. cit., I., 234; и статью г-на Уолтера Патера "Деметра и Персефона, и исследование о Дионисе" в Fortnightly Review за янв., февр. и дек. 1876 г. В силу своего популярного характера деревенские боги пользовались благосклонностью деспотов (Curtius, Gr. Gesch., I., p. 338).

54 Ср. Вордсворт.

"Ты хранишь звезды от зла,

И древнейшие небеса благодаря тебе свежи и сильны".

Ode to Duty.

55 Pindar, Olymp., II., 57 ff.; and Fragm., 1-4 (Donaldson).

56 Sep. con. Theb., 662-71.

57 Phoenissae, 503-23.

[58]

Οὐ γὰρ ἄλλω γ' ὑπακούσαιμεν τῶν νῦν μετεωροσοφιστῶν

πλὴν ἡ Προδίκω τῷ μὲν σοφίας καὶ γνώμης οὐνεκα κ.т.λ.-.

Nub., 361-2. Ср. Ав., 692.

59 Plato, Protagoras, 337, D; Jowett's Transl., vol. I., p. 152.

60 Nem., VI., sub. in.

61 Prom., 518.

62 Phoenissae, 536-47. В "Облаках" есть восхитительная пародия на этот метод. Кредитор просит Стрепсиада, который брал уроки философии, выплатить ему проценты по займу. Стрепсиадес спрашивает, стало ли море более полноводным, чем раньше. "Нет, - отвечает тот, - ибо это было бы несправедливо" (οὐ γὰρ δίκαιον πλείον εἶναι). "Значит, ты, негодяй, - отвечает его должник, - полагаешь, что море не станет полнее, хотя в него впадают все реки, и что твои деньги будут продолжать расти?" (1290-95.)

63 Ксенофонт, Memor., IV., iv., 19.

64 Pol., I., ii.

65 Гиппий Малый.

66 Diog. L., IX., viii., 54.

67 Diog. L., IX., viii., 51.

68 Plato, Protagoras, 327; Jowett's Transl., vol. I., p. 140. О высокой нравственности, сопровождающей развитие цивилизации, о чем свидетельствует значительный рост взаимного доверия, см. в Maine's Ancient Law, pp. 306-7.

69 На этот момент обращает внимание Целлер, Ph. d. Gr., II., 22.

70 Эту фазу греческой жизни хорошо иллюстрируют обращения Феогниса к Кирну.

71 Эристицизм также имел точки соприкосновения с философией Парменида и Сократа, о чем будет сказано в одной из следующих глав.

72 Ph. d. Gr., I., 903 (3-е изд.).

73 См. "Мено" Платона, под. в.

74 Лорд Биконсфилд недавно [написано в феврале 1880 г.] говорил о Балканах как о "разумной" границе для Турции. Континентальные телеграммы заменили его "естественной границей". Изменение было характерным и значительным.

75 Aristoph., Pax, 697.

76 "Как замечает г-н Грот, нет оснований подозревать, что в эпоху Демосфена было больше морального разложения, чем в эпоху Перикла". (The Dialogues of Plato, vol. IV., p. 380.) Мы не помним, чтобы Грот брал на себя обязательство делать такое огульное заявление, да и не было в этом необходимости. Никто не удивился бы больше, чем сам Демосфен, услышав, что афиняне его поколения сравнивались с современниками Перикла в общественной добродетели. (Cp. Grote's Plato, II., 148.)

77 Geschichte der Entwicklung der Griechischen Philosophie, I., p. 204.

78 Philosophie d. Gr., I., p. 943 (3-е изд.).

79 Профессор Махаффи (Hist. Gr. Lit., II., 42) утверждает, что изобретение мемуаров принадлежит Иону Хиосскому и его современнику Стесимброту. Но, помимо сомнительной подлинности, очерки, приписываемые этим двум писателям, не имеют целью представить полную картину одного человека, что с большим успехом было сделано в "Меморабии" Ксенофонта.

80 Cp. Havet, Le Christianisme et ses Origines, I., 167.

81 Gesch. d. Phil., II., 47.

82 Оракул, цитируемый в "Апологии Сократа", приписываемой Ксенофону, восхваляет Сократа не за мудрость, а за независимость, справедливость и воздержанность. Более того, почти все критики считают это произведение поддельным.

83 Mem., IV., vi., 1.

84 Mem., IV., iv., 10.

85 Целлер, Ph. d. Gr., II., a, 103, прим. 3 sub fin.

86 Может возникнуть вопрос: почему, если Платон дал лишь идеальное представление о Сократе, мы должны принимать его версии софистического учения как буквально точные? Ответ заключается в том, что по природе дела он был вынужден создать воображаемого Сократа, в то время как у него не могло быть никакой мыслимой цели приписывать взгляды, которых он сам не придерживался, известным историческим личностям. Предполагая неограниченное право делать вымышленные заявления ради общественного блага, его принципы, несомненно, не позволили бы ему бездумно клеветать на своих невинных современников, навязывая им одиозные теории, за которые они не несли ответственности. Если бы никто не придерживался таких взглядов, как те, что приписываются Фрасимаху в "Республике", не было бы смысла нападать на них; а если кто-то их придерживался, то почему не Фрасимах, а другой? Что касается достоверности "Апологии", то Грот в своей

работе о Платоне (I. 291) приводит отрывок из ритора Аристеиды, в котором говорится, что все спутники Сократа были согласны относительно дельфийского оракула и сократовского отказа от знания. Это, однако, доказывает слишком многое, так как показывает, что Аристеид совершенно упустил из виду отсутствие каких-либо ссылок на оба пункта у Ксенофонта, и поэтому ему нельзя доверять, чтобы дать точный отчет о других авторитетах.

87 Ph. d. Gr., II., а, 93 и далее.

88 В уже упомянутом разговоре с Гиппием.

89 Мем., III., ix., 4.

90 Мем., III., vi.

91 Мем., IV., ii.

92 Мем., IV., iii.

93 Мем., III., ix., 10.

94 Мем., IV., vi., 14.

95 Ксенофонт, Мем., III., vii. Кстати, мы можем заметить, что этот отрывок заслуживает внимания тех, кто смотрит на афинский демос как на праздный и аристократический орган, содержащийся за счет рабского труда.

96 Metaph., XIII., iv.

97 Мем., I., iv.

98 "Il sait que, dans l'intérêt même du bien, il ne faut pas imposer le bien d'une manière trop absolue, le jeu libre de la liberté étant la condition de la vie humaine.... poursuite en toutes choses du bien public, non des applaudissements."-Renan, Marc-Aurèle, pp. 18, 19.

99 Il., IX., 337.

100 Ib., XXI., 106.

101 В предисловии к "Этическим данным".

102 Мем., III., x.

103 Curtius, Griechische Geschichte, III., 526-30 (3-е изд.), где, однако, революция в искусстве приписывается влиянию софистов.

104 Xenoph., Oeconom., iii., 12.

105 Mure, History of Grecian Literature, IV., 451.

106 Мем., III., xi.

107 Oeconom., vii., 4 ff.

108 Мем., II., i.

109 Gesch. d. Ph., II., 100 и далее.

- 110 Написано весной 1880 года. Речь идет об отце Дидоне, который в то время находился на Корсике.
- 111 Ph. d. Gr., II., а, 192.
- 112 В "Апологии", приписываемой Ксенофону.
- 113 Hist. of Gr. Lit., IV., App. A.
- 114 Диалоги Платона переведены на английский язык. В. Jowett, M. A. 2nd ed., 1875. Zeller, Die Philosophie der Griechen. Zweiter Theil, erste Abtheilung. Plato und die alte Academie, 3rd ed., 1875.
- 115 Krohn, Der Platonische Staat, Halle 1876. [Я знаю эту работу только через Chiapelli, Della Interpretazione panteistica di Platone, Florence, 1881].
- 116 III., 418.
- 117 Phaedr., p. 274 B ff.
- 118 См. примечание Целлера о θεία μοῖρα, op. cit. p. 497.
- 119 "Чармиз", "Лакхесис", "Эвтифро" и "Лисий".
- 120 P. 49, A ff. Zeller, 142.
- 121 Charmides, 161 E; Lysis, 212 C.
- 122 Pensieri, lxxxiv и lxxxv.
- 123 Repub., 586, A. Jowett, III, p. 481.
- 124 Zeller, op. cit., 777-8.
- 125 Repub., VIII. и IX.
- 126 Ксенофонт, Мем., III., v., 18.
- 127 Gorgias, 515, C., ff. Jowett, II., 396-400.
- 128 Theaetetus, 173, A. Jowett, IV., 322.
- 129 Лекция о Платоне в "Представительном человеке".
- 130 Legg. 819, D. Jowett, V., 390.
- 131 Theaet., 144. Перевод Джоуэтта.
- 132 Это выражение заимствовано у профессора Бейна. См. главу "Ассоциация по сходству" в книге "Чувства и интеллект".
- 133 Legg. 716, C.
- 134 См. главу "Метафизика половой любви" в книге Шопенгауэра "Welt als Wille und Vorstellung".
- 135 См. весь следующий отрывок в Havet, Le Christianisme et ses Origines, I., 286-8. Однако это было написано до того, как автор познакомился с работой М. Хаве.

136 Во избежание недоразумений следует отметить, что приведенные выше замечания относятся только к мистическим страстям, принимающим форму религии; они не имеют ничего общего с интеллектуальными и моральными убеждениями.

137 Phaedr., 266, B. Jowett, II., 144. Согласно Тейхмюллеру (Literarische Fehden im vierten Jahrhundert vor Chr., p. 135), бог, о котором здесь идет речь, - не кто иной, как сам Платон. Даже если допустить, что пантеистическая интерпретация платонизма верна, это кажется несколько натянутым ее применением.

138 Адаптируя формулу Платона к современным представлениям, можно сказать следующее: Литературное образование: познание мира: математика: физическая наука.

139 Phaedo, 69, A. Jowett, I., 442.

140 Repub., I., 348, B ff.; Zeller, op. cit., 507-8.

141 См. особенно спор с Калликлом в "Горгиях".

142 Repub., II., 379, A; 380, D.

143 Zeller, 678-8.

144 "Un monde qui est l'injustice même."-Ernest Renan, L'Église Chrétienne, p. 139.

145 Ср. Лисий, 210, E. Jowett, I., 54.

146 Meno, 71, E. Jowett, I., 270.

147 Gesch. d. Ph., II., 272.

148 Op. cit., p. 777.

149 Timaeus, 24, A. Jowett, III., 608.

150 Ср. превосходные замечания Тейхмюллера, Lit. Fehden, p. 107.

151 Repub., V., 471, D.

152 В качестве одного из худших последствий демократии он называет то, что она заставляет их принимать на себя видимость равенства с людьми. Repub., 563, B.; ср. 569, E. Timaeus, 90, E. Следует опасаться, что Платон рассматривал женщину как недостающее звено.

153 В его Vorträge und Abhandlungen, первая серия, p. 68.

154 Legg., 739, B. Jowett, V., 311.

155 [Со времени первой публикации вышеизложенного Тейхмюллер выдвинул новые аргументы, доказывающие, что Аристофан хотел сатирически изобразить именно платоновскую схему коммунизма (Lit. Fehden, pp. 14, ff.); но я не думаю, что даже первая половина "Республики" могла быть написана в столь раннее время, как это утверждает этот ученый и изобретательный критик].

156 [Здесь также заслуживают внимания недавние аргументы Тейхмюллера (Lit. Fehden, p. 51), но они не смогли убедить меня в том, что "Эвтидекму" следует приписать более раннюю дату].

157 Можно даже сказать, что они сводятся к двум; ведь существование - это продукт подобия и различия.

158 *Gesch. d. Ph.*, II., 175.

159 В уже упоминавшейся работе Тейхмюллер выдвигает поразительную теорию о том, что "Никомахова этика" Аристотеля была опубликована до завершения "Законов" и что Платон воспользовался предоставленной ему возможностью ответить на критику своего бывшего ученика. (Лит. Fehden, pp. 194-226).

160 *Legg.*, 887-8. Jowett, V., 456.

161 *Aristotelis Opera*. Edidit Academia Regia Borussica. Berlin. 1831-70.

162 *Die Philosophie der Griechen. Zweiter Theil, Zweite Abtheilung: Aristoteles u. d. alten Peripatetiker*. By Dr. Eduard Zeller. Leipzig. 1879.

163 *Aristoteles*. By Christian Aug. Brandis. Берлин. 1853-57.

164 *Aristotle*. Сэр Александр Грант, Барт, LL.D. Эдинбург и Лондон. 1877.

165 Изложение философии Аристотеля. Составлено Эдвином Уоллесом, магистром философии. Оксфорд и Лондон. 1880.

166 *De la Métaphysique: Introduction à la Métaphysique d' Aristote*. Бартеlemi Сент-Илер. Paris. 1879.

167 "Наброски Уоллеса", предисловие, с. vi-viii.

168 Как будет показано в следующей главе.

169 *Outlines*, pp. 29 и 38.

170 Zeller, *op. cit.*, p. 513.

171 *Ibid.*, p. 407.

172 Написано до появления книги Тейхмюллера "Lit. Fehden (о которой уже говорилось в предыдущей главе).

173 Мнение Целлера о том, что все платоновские диалоги, за исключением "Законов", были написаны до прибытия Аристотеля в Афины, не подтверждается никакими удовлетворительными доказательствами. [С тех пор как вышеизложенное было впервые опубликовано, я обнаружил, что аналогичного мнения о Пармениде придерживался Токко (*Ricerche Platoniche*, p. 105), а затем, но независимо, Тейхмюллер (*Neue Studien*, III. 363). См. Chiapelli, *Della Interpretazione panteistica di Platone*, p. 152].

174 На основании некоторых выражений в "Панафинеях" Исократа Тейхмюллер делает вывод, что Аристотель вернулся из Митилены в Афины и занял прежнюю должность учителя риторики, когда до него дошел вызов в Пеллу. (Лит. Fehden, 261.)

175 *Gesch. d. Phil.*, II., 302.

176 Zeller, *op. cit.*, p. 25.

177 Ср. Тайхмюллер, Лит. Fehden, 192.

178 Zeller, p. 38.

179 Ritter and Preller, Hist. Ph., p. 329.

180 Zeller, p. 41, примечание 2.

181 Diog. L., V., 17-21.

182 Grant's Aristotle, p. 7.

183 Мы считаем, однако, что г-н Эдвин Уоллес преувеличивает, когда заставляет Аристотеля сказать, что "демократия вряд ли с ростом населения станет окончательной формой правления; и ее можно без опасений ожидать, если учесть, что коллективный голос народа с такой же вероятностью будет звучать в государственном управлении, как и в критике искусства", pp. 57-8. Прежде всего, выражения мнений, которые объединены в резюме г-на Уоллеса, разделены между собой. Уоллеса, разделены в оригинальном тексте значительным интервалом - важное обстоятельство, когда мы имеем дело с таким непоследовательным автором; затем то, что Аристотель говорит о коллективной мудрости народа, помимо того, что выдвигается с крайней нерешительностью, является не заверением против какой-либо опасности, которой следует опасаться от его верховенства, а ответом на аргумент, что немногие имеют естественное право на политическую власть в силу своего большего богатства и лучшего образования; Наконец, не только "конечная форма правления" является очень сильным переводом греческих слов, но и то, что Аристотель говорит по этому вопросу в своей третьей книге, практически отменяется в пятой, где олигархия, демократия и тирания рассматриваются как сменяющие друг друга в любом порядке, а Платон (или платонический Сократ) порицается за , предполагающую постоянную последовательность революций. Объяснение этой перемены, по-видимому, заключается в том, что, когда Аристотель писал свою третью книгу, он был знаком только с историей Афин и нескольких других крупных государств, но впоследствии до него дошло огромное количество фактов, относящихся к этому вопросу, которые показали, что каждая форма правления охватывает больше разновидностей и допускает больше мутаций, чем ему было известно изначально; это привело к полному пересмотру его мнений.

184 Многие из отмеченных тем не только достаточно банальны, но и не имеют никакого отношения к предмету, под которым они фигурируют. Например, рассуждая о судебном красноречии, Аристотель переходит к мотивам совершения преступлений; среди них - приятные ощущения любого рода, в том числе воспоминания о прошлых неприятностях. Даже герой спазматической трагедии вряд ли совершил бы преступление ради того, чтобы получить такую форму переживаний.

185 Poet., xv., p. 1454, a, 20.

[186]

Μάτην ἄρ' εἰς γυναῖκα ἐξ ἀνδρῶν ψόγος

Ψάλλει κενὸν τόξευμα καὶ κακῶς λέγει.

αἱ δ' εἰς' ἀμείνους ἀρσένων, ἐγὼ λέγω.

Еврипид, Фрагм. 512. (Didot.)

187 Poet., xiii., p. 1453, a, 8.

188 Pol., VIII., vii., p. 1342, a, 10.

190 В качестве иллюстрации стимулирующего эффекта, производимого изучением логики Аристотеля, мы приводим следующий анекдот из примечаний к изданию Уэтели "Эссе Бэкона": "Покойный сэр Александр Джонстон, исполняя обязанности временного губернатора Цейлона (вскоре после его уступки), однажды присутствовал в качестве судьи на суде над заключенным за грабеж и убийство; доказательства показались ему настолько убедительными, что он собирался поручить присяжным (которые были коренными цингальцами) вынести вердикт о виновности. Но один из присяжных попросил и получил разрешение самому допросить свидетелей. Он привел их одного за другим и подверг перекрестному допросу так искусно, что выяснилось, что они сами совершили преступление, которое потом сговорились вменить в вину заключенному. Соответственно, они предстали перед судом и были осуждены. Сэр Александр Джонстон был очень поражен умом, проявленным этим присяжным, тем более что он был всего лишь мелким фермером, который, как известно, не обладал никакими выдающимися достоинствами образования. Он послал за ним и, похвалив проявленную им удивительную проницательность, поинтересовался, чему он учился. Тот ответил, что никогда не читал, кроме одной книги, единственной, которой он владел, которая давно хранилась в его семье и которую он с удовольствием изучал в часы досуга. Его уговорили показать эту книгу сэру Александру Джонстону, который передал ее в руки человека, знающего цингальский язык. Оказалось, что это перевод на этот язык значительной части "Органона" Аристотеля. Оказывается, португальцы, когда они впервые поселились на Цейлоне и в других частях Востока, перевели на родные языки несколько работ, которые в то время изучались в европейских университетах, среди которых были и латинские версии Аристотеля. Цингалец, о котором идет речь, говорил, что если его понимание в какой-то степени и улучшилось, то именно благодаря этой книге. Однако вполне вероятно (как заметил мне [Уэсли] покойный епископ Коплстон), что любая другая книга, содержащая столько же глубоких рассуждений и точных определений, могла бы послужить той же цели в совершенствовании интеллекта цингальца". Возможно, но не с той же целью. То, что получил в свои руки Цингалес, было тройной дистилляцией афинской юридической процедуры. Эленхус перекрестного допроса был впервые заимствован Сократом из афинских судов и применен в философских целях; он был еще более разработан Платоном и, наконец, сведен к абстрактным правилам Аристотелем; так что, используя его так, как он это сделал, присяжный лишь возвращал его к его первоначальным целям.

191 *Metaph.*, XII., vii., p. 1072, b, 13.

192 *Eth. Nic.*, X., vii. (несколько сокращенно).

193 Вполне возможно, что Аристотель не был знаком с анатомией человека из первых рук. Но сэр А. Грант вряд ли оправданно замечает, что процитированные выше слова "не показывают усердия практикующего препарировщика" (*Aristotle*, p 3). Аристотель просто принимает популярную точку зрения, чтобы доказать, что внутреннее строение низших животных не более оскорбительно для глаза, чем строение человека. И поскольку он с таким удовольствием изучал первых, ничто, кроме отсутствия возможности, не мешало ему распространить свои исследования и на вторых.

194 *De Part. An.*, I. v.

195 Сравните аргументы в *Phys.*, IV., ix.

196 Гипотеза о суточном вращении Земли была явно предложена в знаменитом отрывке из "Тимея" Платона, хотя сам Платон придерживался ли он ее, остается под вопросом. То, что он принимал вращение небесных сфер, совершенно точно; но хотя для нашего ума эти два убеждения взаимоисключающие, Гроут считает, что Платон не замечал несоответствия. Кажется вероятным, что сначала одно из них было фактически обобщением другого; считалось, что Земля должна вращаться, потому что вращаются хрустальные сферы; затем новая доктрина, случайно вырвавшаяся наружу, была использована для уничтожения старой.

197 De Coel., II., viii., 290, a, 26.

198 Zeller, p. 469.

199 De Sens., vi., 446, a, 26.

200 De Coel., I., viii., 277, b, 2.

201 De Respir., i. и ii.

202 De Gen. An., I., xvii.

203 Outlines, p. 30.

204 В "Политике" (I., ii., sub. in.) есть отрывок, в котором Аристотель явно поощряет метод изучения вещей путем наблюдения за тем, как они сначала производятся и как растут; но это совершенно не согласуется с более обдуманном мнением, упомянутым в тексте (De Part. An., I., i., p. 640, a, 10). Возможно, при написании первой книги "Политики" он находился под более непосредственным влиянием Платона, который предпочитал старый генетический метод на практике, хотя и не в теории.

205 Meteor., II., iii., 357, a, 15 и далее.

206 Hist. An., IX., xxxix., sub fin.

207 De Part. An., III., iv., sub in.

208 Эта характеристика не относится ни к "Антигоне", ни к "Эдипу в Колоне", первой и последней сохранившимся драмам Софокла. Причина в том, что первая - наполовину эсхилиовская, а вторая - явно подражание Еврипиду.

209 Ср. памятное заявление мистера Ф. Поллока: "Для меня равносильно противоречию в терминах говорить о непознаваемом существовании или непознаваемой реальности в абсолютном смысле. Я не могу сказать, что означает существование, если не возможность быть познанным или воспринятым" - Spinoza, p. 163.

210 Aristoteles von d. Zeugung u. Entwicklung d. Thiere. Aubert u. Wimmer, Einleitung, p. 15.

211 De Gen. An., II., iii., 736, b, 1.

212 Ibid., I., xviii., 725, b, 25.

213 De Respir., 477, a, 18.

214 De Part. An., I., vii., sub. in.

215 Ibid., II., x., 656, a, 4.

216 Там же, IV., vi., 683, a, 25.

217 Там же, II., i.

218 Ibid., IV., v., 682, a, 8; De Long., vi., 467, a, 18; De Ingr. An., vii., 707, a, 24.

219 De Part. An., II., ix., 664, b, 11; Zeller, p. 522.

220 Hist. An., VIII., i., sub in.

221 Zeller, p. 553.

222 Phys., II., viii., p. 198, b, 24.

223 Например, покойный отец Секки.

224 Phys., II., iv., p. 196, a, 28; De Coel., II., xii.

225 Phys., II., viii., p. 199, b, 14.

226 Metaph., I., iii., sub in.; Anal. Post., II., xi., sub in. Bekker. (cap. x., в изд. Tauchnitz); Phys. II., iii.; De Gen. An., I., i. sub in.

227 Metaph., VIII., iv., p. 1044, b, 1; De Gen. An., I., i., p. 715, a, 6; ib. II., i., 732, a, 4; Phys., II., vii., p. 198, a, 24 ff.

228 Phys., II., iii., p. 195, a, 32 ff.; Metaph., IX., viii., p. 1049, b, 24.

229 То есть согласно традиционной точке зрения, которая, однако, должна быть значительно изменена, если мы примем выводы, воплощенные в "Literarische Fehden" Тейхмюллера.

230 Parmen., 130, A ff.; Tim., 28, A.

231 Как можно заключить из отрывка в "Риторике" (II., ii., p. 1379, a, 35), где говорится, что приверженцы Идеи приходят в ярость от любого замечания, брошенного в адрес их любимой доктрины.

232 Повторяется в "Метафизике", I., ix., p. 993, a, 1.

233 Это может показаться несовместимым с нашим прежним утверждением, что Гегель занимает в немецкой философии место, аналогичное тому, которое занимал Аристотель в греческой философии. Такие аналогии, однако, всегда более или менее неполны; и в той мере, в какой он приписывает идеям самодвижущую силу, Гегель скорее платонист, чем аристотелианец. Точно так же, как эволюционист, Герберт Спенсер гораздо ближе к ранней греческой мысли, чем к Аристотелю, на которого в других отношениях он так похож.

234 Zeller, Ph. d. Gr., II., b, 297 f.

235 Metaph. IV., iii. и viii.

236 Ibid. VI., ii., p. 1026, b, 21.

237 Metaph., VI., iv., p. 1027, b, 29.

238 Ibid., VI., iv.

239 Ibid., VI., ii., sub in.; VII., i., sub in.; Topic., I., ix.

240 Это τί, ποῖόν, ποσόν, ποῦ, ποτέ и πῶς. Τί ассоциируется с πρός в вопросе πρός τί, который не имеет простого английского эквивалента. По-видимому, Аристотелю было предложено ποσόν, how much? в связи с чем это означает, по отношению к какому стандарту? Если нам говорят, что вещь двойная, мы должны спросить: двойная в чем? Опять же, у греков был простой сложный вопрос τί παθών, означающий: что с ним было? или: что заставило его это сделать? Из этого Аристотель извлек πάσχειν, более широкое понятие, чем наша страсть, означающее все, что делается или происходит с чем-либо; что опять-таки предполагает ποιεῖν, что он делает. Наконец, πῶς, взятый сам по себе, представляет слишком неопределенный вопрос для какого-либо ответа, но должен быть взят в его простейших соединениях πῶς διακείμενον и πῶς ἔχον, которые дают две редко встречающиеся категории ἔχειν и κεῖσθαι, для которых он в одном случае заменяется (Soph. El., xxii., p. 178, b, 39). Διὰ τί не фигурирует среди категорий, поскольку оно зарезервировано для специального анализа οὐσία.

241 Как показал Грот в своей главе о категориях.

242 Eth. Nic., I., iv., p. 1096, a, 24, где перечислены шесть категорий.

243 Metaph., VII. passim.

244 Metaph., VII., vi., p. 1031, b, 18 ff.

245 Zeller, Phil. d. Gr., II., b, 309.

246 Об общей теории актуальности и возможности см. в Metaph., VIII.

247 Grant's Aristotle, p. 176.

248 Metaph., XII., viii., p. 1074, a, 36.

249 Grant's Aristotle, p. 176.

250 "Рациональное отношение мыслящего ума к сверхъестественному, будь то в естественной или явленной религии, - это скептицизм, в отличие от веры, с одной стороны, и атеизма - с другой" - Mill's Essays on Religion, p. 242.

251 Grant's Aristotle, p. 177.

252 τὸ δ' εἶναι οὐκ οὐσία οὐδενί- οὐ γὰρ γένος τὸ ὅν.-An. Post., II., vii., p. 92, b, 13.

253 Metaph., XIII., x.

254 "Non pensar oltre lei [la terra] essere un corpo senza alma e vita et anche feccia tra le sustanze corporali. Giordano Bruno, Cena de le Ceneri, p. 130 (Opere, ed. Wagner). 'Non dovete stimar ... che il corpo terreno sia vile e più degli altri ignobile.'-De l'Infinito Universo e Mondi, p. 54 (ib.).

255 Эта догадка Эмпедокла заслуживает большего внимания, чем она получила до сих пор. Она еще раз иллюстрирует превосходство проницательности ранних мыслителей по сравнению с Аристотелем.

256 De Coelo, II., 1.

257 Lewes, цитируется Zeller, p. 524.

258 Так считают Тренделенбург, Брандис, Кампе и, по-видимому, также Целлер. Гроте говорит о нем довольно туманно, как об интеллекте, пронизывающем небесную сферу. Швеглер колеблется между теологическим и психологическим объяснением.

259 Последняя глава "Задней аналитики" излагает гораздо более развитую и определенную теорию процесса формирования общих идей. Мы думаем, что она была написана значительно позже, чем остальные части работы, и, вероятно, после трактата о душе, на который мы должны были бы почти заподозрить аллюзию в слове *πάλαι* (p. 100, а, 14), если бы филология позволила. Вряд ли речь может идти о первой части главы (как принято считать); ни в какой другой части "Аналитики" обсуждаемая тема не затрагивалась.

260 Гроте и Кампе считают, что Аристотель приписывает разумной душе часть эфира в качестве протяженного, если не точно материального, субстрата; но аргументы Целлера (p. 569), кажется, решительно против этой точки зрения.

261 De Gen. An., II., iii., p. 736, b, 15.

262 Наброски философии Аристотеля, с. 45.

263 Слово *θεῖον*, во всяком случае, не означает "почти Бог", поскольку Аристотель применяет его к интеллекту пчел, а также к небесным телам (De Gen. An., III., x., p. 761, а, 5; De Coelo, II., xii., p. 292, b, 32).

264 Главный Кэйд.

265 Наброски, Предисловие, с. viii.

266 Metaph., VII., xiii., p. 1039, а, 4.

267 De An., III., ii., p. 426, а, 20; 425, b, 25 и далее. Что Аристотель имеет в виду, говоря, что *εἶναι* объекта и ощущения не одинаковы, видно из отрывка в его трактате о памяти (p. 450, b, 20), где он использует иллюстрацию портрета и его оригинала, которые одинаковы, хотя их *εἶναι* различны.

268 Metaph., IV., v., sub fin.

269 De An., III., iv., sub fin.

270 De An., II., ii., p. 414, а, 20.

271 De An., III., i., p. 425, а, 13.

272 См. Zeller pp. 602-606, где эта тема подробно обсуждается.

273 Anal. Pr., I., i., sub in.; ii., sub in.; Top., I., viii., Bekker (в изд. Tauchnitz, vi.).

274 Anal. Pr., I., xxiii., 41, а, 11 (в изд. Tauchnitz, xxii., 8).

275 Этот момент хорошо раскрыт в "Logische Untersuchungen" Ф. А. Ланге.

276 Anal. Pr., I., xxxi.; Anal. Post., II., v.

277 Metaph., IV., iii., sub in.

278 Anal. Post., I., x.

279 "Die Wissenschaft soll die Erscheinungen aus ihren Gründen erklären, welche näher in den allgemeinen Ursachen und Gesetzen zu suchen sind" (Zeller, p. 203). 'Индукция - это метод перехода от частных случаев к общим законам' (Wallace, p. 13). "Похоже, он [Аристотель] думал, что после сбора фактов до определенного момента произойдет вспышка интуиции, которая скажет нам: "Это закон"" (Grant, p. 68). В связи с дискуссией, из которой взят этот последний отрывок, мы можем заметить, что сэр А. Грант совершенно ошибается, говоря, что Аристотель "не предусматривает проверки". Напротив, Аристотель стремится показать, что его теории согласуются со всеми известными фактами. См., в частности, его памятное заявление (De Gen. An., III., x., p. 760, b, 27), что фактам следует доверять больше, чем рассуждениям.

Акцент, сделанный Аристотелем на понятиях в отличие от законов, отмечен J. H. v. Kirchmann в его немецком переводе "Метафизики", p. 13.

280 De An., III., vi., sub in., взятые вместе с Anal. Post., I., vi.

281 Anal. Post., I., xxxiv.; II., ii.

282 Anal. Post., II., xii., p. 95, a, 36.

283 Wallace's Outlines, p. 14.

284 Ibid., Preface, pp. viii.-ix.

285 Как будто Милль писал исключительно для оксфордских наставников и как будто другие философы постоянно не разъясняли свои аргументы на конкретных примерах. Непонятно, почему деревенская матрона должна быть более достойна презрения, чем фиванцы и фокийцы Аристотеля.

286 То есть знание, которое никогда не было актуализировано.

287 Ошибочно переводить νόησις, как это делают немцы, словом Anschauung. Nous не интуитивно воспринимает идеи, но преобразуется в них и состоит из них.

288 Об аналогии см. Top., II., x., sub in.; Disjunction, II., vi., sub in.; Hypothetical Reasoning, II., x., p. 115, a, 15; Method of Differences, II., xi., sub in.; Метод остатков, VI., xi., sub in.; Сопутствующие вариации, II., x., p. 114, b, 37; V., viii., sub in.; VI., vii., sub in. Метод согласования происходит An. Prior., II., xxvii., sub fin.; и An. Post., II., xiii., p. 97, b, 7.

289 Возможно, можно утверждать, что пятая книга "Никомаховой этики" имеет сомнительную аутентичность. Тем не менее остается дилемма: либо Аристотель опустил самый важный из всех моральных вопросов в своей этике, либо рассмотрел его крайне неадекватно.

290 Eth. Nic., V., iii.; Rhet., I., vi., p. 1362, b, 28; ix., p. 1366, b, 4.

291 P. 753.

Примечание транскриптора

Очевидные опечатки исправлены. Остальные вариации в написании дефисов, ударениях и пунктуации остались без изменений.

Сноска 143: Целлер, 678-8. Это кажется ошибочным.

Изображение обложки книги было создано транскриптором и является общественным достоянием.
